



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

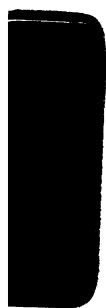
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY

MAY 06 2005



Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

XXIII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1908 ГОДЪ.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:
М. Горькій. Исповѣдь.
С. Гусевъ-Оренбургскій. Сказки земли.
А. Золотаревъ. Въ Старой Лаврѣ.

Цѣна 1 рубль.

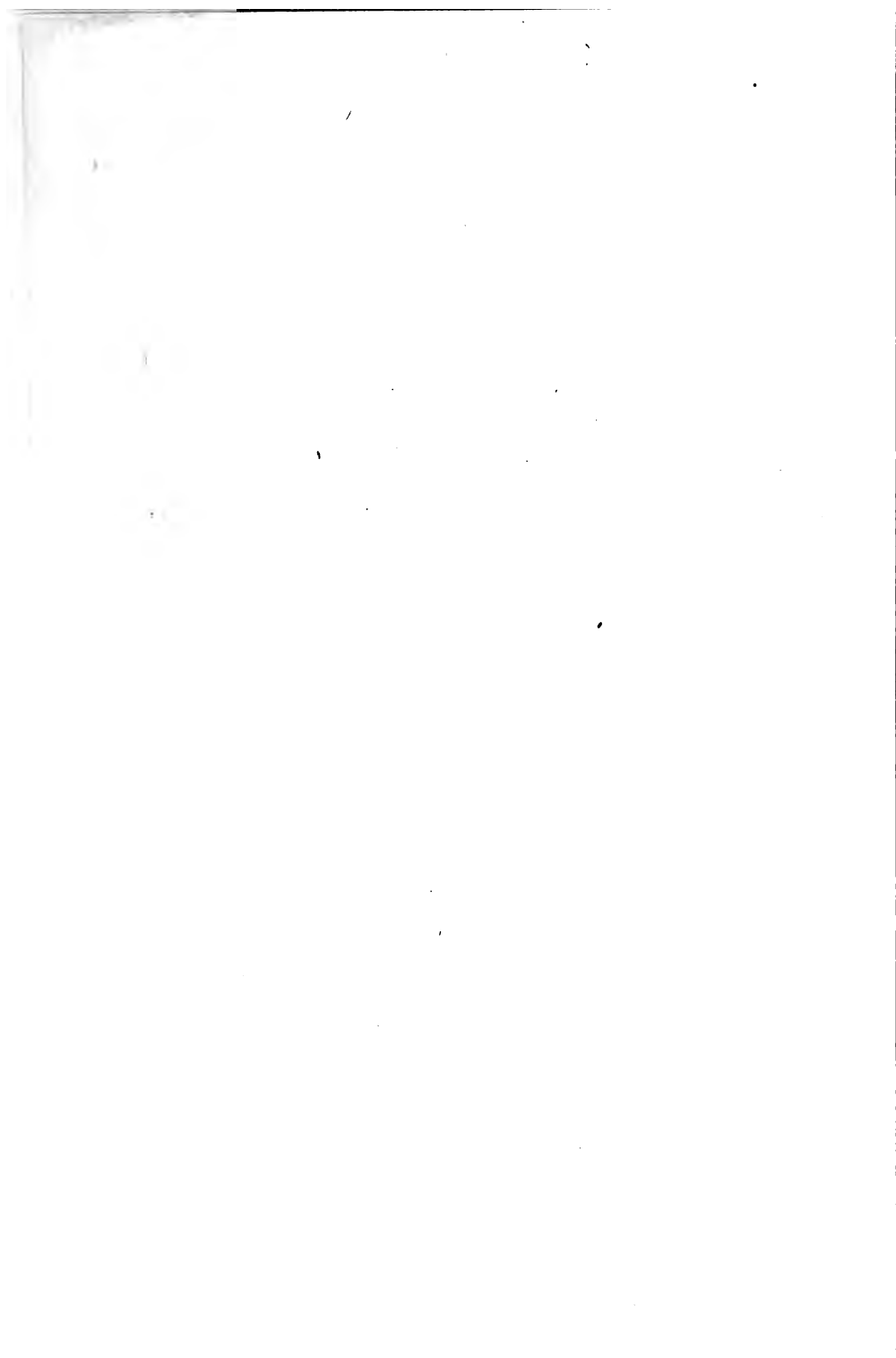
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1908.

Типографія акц. общ. «СЛОВО». Ул. Жуковского, 21.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

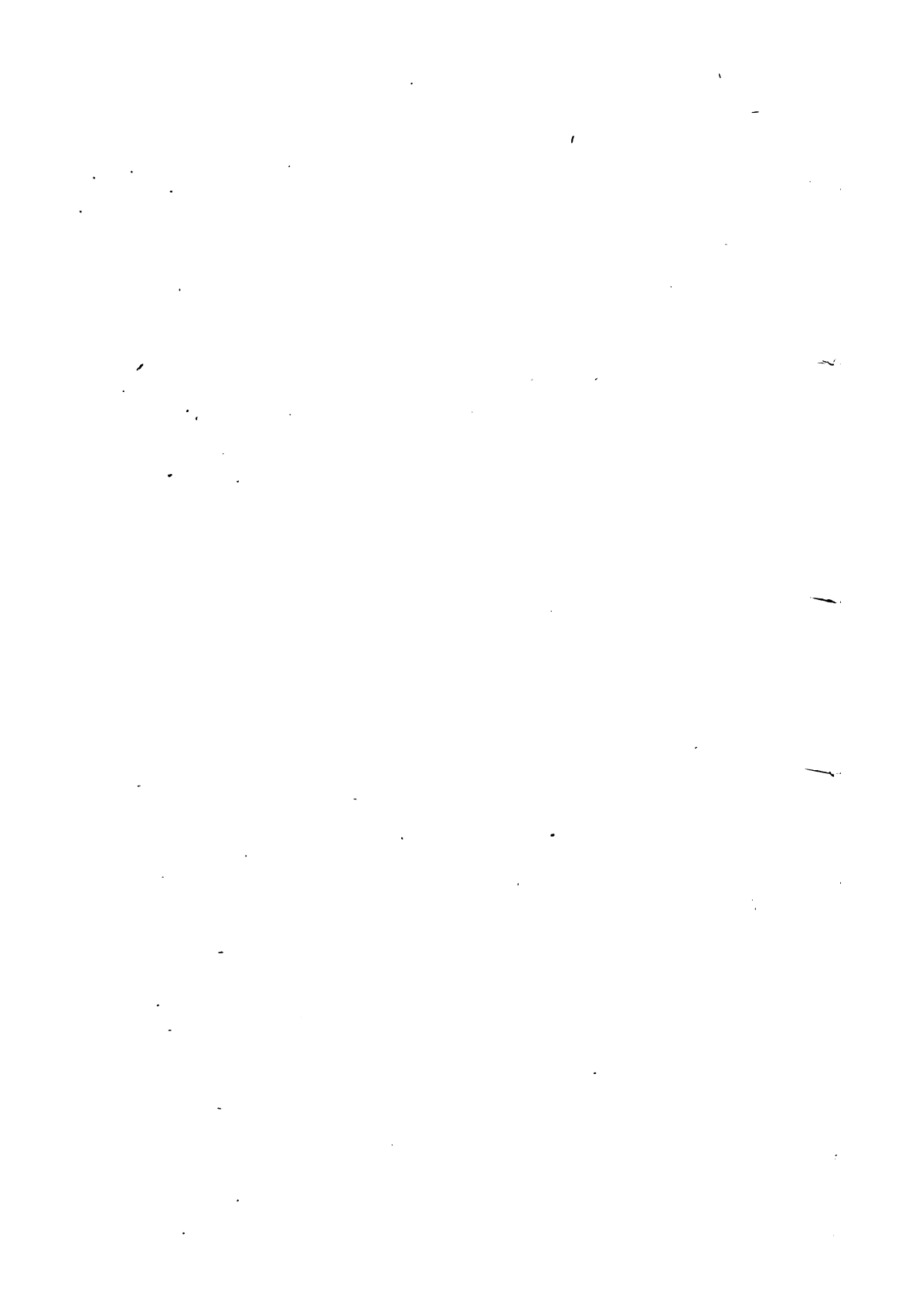
	стр.
М. Горькій. Исповѣдь	1
С. Гусевъ-Оренбургскій. Сказки земли	207
А. Золотаревъ. Въ Старой Лаврѣ	283



М. ГОРЬКИЙ.

ИСПОВѢДЬ.

ПОВѢСТЬ.



ТЕДОРУ

ШАЛЯПИНУ

ПОСВЯЩАЮ.

...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повѣсть эта отниметъ у васъ немного, а знать ее — надобно вамъ.

Я — крапивникъ, подкидышъ, незаконный человѣкъ; кѣмъ рожденъ — неизвѣстно, а подброшенъ былъ въ экономію господина Лосева, въ селѣ Сокольемъ, Красноглинскаго уѣзда. Положила меня мать моя — или кто другой — въ паркъ господскій, на ступени часовеньки, гдѣ схоронена была старая барыня Лосева, а найденъ я былъ Данилой Вяловымъ, садовникомъ. Пришелъ онъ рано утромъ въ паркъ и видитъ: у двери часовни дитя шевелится, въ тряпки завернуто, а вокругъ котъ дымчатый сторожко ходить.

У Данилы прожилъ я до четырехъ лѣтъ, но какъ онъ самъ многолѣтний былъ, то кормился я гдѣ попало, а коли пищи не найду, — попищу, попищу да голоденъ и засну.

Четырехъ лѣтъ взялъ меня къ себѣ дьячокъ Ларионъ, человѣкъ одинокій и весьма чудесный; взялъ онъ меня для скуки своей. Былъ онъ небольшого роста, круглый, какъ пузырь, и лицо круглое; волосы рыжіе, а голосъ тонкій, подобно женскому, и сердце имѣлъ тоже какъ бы женское — до всѣхъ ласковое. Любилъ вино пить и пилъ его помногу; трезвый молчаливъ бывалъ, глаза полузакрыты всегда, и видъ имѣлъ человека виноватаго предъ всѣми, а выпивши — громко ирмосы и тропари пѣлъ, голову держалъ прямо и всякому улыбался.

Отъ людей въ сторонѣ стоялъ, жилъ бѣдно, надѣлъ свой попу отдалъ, а самъ зиму и лѣто рыбу ловилъ, да — забавы ради — птицъ пѣвчихъ, къ чему и меня приучилъ. Любилъ онъ птицъ, и онѣ не боялись его; умилительно вспомнить, какъ, бывало, бѣгаетъ поползень — птица очень дикая — по рыжей головѣ его и путается въ огневыхъ волосахъ. Или сядетъ на плечо и въ ротъ ему заглядываетъ, наклоня умную голову свою. А то ляжетъ Ларіонъ на лавку, насыплетъ конопки въ голову и въ бороду себѣ, и вотъ слетятся чижи, щеглята, синицы, снѣгири — роются въ волосахъ дѣячка, по щекамъ лазаютъ, уши клюютъ, на носъ ему садятся, а онъ лежитъ и хохочетъ, жмуря глаза да ласково бесѣдуя съ ними. Завидоваль я ему въ этомъ — меня птицы боялись.

Нѣжной души человѣкъ былъ Ларіонъ, и всѣ животныя понимали это; про людей того не скажу — не въ осужденіе имъ, а потому, что, знаю, — человѣка лаской не накормишь.

Зимою труднозато бывало ему: дровъ нѣтъ и купить не на что, деньги пропиты; въ избенкѣ, какъ въ погребѣ, холодно, только пичужки щебечутъ да поютъ, а мы съ нимъ, лежа на холодной печи, всѣмъ, чѣмъ можно, окутаемся и слушаемъ птичье пѣніе... Ларіонъ имъ подсвистываетъ — хорошо умѣлъ! — да и самъ былъ похожъ на клѣста: носъ большой, крюкомъ загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажетъ мнѣ:

— Вотъ, слушай, Мотъка, — меня Матвѣемъ окрестили, — слушай!

Ляжетъ на спину, руки подъ голову, зажмурить глаза и заведетъ своимъ тонкимъ голосомъ что-нибудь изъ литургіи заупокойной. Птицы замолчатъ, прислушаются, да потомъ и сами въ перебой пѣть начнутъ, а Ларіонъ пуше ихъ, а онѣ ярятся, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того онъ допоеется, бывало, что сквозь вѣки изъ глазъ у него слезы те-

кутъ, щеки ему мочать, и омытое слезами станетъ сърымъ лицо его.

Отъ такого пѣнія иной разъ жутко становилось, и однажды я сказалъ ему тихонько:

— Что ты, дядя, все про смерть поешь?

Пересталъ онъ, поглядѣлъ на меня и говорить, смѣясь:

— А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато—красиво! Въ богослуженіи—самое красивое заупокойная литургія: тутъ ласка человѣку есть, жалость къ нему. У насъ, кромѣ покойниковъ, никого не умѣютъ жалѣть!

Слова эти—хорошо помню, какъ и всѣ его рѣчи, но понимать ихъ въ ту пору я, конечно, не могъ. Дѣтское только передъ старостью понятно, въ самые мудрые годы человѣка.

Помню тоже, спросилъ я его: почему Богъ людямъ мало помогаетъ?

— Не Его это дѣло! — объяснилъ онъ мнѣ. — Самъ себѣ помогай, на то тебѣ разумъ данъ! Богъ—для того, чтобы умирать не страшно было, а какъ жить — это твое дѣло!

Рано забылъ я эти рѣчи его, а вспомнилъ—поздно, и оттого много лишняго горя перенесъ.

Замѣчательный былъ человѣкъ! Всѣ люди, когда удять, не кричатъ, не разговариваютъ, чтобы не пугать, — Ларіонъ поетъ неумолчно, а то рассказываетъ мнѣ житія разныя, или о Богѣ говоритъ, и всегда къ нему рыба валомъ шла. Птицъ ловятъ тоже съ осторожностью, а онъ все время свиститъ, дразнить ихъ, бесѣды съ ними ведетъ и—ничего, идетъ птица и въ чапки, и въ сѣть. Опять-же насчетъ пчелъ—рой отсаживать или что другое,—старые пчеляки съ молитвой это дѣлаютъ, и то не всякъ разъ удастся имъ, позовутъ дьячка—онъ бьетъ пчелъ, давитъ ихъ, ругается матерно,—и все сдѣлаетъ въ лучшемъ видѣ. Не любилъ

онъ пчелъ: онъ у него дочь ослѣпили. Забралась на пчельникъ дѣвочка—три года было ей,—а пчела ее въ глазъ и чикнула; разболѣлся глазокъ да ослѣпъ, за нимъ—другой, потомъ дѣвочка померла отъ головной боли, а мать ея сошла съ ума...

Да, все онъ дѣлалъ не какъ люди, и ко мнѣ ласковъ былъ, словно мать родная; въ селѣ меня не очень жаловали: жизнь—тѣсная, а я всѣмъ чужой, лишній человекъ... Вдругъ чей-нибудь кусокъ незаконно съѣмъ...

Приучилъ меня Ларіонъ ко храму, сталъ я помогать ему въ службѣ, пѣлъ съ нимъ на клиросѣ, кадило зажигалъ, все дѣлалъ, что понадобится; сторожу Власію помогалъ порядокъ въ церкви держать и любилъ все это, особенно зимой. Церковь-то каменная, топили ее хорошо, тепло было въ ней.

Всенощная служба больше утренней пріятна мнѣ была; къ ночи, трудомъ очищенные, люди отрѣшаются отъ заботъ своихъ, стоятъ тихо, благолѣпно, и теплятся души, какъ свѣчи восковыя, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разныя, а горе—одно.

Ларіонъ любилъ службу во храмѣ: закроетъ глаза, голову рыжую кверху закинетъ, кадыкъ выпятить—и зальется, запоетъ. До того доходилъ, что и лишнее пѣвалъ,—ужъ поплъ ему изъ алтаря знаки дѣлаетъ,—куда, дескать, тебя занесло? И читалъ тоже прекрасно, нараспѣвъ, звонко, съ ласкою въ голосѣ, съ трепетомъ и радостью. Попъ не любилъ его, онъ попа—тоже, и не разъ, бывало, говорилъ мнѣ:

— Какой это священникъ! Онъ не поплъ, а барабанъ, по которому нужда и привычка палками бьютъ. Былъ бы я попомъ, я бы такъ служилъ, что не токмо люди,—святыя иконы плакали бы!

И это вѣрно—не хорошъ былъ поплъ на своемъ мѣстѣ: лицо курносое, черное, словно порохомъ опалено, ротъ широкій, беззубый, борода трепаная, волосомъ—жидокъ, со лба—лысина, руки длинныя. Голосъ имѣлъ

хриплый и задыхался, будто не по силѣ ношу несъ. Жадень былъ и всегда сердить, потому—многосемейный, а село-то бѣдное, зѣмли у крестьянъ плохія, промысловъ нѣтъ никакихъ.

Лѣтомъ, когда и комаръ богатъ, мы съ Ларіономъ днюемъ и ночуемъ въ лѣсу, за охотой на птицъ или на рѣкъ, рыбу ловя. Случалось—вдругъ треба какая-нибудь, а дьячка нѣтъ, и гдѣ найти его — невѣдомо. Всѣхъ мальчишекъ изъ села разгонять искать его; бѣгаютъ они, какъ зайчата, и кричатъ:

— Дьячокъ! Ларивонъ! Айда домой!

Едва найдутъ... Попъ ругается, жалобой грозитъ, а мужики—смѣются.

Былъ у него одинъ дружокъ, Савелка Мигунъ, ворюга извѣстный и пьяница заливной, не разъ битъ бывалъ за воровство и даже въ острогѣ сидѣлъ, но, по всему прочему, рѣдкостный человѣкъ. Пѣсни онъ пѣлъ и сказки говорилъ такъ, что невозможно вспомнить безъ удивленія.

Множество разъ я его слыхалъ, и теперь вотъ онъ предо мною живъ стоитъ: сухонькій, юркій, бородѣнка въ три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клиномъ, а лобъ большой и подъ нимъ воровскіе развеселые глаза часто мигаютъ, какъ двѣ тѣмныя звѣзды.

Бывало, притащить онъ бутылку водки, а то Ларіона заставитъ купить, сядутъ они другъ противъ друга за столъ, и говорить Савелка:

— А ну-ко, дьяче, валяй „Покаяніе“!

Выпьютъ... Ларіонъ поконфузится немножко, да и запоетъ, а Савелка сидитъ, какъ пришитый, мигаетъ, бородѣнкой трясется, слезы на глазахъ у него, лобъ рукой поглаживаетъ и улыбается, сгоняя пальцами слезинки со щекъ.

Потомъ подскочить, какъ мячъ, кричить:

— Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я Господу Богу—хорошо пѣсни сложены Ему! Человѣкъ-то,

Все это, можетъ быть, и выдуманно, да ужъ очень лестно про людей говорить и Савелку хорошо ставить. А еще и то подумайте: коли люди этакъ складно сказки сказываютъ, стало быть, не больно плохи они, а въ томъ и вся суть!

Не только пѣсни пѣли, но и о многомъ разговаривали Савелка съ Ларіономъ, часто—о дьяволѣ: не въ чести онъ былъ у нихъ.

Помню, разъ говорить дьячокъ:

— Дьяволъ есть образъ злобы твоей, отраженіе духовной темноты...

— Глупость моя, значить? — спрашиваетъ Савелка.

— Именно она—и больше ничего!

— Должно быть, такъ и есть! — смѣясь, говоритъ Мигунъ. — А то, кабы онъ живъ былъ, давно бы ему сплать меня надобно!

Совсѣмъ не вѣрилъ Ларіонъ въ чертей: помню, на гумнѣ, споря съ мужиками-раскольниками, кричалъ онъ имъ:

— Не дьявольское, но—скотское! Добро и зло—въ человѣкѣ суть: хотите добра—и есть добро; зла хотите—и будетъ зло отъ васъ и вамъ! Богъ не попускаетъ васъ на добро и на зло, самовластны вы созданы волею Его и свободно творите какъ злое, такъ и доброе. Дьяволъ же вашъ—нужда и темнота! Доброе суть во истину человѣческое, ибо оно—Божіе, злое же ваше—не дьявольское, но скотское!

Они ему кричатъ:

— Еретикъ рыжій!

А онъ—свое.

— Оттого,—говорить,—дьяволъ и пишется рогатъ и козлоногъ, что онъ есть скотское начало въ человѣкѣ.

Лучше всего о Христѣ Ларіонъ говорилъ; я, бывало, плакалъ всегда, видя горькую судьбу свѣтлаго сына Божія. Весь Ояъ—отъ спора въ храмѣ съ учеными до Голгофы—стоялъ предо мною, какъ дитя чистое

и прекрасное въ неизреченной любви своей къ народу, съ доброй улыбкой всѣмъ, съ ласковымъ словомъ утѣшенія,—вездѣ дитя, ослѣпительное красотою своею!

— И съ мудрецами храма,—говорилъ Ларіонъ,—какъ дитя, бесѣдовалъ Христосъ, оттого и показался имъ выше ихъ въ простой мудрости своей. Ты, Мотя, помни это, и старайся сохранить въ душѣ дѣтское твое во всю жизнь, ибо въ немъ—истина!

Спрашивалъ я его:

— А скоро опять Христосъ придетъ?

— Скоро уже!—говорить.—Скоро,—ибо слышно, что люди снова ищутъ его!

Вспоминая теперь Ларіоновы слова, кажется мнѣ, что видѣлъ онъ Бога великимъ мастеромъ прекраснѣйшихъ вещей, а человѣка считалъ неумѣльнымъ существомъ, заплутавшимся на путяхъ земныхъ, и жалѣлъ его, безталаннаго наслѣдника великихъ богатствъ, Богомъ ему отказанныхъ на сей землѣ.

У него и у Савелки одна вѣра была. Помню, икона чудесно явилась у насъ на селѣ. Однажды рано утромъ по-осени пришла баба до колодца за водой и, вдругъ, видить: во тѣмъ на днѣ колодца—сіяніе. Собрала она народъ, земскій явился, попъ пришелъ, Ларіонъ прибѣжалъ, спустили въ колодезь человѣка, и поднялъ онъ оттуда образъ „Неопалимой купины“. Тутъ же начали молебень служить, и рѣшено было часовню надъ колодцемъ поставить. Попъ кричитъ:

— Православные, жертвуйте!

Земскій тоже приказываетъ, и самъ трешницу далъ. Мужики развязали кошели, бабы усердно холсты тащатъ и всякое жито, по селу ликованіе пошло, и я былъ радъ, какъ въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія.

Но еще во время молебна видѣлъ я, что лицо Ларіоново грустно, и не смотритъ онъ ни на кого, а Савелка, словно мышъ шныряя въ толпѣ, улыбается.

Ночью я ходилъ смотрѣть на явленную: стояла она надъ колодцемъ, источая дыму подобное голубовато-свѣтлое сіяніе, будто нѣкто невидимый ласково дышалъ на нее, грѣя свѣтомъ и тепломъ; было и жутко, и пріятно мнѣ.

А пришелъ я домой, слышу—Ларіонъ грустно говоритъ:

— Нѣтъ такой Божьей Матери!

И Савелка тянетъ, смѣясь:

— Я зна-аю! Чай, Моисей-то задолго до Христа былъ! Нѣтъ, каковы жулики? Чудо, а! Ахъ, вы, чудаки!

— Въ тюрьму-бы за это и земскаго, и попа!—тихо-тихо говоритъ Ларіонъ.—Чтобы не убивали они, корысти своей ради, Бога въ людяхъ!

Я чувствую,—непріятенъ мнѣ этотъ разговоръ, и спрашиваю съ печи:

— Вы про что говорите, дядя Ларіонъ?

Замолчали они, шепчутся оба, видимо обезпокоились. Потомъ Савелка кричитъ:

— Ты чего? Самъ на людей жалуешься—дураки, и самъ же, безъ стыда, дурака дѣлаешь изъ Матвѣйки? Зачѣмъ?

Подскочилъ и говоритъ мнѣ:

— Гляди, Мотька, вотъ—спички! Вотъ—я ихъ растираю въ рукахъ... Видишь? Гаси огонь, Ларіонъ!

Погасили лампу, и, вижу я, въ темнотѣ двѣ Савелкины руки сіяютъ тѣмъ же дымомъ голубымъ, какъ и явленная икона. Страшно это и обидно было видѣть.

Савелка чего-то говоритъ, а я въ уголъ печи забился и уши себѣ пальцами заткнулъ, молчу. Тогда влѣзли они оба ко мнѣ,—водку тоже взяли,—и долго, наперебой, рассказывали мнѣ объ истинныхъ чудесахъ и обманномъ надругательствѣ надъ вѣрою людей. Такъ я и заснулъ подъ ихъ рѣчи.

А черезъ два-три дня пріѣхало множество поповъ и чиновниковъ, икону арестовали, земскаго съ должно-

сти смѣнили, попа тоже настращали судомъ. Тогда и я повѣрилъ въ обманъ, хотъ и трудно было мнѣ согласиться, что все это только для того сдѣлано, чтобы у бабъ холсты, у мужиковъ пятаки вытянуть.

Еще когда минуло мнѣ шесть лѣтъ, началъ Ларіонъ меня грамотѣ учить по церковному, а черезъ двѣ зимы у насъ школу открыли,—онъ меня въ школу свелъ. Сначала я нѣсколько откачнулся отъ Ларіона. Учиться понравилось мнѣ, взялся я за книжки горячо, такъ что онъ, бывало, спросить урокъ у меня и, прослушавъ, скажетъ:

— Славно, Мотыка!

А однажды сказалъ:

— Хорошая кровь въ тебѣ горитъ, видно, не глупъ былъ твой отецъ!

Я спрашиваю:

— А гдѣ онъ?

— Кто-жъ это знаетъ!

— А онъ—мужикъ?

— Навѣрное одно можно сказать: мужчина. А насчетъ сословія—опять-таки неизвѣстно. Едва ли мужикъ, однако! По лицу твоему, да по кожѣ—кромѣ характера—изъ господишекъ, видать!

Запали эти случайныя слова его въ память мнѣ и не принесли добра. Назовутъ меня въ школѣ подкидышемъ, а я—на дыбы и кричу товарищамъ:

— Вы—мужичьи дѣти, а мой отецъ—баринъ!..

И очень я утвердился на этомъ,—надо обороняться чѣмъ-нибудь противъ насмѣшекъ, а иной обороны не было въ умѣ. Не влюбили меня и ужъ начали зазорно звать, а я—драться сталъ. Парнишка крѣпкій былъ, дрался ловко. Пошли на меня жалобы, говорятъ дьячку люди, отцы и матери:

— Уйми своего приبلуднаго!

А иныя, и безъ жалобъ, сами за уши драли, сколько хотѣлось.

Тогда Ларіонъ сказалъ мнѣ:

— Можеть ты, Матвѣй, даже генеральскій сынъ, только это не велика важность. Всѣ родятся одинаково, стало быть, и честь одна для всякаго.

Но ужъ опоздалъ онъ,—мнѣ въ ту пору было лѣтъ двѣнадцать и обиды я чувствовалъ крѣпко. Потянуло меня въ сторону отъ людей, снова сталъ я ближе къ дьячку, цѣлую зиму мы съ нимъ по лѣсу лазили, птиць ловили, а учиться я хуже сталъ.

Кончилъ я школу на тринадцатомъ году, задумался Ларіонъ, что ему дальше дѣлать со мной. Бывало, плывемъ мы съ нимъ въ лодкѣ, я—на веслахъ, а онъ—на рулѣ, и водить онъ меня въ мысляхъ своихъ по всѣмъ тропамъ судьбы человѣческой, рассказываетъ разные планы жизни.

И попомъ онъ меня видитъ, и солдатомъ, и приказчикомъ, а вездѣ нехорошо для меня:

— Какъ же, Моѣйка?—спрашиваетъ.

Потомъ поглядить на меня и скажетъ, смѣясь:

— Ничего, не робѣй! Коли не сорвешься, такъ вылѣзешь! Только солдатства избѣгай, тамъ человѣку—крышка!

Въ августѣ, вскорѣ послѣ Успеньева дня, поѣхали мы съ нимъ на Любушинъ омутъ сомять ловить, а былъ Ларіонъ малость выпивши, да и съ собой тоже вино имѣлъ. Глощаетъ изъ бутылки понемножку, крикаетъ и поетъ на всю рѣку.

Лодка у него плохая была, маленькая и валкая, повернулся онъ въ ней рѣзко, зачерпнула она бортомъ,—и очутились мы оба въ водѣ. Не первый разъ случилось это, и не испугался я. Вынырнулъ—вижу, Ларіонъ рядомъ со мной плаваетъ, трясетъ головой и говорить:

— Плыви на берегъ, а я окаянное корыто буду гнать туда!

Не далеко отъ берега было, теченіе слабое, я плыву

совсѣмъ спокойно, но вдругъ, словно за ноги меня дернуло или въ студеную струю попалъ, обернулся назадъ: идетъ наша лодка вверхъ дномъ, а Ларіона—нѣтъ. Нѣтъ его нигдѣ!

Словно камнемъ въ голову, ударило меня страхомъ въ сердце, передернуло судорогой, и пошелъ я ко дну.

Въ тотъ часъ ѣхалъ полемъ приказчикъ изъ экономіи, Егоръ Титовъ, видѣлъ онъ, какъ перевернулись мы; видѣлъ, какъ Ларіонъ пропалъ; когда я сталъ тонуть—Титовъ уже раздѣвался на берегу. Онъ меня и вытасилъ, а Ларіона только ночью нашли.

Погасла милая душа его, и сразу стало для меня и темно, и холодно. Когда его хоронили, хворый я лежалъ и не могъ проводить на погостъ дорогого человека, а всталъ на ноги—первымъ дѣломъ пошелъ на могилу къ нему, сѣлъ тамъ—и даже плакать не могъ въ тоскѣ. Звенить въ памяти голосъ его, ожидаютъ рѣчи, а человека, который бы ласковую руку на голову мнѣ положилъ, больше нѣтъ на землѣ. Все стало чужое, далекое... Закрылъ я глаза, сижу. Вдругъ—поднимаетъ меня кто-то: взялъ за руку и поднимаетъ. Гляжу—Титовъ.

— Нечего,—говорить,—тебѣ дѣлать тутъ, идемъ!

И повель меня. Я—иду.

Говорить онъ мнѣ:

— Видно, сердце у тебя, мальчонка, хорошее, добро помнить.

А мнѣ отъ этого не легче. Молчу. Дальше говорить Титовъ:

— Еще въ то время, какъ подкинули тебя, думалъ я: не взять ли ребенка-то себѣ, да не успѣлъ тогда. Ну, а видно, что Господь этого хочетъ—вотъ Онъ снова вручилъ жизнь твою въ руки мнѣ. Значить, будешь ты жить со мной!

Мнѣ тогда все едино было—жить, не жить и какъ

жить, и съ кѣмъ... Такъ я и всталъ съ одной точки на другую незамѣтно для себя.

Черезъ нѣкоторое время оглядѣлся. Титовъ этотъ—мужчина высокій, угрюмый, стриженный, какъ солдатъ, съ большими усами и бритой бородой. Говорилъ не спѣша, какъ бы опасаясь лишнее сказать или самъ слову своему не вѣря. Руки всегда за спиной или въ карманахъ держалъ, словно стыдился ихъ. Зналъ я, что мужики на селѣ—да и во всей округѣ—не любятъ его, а года два назадъ, въ деревенькѣ Малининой, даже коломъ ударили. Говорили, что онъ съ пистолетомъ ходитъ всегда. Жена его, Настасья Васильевна, была женщина красивая, только болѣла всегда; худая, едва ходитъ, лицо безъ кровинки, а глаза большіе горятъ сухо и боязливо таково. Дочь у нихъ, Оля, на три года моложе меня, тоже хилая и блѣдненькая.

И все вокругъ нихъ тихо: на полу толстые половики лежатъ, шаговъ не слышать, говорятъ люди мало, вполголоса, и даже часы на стѣнѣ осторожно постукиваютъ. Предъ иконами неугасимыя лампы горятъ, вездѣ картинки наклеены: страшный судъ, муки апостольскія, мученія св. Варвары. А въ углу на лежанкѣ старый котъ лежитъ, толстый, дымчатый, и зелеными глазами смотритъ на все, блюдетъ тишину. Въ тишинѣ этой осторожной ни Ларіонова пѣнія, ни птицъ нашихъ долго не могъ я забыть.

Свелъ меня Титовъ въ контору и началъ приучать къ бумажному дѣлу. Живу. Вижу—слѣдитъ за мной Титовъ, присматривается, молчитъ, словно ожидаетъ чего-то отъ меня. Неловко мнѣ и тошно.

Веселымъ я никогда не былъ, а въ то время и совсѣмъ сумраченъ сталъ; говорить и не съ кѣмъ, да и не хочется. Спрашивали они меня—Титовъ и жена—про Ларіона; мнѣ не хотѣлось рассказывать о немъ, мѣшало что-то.

Тяжко и мутно было на душѣ у меня, и не нрави-

лись мнѣ Титовы подозрительной тишиной жизни своей. Сталъ я ходить въ церковь, помогать сторожу Власію, да новому дьячку,—этотъ былъ молодой, красивый, изъ учителей какой-то; къ службѣ лѣнтяй, съ попомъ подхалимъ, руку ему цѣлуетъ и собачкой бѣгаетъ за нимъ по пятамъ. На меня кричитъ, а напрасно, потому что я службу зналъ не хуже его и дѣлалъ все какъ надо.

Въ ту пору и началъ я трудную жизнь мою—Бога полюбилъ.

Поправляя однажды передъ всенощной свѣчи у иконы Богородицы, вижу—и Она, и Младенецъ смотрятъ на меня серьезно и задушевно таково... Заплакалъ я и всталъ на колѣни предъ Ними, молясь о чемъ-то, за Ларіона, должно быть. Долго ли молился—не знаю, но стало мнѣ легче, согрѣлся сердцемъ и ожилъ я.

Власій въ алтарѣ трудился, бормочетъ тамъ свои непонятныя рѣчи. Вошелъ я къ нему, взглянулъ онъ на меня, спрашиваетъ:

— Что обрадовался, али копейку нашелъ?

Зналъ я, почему онъ такъ спросилъ,—часто я деньги на полу находилъ,—но теперь непріятны показались мнѣ слова его, какъ бы ущипнуть онъ меня за сердце.

— Богу я помолился,—говорю.

— Которому? — спрашиваетъ.—Ихъ тутъ у насъ больше ста, боговъ-то! А вотъ гдѣ онъ, живой? Гдѣ, который настоящій, а не изъ дерева, да! Поищи-ка его!

Цѣна его словъ извѣстна мнѣ была, а обидѣли они меня въ тотъ часъ. Власій—человѣкъ древній, уже едва ноги передвигалъ, въ колѣняхъ онъ у него изогнуты, ходитъ всегда, какъ по жердочкѣ, качается весь, зубовъ во рту—ни одного, лицо темное и словно тряпка старая, смотреть изъ нея безумные глаза. Ангелъ смерти Власія тоже древень былъ—не могъ поднять

руку на старца, а уже разума лишился человекъ: за нѣкоторое время до смерти Ларіоновой овладѣлъ имъ бредъ.

— Не церкви,—говорить,—я сторожъ, а скоту; пастухъ я, пастухомъ родился и такъ умру! Вотъ—скоро отойду отъ церкви въ поле.

Извѣстно было, скота онъ никогда не пасъ.

— Церковь,—говорить,—то же кладбище, мѣсто мертвое, а я—къ живому дѣлу хочу, скотинку пасти надобно мнѣ, всѣ мои дѣды пастухами были и я тоже до сорока двухъ лѣтъ.

Ларіонъ смѣялся надъ нимъ и однажды, смѣясь, спросилъ:

— Былъ въ древности Велесъ, скотій богъ,—не прашуръ ли твой?

Заставилъ его Власій рассказать про Велеса подробно, а выслушавъ, говорить:

— Такъ и есть! Я вѣдь давно знаю, кто я таковъ, да боюсь попа! Ты погоди, дьячокъ, не говори ему! Придетъ время—я самъ скажу, да...

На этомъ и остановился старикъ.

И вотъ, хотя знаю я безуміе его, а смущаетъ онъ меня.

— Смотри,—говорю,—разразить тебя Богъ!

А онъ шамкаетъ:

— Я самъ—Богъ! Да!

И вдругъ, запнувшись за подножіе, едва не упалъ, а я понялъ это, какъ знаменіе.

Съ того дня ревностно полюбилъ я церковное; со всѣмъ жаромъ сердца ребячьяго окунулся въ него, такъ, что все священно стало для меня, не только иконы да книги, а и подсвѣчники, и кадило, самые угли въ немъ—и тѣ дороги. Ко всему прикасаюсь съ трепетомъ, съ жуткой радостью, въ алтарь войду—сердце замираетъ, камни пола готовъ цѣловать. Чувствую себя въ лучѣ ока всевидящаго, и направляетъ оно шаги мои, обни-

мая силою нездѣшней, грѣя свѣтомъ яркимъ, отъ котораго глаза слѣпнуть, и не видитъ уже человѣкъ ничего, кромѣ какъ только себя. Стою, бывало, одинъ во храмѣ, тьма кругомъ, а на сердцѣ—свѣтло, ибо тамъ мой богъ, и нѣтъ мѣста ни дѣтскимъ печалямъ, ни обидамъ моимъ и ничему, что вокругъ, что есть жизнь человѣческая. Близость къ Богу отводитъ далеко отъ людей, но въ то время я, конечно, не могъ этого понять.

Началь книги читать церковныя, — всѣ, что были, читаю,—и наполняется сердце мое тихимъ звономъ красоты божественнаго слова; жадно пьетъ душа сладкую влагу его, и открылся въ ней источникъ благодарныхъ слезъ. Бывало, приду въ церковь раньше всѣхъ, встану на колѣни передъ образомъ Троицы и лью слезы, легко и покорно, безъ думъ и безъ молитвы: нечего было просить мнѣ у Бога и безкорыстно поклонялся я Ему.

Помню Ларионовы слова:

— Иже уста твоя моляся — воздуху молятся, а не Богу; Богъ бо мыслямъ внимаетъ, а не словамъ, яко чловѣки.

А у меня даже и мыслей не было: просто стою на колѣняхъ и какъ бы молча радостную пѣснь пою, радуюсь же тому, что понимаю—не одинъ я на свѣтѣ, а подъ охраной Божіей и близко Ему.

Было это время хорошо для меня, время тихо-радостнаго праздника. Любилъ я одинъ во храмѣ быть, и чтобы ни шума, ни шелеста вокругъ—тогда, въ тишинѣ, пропадалъ я, какъ бы возносился на облака, и съ высоты ихъ всѣ люди незамѣтны становились для меня и человѣческое—невидимо.

Но Власій мѣшалъ мнѣ: шаркаетъ ногами по плитамъ пола, дрожитъ, какъ тѣнь дерева на вѣтрѣ, и бормочетъ беззубымъ ртомъ:

— Не къ чему мнѣ тутъ быть, развѣ это мое дѣло! Самъ я богъ, пастырь всего скота земнаго, да! И уйду

завтра въ поле. На что загнали меня сюда, въ холодъ, въ темноту? Мое ли дѣло?

Тревожилъ онъ меня кощунствомъ своимъ, ибо—думалось мнѣ тогда—нарушаетъ онъ чистоту храма, и Богу обидно видѣть его въ домѣ своемъ.

О ту пору замѣчено было благочестіе и рвеніе мое, такъ что попъ сталъ при встрѣчѣ какъ-то особенно носомъ сопѣть и благословлялъ меня, а я долженъ былъ руку ему цѣловать—была она всегда холодная и въ поту. Завидоваль я его близости къ тайнамъ божіимъ, но не любилъ и боялся.

А Титовъ все зорче смотрѣлъ на меня маленькими, тусклыми, какъ пуговицы, глазками. Всѣ они обращались со мной осторожно, словно я стеклянный былъ, а Ольгунька не разъ тихонько спрашивала меня:

— Ты будешь святой?

Робѣла она предо мною, даже когда я ласковъ съ нею бывалъ и рассказывалъ ей житія или что другое, церковное. Зимой по вечерамъ я Прологъ или Минею вслухъ читалъ. За окнами вьюга безпріютная по полю мечется, въ стѣны стучить, стонетъ и воетъ, озябшая. Въ комнатѣ тихо, всѣ сидятъ, не шелохнутся; Титовъ голову низко опустить, не видать его лица, Настасья неподвижными глазами смотреть на меня, Ольгунька дремлетъ, ударить морозъ—она вздрогнетъ, оглянется и тихонько улыбнется мнѣ. Иной разъ, не понявъ какое-нибудь слово славянское, переспроситъ она—прозвенитъ мягкій голосокъ ея, и снова тихо, только вьюга крылатая жалобно поетъ, ищетъ отдыха, по полю летая.

Тѣ святые мученики, кои боролись за Господа, жизнью и смертью знаменуя силу Его, эти были всѣхъ ближе душѣ моей; милостивцы и блаженные, кои людямъ отдавали любовь свою, тоже трогали меня, тѣ же, кто Бога ради уходили отъ міра въ пустыни и пещеры, столпники и отшельники, непонятны были мнѣ: слишкомъ силенъ былъ для нихъ Сатана.

Ларіонъ отвергалъ Сатану, а надо было принять его, житія святыхъ заставили—безъ Сатаны не понятно паденіе человѣка. Ларіонъ видѣлъ Бога единымъ творцомъ міра, всеильнымъ и непобѣдимымъ,—а откуда же тогда безобразное? По житіямъ святыхъ выходило, что мастеръ всего безобразнаго и есть Сатана. Я и принялъ его въ такой должности: Богъ создаетъ вишнюю, Сатана—лопухъ, Богъ—жаворонка, Сатана—сову.

Но вышло какъ-то такъ, что хоть я и призналъ Сатану, а не повѣрилъ въ него и не убоился; служилъ онъ для меня объясненіемъ бытія зла, но въ то же время мѣшалъ мнѣ, унижая величіе Божіе. Старался я объ этомъ не думать, но Титовъ постоянно наводилъ меня на мысли о грѣхѣ и силѣ дьявола.

Читаю я, а онъ, вдругъ и не показывая глазъ, спрашиваетъ:

— Матвѣй, что значить: камо?

Отвѣчаю:

— Куда...

Помолчавъ, онъ говоритъ:

— Камо гряду отъ лица Твоего и отъ гнѣва Твоего камо бѣгу?

Жена сго глубоко вздохнетъ и еще болѣе испуганно смотритъ на меня, чего-то ожидая. И Ольга, мигая синими глазками, предлагаетъ:

— А въ лѣсъ?

— Гряду—значить иду?—спрашиваетъ Титовъ.

— Да.

Вынулъ онъ, помню, руки изъ кармановъ и сталъ крутить обѣими свои длинные усы, а брови на лбу у него дрожать. Потомъ быстро спряталъ руки и говорить:

— Это царь Давидъ спрашивалъ: камо бѣгу! Н-да! Царь, а боялся! Видно, дьяволъ-то много сильнѣе его былъ. Помазанникъ божій, а Сатана одолѣлъ... Камо гряду? Къ чорту въ лапы грядешь—и спрашивать не

чего! Вотъ оно какъ! Значить—намъ, холопамъ, нечего и вертѣться, коли даже цари туда поспѣваютъ.

Ходилъ онъ по этой тропѣ часто, и хотя я рѣчей его не понималъ, непріятны онѣ мнѣ были всегда. О благочестіи моемъ все больше говорили, и вотъ Титовъ началъ внушать мнѣ:

— Молись усердно за меня и за всю мою семью, Матвѣй! Очень я тебя прошу, молись! Пусть это будетъ платой твоей за то, что пріютилъ я тебя въ теплѣ и въ ласкѣ!

А мнѣ что? Молитва моя безъ содержанія была, въ родѣ птичьей пѣсни солнцу—сталъ я молиться за него и за жену, а больше всего за Ольгуньку,—очень хорошая дѣвочка росла, тихая, красивая, нѣжная. Обращался я къ Богу словами псалмовъ Давидовыхъ, а также всѣми другими молитвами, какія зналъ, и было пріятно мнѣ твердить про себя складныя пѣвучія слова, но какъ только вспомню Титова, скажу:

— Помилуй, Господи, велию милостію твоею раба твоего Георгія...

— и вдругъ остынетъ сердце и какъ-бы изсякнетъ ручей молитвословія моего, замутится ясность радости, словно стыдно мнѣ передъ Богомъ—не могу больше! И потупя глаза, чтобы не видѣть лика на иконѣ, встаю на ноги, не то—огорченъ, не то—сконфуженъ. Безпокойло это меня, почему такъ случается? Старался понять и не могъ, а жалко было мнѣ, когда исчезала радость моя, разбиваясь объ этого человѣка.

Какъ замѣтили меня люди, то и я сталъ ихъ замѣчать.

Бывало, въ праздникъ выйду на улицу, народъ смотритъ на меня любопытно, здороваются со мной иные степенно, а иной со смѣшкомъ, но всѣ видятъ.

— Вотъ,—говорять,—молитвенникъ нашъ!

— Глади, Матвѣй, святымъ будешь, пожалуй?

— А вы не смѣйтесь, ребята, онъ не попъ, не за деньги въ Бога вѣруетъ!

— Али мужиковъ во святыхъ не было?

— Отъ насъ — всякая душа, да намъ пользы ни шиша!

— Развѣ онъ мужикъ? Онъ тайный баринокъ!..

И лестно говорить, и обидно.

Былъ у меня въ то время особый строй души, хотѣлось мнѣ со всѣми тихо жить, и чтобы ко мнѣ тоже всѣ ласковы были; старался я достигнуть этого, а насмѣшки мѣшали мнѣ.

Особенно донималъ меня Савелка Мигунъ: увидеть, бывало, встанетъ на колѣни, кланяется и причитаешь:

— Вашей святости—земной поклонъ! Помолитесь-ко за Савелку, не будетъ ли ему отъ Бога толку? Научите, какъ Господу угодить, воровать мнѣ погодить, али — какъ побольше стащу—поставить пудовую свѣщу?

Народъ хохочетъ, а мнѣ и странно, и досадно слышать Савелкины издѣвки.

А онъ свое:

— Православные, кланяйтесь праведнику! Онъ мужика въ конторѣ обсчитаетъ — въ церкви книгу зачитаетъ, Богу и не слышно, какъ мужикъ реветъ.

Мнѣ тогда лѣтъ шестнадцать было и могъ бы я ему рожу разбить за эти насмѣшки, но вмѣсто этого сталъ избѣгать Мигуна, а онъ это замѣтилъ и пуще мнѣ прохода не даетъ. Пѣсню сочинилъ; въ праздники ходить по улицѣ и поетъ, наигрывая на балалайкѣ:

Баре дѣвокъ обнимають,
Дѣвки брюхо наживають,
Да отъ барскихъ отъ затѣй
Родятъ сукиныхъ дѣтей!
Ихъ подкидываютъ барамъ,
Да не кормятъ баре даромъ,
И сажаютъ ихъ въ конторѣ
На мужицкое на горе!

Длинная пѣсня была, и всѣмъ въ ней доставалось, а Титову и мнѣ больше всѣхъ. Доводилъ меня Савелка до того, что какъ увижу я, бывало, его дрянную эту бороденку, шапку на ухѣ и лысый лобъ—начинаю весь дрожать; такъ бы кинулся и поломалъ его на куски.

Но хоть и малъ юноша былъ я тогда, а сердце умѣлъ держать въ рукѣ крѣпко; онъ идетъ за мной, тренькаетъ, а я виду не показываю, что тяжело мнѣ, шагаю не спѣша и будто не слышу ничего.

Молиться еще больше сталъ; чувствую, что кромѣ молитвы ничѣмъ мнѣ оградить себя, но теперь явились въ молитвахъ моихъ жалобы и горькія слова:

— За что, Господи? Виноватъ ли я, что отецъ-мать мои отреклись отъ меня и подобно котенку въ кусты бросили младенца?

А другой вины не видѣлъ за собой—люди въ жизни смѣшанно стоятъ, каждый къ дѣлу своему привыкъ, привычку возвелъ въ законъ, гдѣ же сразу понять, противъ кого чужая сила направляетъ тебя?

Ну, а все-таки началъ я присматриваться, ибо все болѣе безпокойно и нестерпимо становилось мнѣ.

Баринъ нашъ, Константинъ Николаевичъ Лосевъ, богатъ былъ и много земель имѣлъ; въ нашу экономію онъ рѣдко наѣзжалъ: считалась она несчастливой въ ихъ семействѣ, въ ней баринову мать кто-то задушилъ, дѣдъ его съ коня упалъ, разбился, и жена сбѣжала. Дважды видѣлъ я барина: человѣкъ высокій, полный, въ золотыхъ очкахъ, въ поддевкѣ и картузѣ съ краснымъ околышкомъ; говорили, что онъ важный царю слуга и весьма ученый—книги пишетъ. Титова, однако, онъ два раза матерно изругалъ и кулакъ къ носу подносилъ ему.

Въ Сокольей экономіи Титовъ былъ вся власть и сила. Имѣніе—не велико, хлѣба сѣяли сколько требовалось для хозяйства, а остальная земля мужикамъ въ аренду шла; потомъ было приказано аренду сокра-

щать и сѣять ленъ, — неподалеку фабрика открылась.

Кромѣ меня, въ уголкѣ конторы сидѣлъ Иванъ Макаровичъ Юдинъ, человѣчекъ нѣмой души и всегда пьяненькій. Телеграфистомъ онъ былъ, да за пьянство прогнали его. Велъ онъ всѣ книги, писалъ письма, договоры съ мужиками, и молчалъ такъ много, что даже удивительно было; говорить ему, а онъ только головой киваетъ, хихикаетъ тихонько, иной разъ скажетъ:

— Такъ.

И тутъ—весь.

Маленькій онъ былъ, худой, а лицо круглое, отечное, глазъ почти не видно, голова вся лысая, а ходилъ на цыпочкахъ, безъ шуму и невѣрно, точно слѣпой.

Въ день Казанской опоили мужики Юдина виномъ, а какъ умеръ онъ, — остался я въ конторѣ одинъ для всего: положилъ мнѣ Титовъ жалованья сорокъ рублей въ годъ, а Ольгу заставилъ помогать.

И раньше видѣлъ я, что мужики ходятъ около конторы, какъ волки надъ капканомъ: имъ капканъ видно — да ѣсть охота, а приманка зоветъ, ну, они и попадаютъ.

Когда же остался я одинъ въ конторѣ, раскрылись предо мною всѣ книги, планы, то, конечно, и при маломъ разумѣ моемъ сразу увидалъ, что все въ нашей экономіи ясный грабегъ, мужики кругомъ обложены, всѣ въ долгу и работаютъ не на себя, а на Титова. Сказать, что удивился я или стыдно стало мнѣ, не могу. И хоть понялъ я, за что Савелка лается, но не счелъ его правымъ, — вѣдь не я грабегъ выдумалъ!

Вижу, что Титовъ не чистъ передъ хозяиномъ, набиваетъ онъ карманъ себѣ какъ можно туго. Держалъ я себя передъ нимъ и раньше смѣло, понимая, что нуженъ ему для чего-то, а теперь подумалъ: для того и нуженъ, чтобы передъ Богомъ его, вора, прикрывать.

Милымъ сыномъ въ то время называлъ онъ меня и

жена его тоже; одѣвали хорошо, я имъ, конечно, спасибо говорю, а душа не лежитъ къ нимъ, и сердцу отъ ласки ихъ нисколько не тепло. А съ Ольгой все крѣпче дружился; правилась мнѣ тихая улыбка ея, ласковый голосъ и любовь къ цвѣтамъ.

Титовъ съ женой ходили передъ Богомъ, опушта головы, какъ стреноженные лошади, и будто прятали въ покорной робости своей нѣкій грѣхъ, тяжелѣйшій воровства. Руки Титова не правились мнѣ,—онъ все пряталъ ихъ и этимъ наводилъ на мысли нехорошія—можетъ, его руки человѣка задушили, можетъ, въ крови онъ?

И всегда—и онъ, и она—просятъ меня:

— Молись за насъ грѣшныхъ, Мотя!

Однажды я, не стерпѣвъ, сказалъ:

— Али вы сильно грѣшите другихъ?

Настасья вздохнула и ушла, а самъ отвернулся въ сторону, не отвѣтивъ мнѣ.

Дома онъ всегда задумчивъ, говорить съ женой и дочерью мало и только о дѣлахъ. Съ мужиками никогда не ругался, но былъ высокомеренъ—это хуже матерщины выходило у него. Никогда ни въ чемъ не уступалъ онъ имъ: какъ скажетъ, такъ и стоитъ, словно по поясъ въ землю ушелъ.

— Уступить бы имъ!—сказалъ я ему однажды.

Отвѣтилъ онъ:

— Никогда ни вершка не уступай людямъ, иначе—пропадешь!

Другой разъ,—заставлялъ онъ меня невѣрно считать,—я ему говорю:

— Такъ нельзя!

— Отчего?

— Грѣхъ.

— Не ты меня заставляешь грѣшить, а я тебя. Пиши, какъ велю, съ тебя не спросится, ты только за моя! Праведность свою не нарушишь этимъ, не

бойся! А на десять рублей въ мѣсяцъ ни я, ни кто не уловится правильно жить. Это пойми!

— Ахъ ты,—думаю,—дрянце съ пыльцой!

— Вотъ что—довольно!—говорю.—Все это надо прекратить. А ежели вы не перестанете баловаться, то я каждый разъ буду обличать дѣла ваши на селѣ.

Поднялъ онъ усы къ носу, плечи до ушей, оскалилъ зубы и вытаращилъ круглые глаза свои. Мѣряемъ другъ друга, кто выше.

Тихо спрашиваетъ онъ:

— Вѣрно?

— Вѣрно!

Засмѣялся Титовъ, словно горсть двугривенныхъ на полъ швырнулъ, и говорить:

— Ладно, праведникъ! Оно, пожалуй, такъ и надо мнѣ—надоѣло ужъ около рублей копейки ловить. Стало ворами тѣсно—зажили честно!

И ушелъ, хлопнувъ дверью, такъ что даже стекла въ окнахъ заныли.

Показалось мнѣ, какъ будто сократился Титовъ съ того дня, навѣрное не знаю. Но ко мнѣ пересталъ приставать.

Былъ онъ большой скопидомъ, и хотя ни въ чемъ себѣ не отказывалъ, но цѣну копейкѣ зналъ. Въ пищѣ сластолюбивъ и до женщинъ удивительно жаденъ,—власть у него большая, отказать ему бабы не смѣютъ, а онъ и пользуется; дѣвицъ не трогалъ, видимо, боялся, а женщины навѣрное каждая хоть разъ, да была наложницей его.

И меня къ этому не разъ поджигалъ:

— Чего ты,—говорить,—Матвѣй, стѣсняешься? Женщину поять, какъ милостыню подать! Здѣсь каждой бабѣ ласки хочется, а мужья—люди слабые, усталые, что отъ нихъ возьмешь? Ты же парень сильный, красивый,—что тебѣ стоитъ бабу приласкать? Да и самъ удовольствіе получишь...

Онъ ко всякой подлости сбоку заходилъ, низкій человѣкъ.

Однажды спрашиваетъ меня:

— Ты какъ, Матвѣй, думаешь—силенъ праведникъ у Господа?

Не любилъ я вопросы его.

— Не знаю,—говорю.

Подумалъ онъ—и снова:

— Вотъ, вывелъ Богъ Лота изъ Содома и Ноя спасъ, а тысячи погибли отъ огня и воды. Однако, сказано: не убій? Иногда мнѣ мерещится: оттого и погибли тысячи людей, что были между ними праведники. Видѣлъ Богъ, что и при столь строгихъ законахъ его удается нѣкоторымъ праведная жизнь. А если бы ни одного праведника не было въ Содомѣ—видѣлъ бы Господь, что, значить, никому невозможно соблюдать законы Его и, можетъ, смягчилъ бы ихъ, не губя множество людей. Говорится про него: Многомилостивъ,—а гдѣ же это видно?

Не понималъ я въ ту пору, что человѣкъ этотъ ищетъ свободы грѣха, но раздражали меня слова его.

— Кошунствуете вы!—говорю. — Бойтесь Бога, а не любите его!

Выхватилъ онъ руки изъ кармановъ, бросилъ ихъ за спину, поскрѣлъ, видно, что озлобился.

— Такъ или нѣтъ—не знаю!—отвѣчаетъ.—Только, думается мнѣ, что служите вы, богомолы, Богу вашему для мѣры чужихъ грѣховъ. Не будь васъ—смѣшался бы Господь въ оцѣнкѣ грѣха!

Долго послѣ того не замѣчалъ онъ меня, а въ душѣ моей начала расти нестерпимая вражда къ нему,—хуже Савелія сталъ онъ для меня.

Въ ночь на молитвѣ помянулъ я имя его—вспыхнула душа моя гнѣвомъ и, можетъ быть, въ тотъ часъ сказалъ я первую человѣческую молитву мою:

— Не хочу, Господи, милости Твоей для вора:

кары прошу ему! Да не обкрадываетъ онъ нищіе безнаказанно!

И такъ горячо говорилъ я противъ Титова, что даже страшно стало мнѣ за судьбу его.

А вскорѣ послѣ того столкнулся я съ Мигуномъ—пришелъ онъ въ контору лыка просить, а я одинъ былъ въ ней.

Спрашиваю:

— Ты, Савель, за что пздѣваешься надо мною?

Онъ показываетъ зубы свои, воткнувъ мнѣ въ лицо острые глаза.

— Мое,—говорить,—дѣло не велико, пришелъ просить лыка!

Ноги у меня дрожать, и пальцы сами собою въ кулакъ сжимаются; взявши за горло, встряхнулъ я его немножко.

— Въ чемъ я виновать?

Онъ не испугался, не обидѣлся, а просто взялъ мою руку и отвелъ ее отъ шеи своей, какъ будто не я его, а онъ меня сильнѣе.

— Когда,—говорить,—человѣка душать, ему неловко говорить. Ты меня не тронь, я уже всякіе побои видалъ—твои для меня лишни. И драться тебѣ не надо, этакъ ты всѣ заповѣди опрокинешь.

Говорить онъ спокойно, шутя, легко.

Я кричу ему:

— Что тебѣ надо?

— Лыка.

Вижу—на словахъ мнѣ его не одолѣть, да и злость моя прошла, только обидно и холодно мнѣ предъ нимъ.

— Звѣрье,—говорю,—всѣ вы! Развѣ можно надъ человѣкомъ смѣяться за то, что его отецъ-мать бросили?

А онъ въ меня прибаутками, словно камнями, лущаетъ:

— Не притворяйся нищимъ, мы правду сыщемъ; ты ѣшь краденъ хлѣбъ не потому, что слѣпъ.

— Врешь,—моль,—я за свой кусокъ тружусь...

— Безъ труда и курицу не украдешь, это извѣстно!

Смотритъ на меня съ бѣсовой усмѣшкой въ глазахъ и говоритъ жалостливо:

— Эхъ, Матвѣй, хорошъ ты былъ дитя! А сталъ книгочей, богоѣдъ и, какъ всѣ земли нашей воры, строишь божій законъ на той бѣдѣ, что не всѣмъ руки даны одной длины.

Вытолкалъ я его вонъ изъ конторы. Прибаутки его не хотѣлъ я понять, потому что, считая себя вѣрнымъ слугою Бога, и мысли свои считалъ вѣрнѣйшими мыслей другихъ людей. Становилось мнѣ одиноко и тоскливо, чувствую—слабѣетъ душа моя.

Жаловаться на людей—не могъ, не допускалъ себя до этого, то ли отъ гордости, то ли потому, что хотъ и былъ я глупъ человѣкъ, а фарисеемъ не былъ. Встану на колѣни передъ Знаменіемъ Абалацкой Богородицы, гляжу на ликъ ея и на ручки, къ небесамъ подъятыя—огонекъ въ лампадѣ моей мелькаетъ, тихая тѣнь гладитъ икону, а на сердце мнѣ эта тѣнь холодомъ ложится, и встаетъ между мною и Богомъ нѣчто невидимое, неошутимое, угнетая меня. Потерялъ я радость молитвы, опечалился и даже съ Ольгой не ладенъ сталъ.

А она смотритъ на меня все ласковѣе; мнѣ въ то время восемнадцать лѣтъ минуло, парень видный, рыжеватый, бѣлолицый и кудрявый такой. И хотѣлъ я, и неловко мнѣ было ближе къ ней подойти, я тогда еще невиненъ передъ женщиной жилъ; бабы на селѣ смѣялись за это надо мной; иногда мнѣ казалось, что и Ольга нехорошо улыбается. Не разъ уже сладко думалъ про нее:

— Вотъ—жена мнѣ!

Сидѣлъ я съ нею въ конторѣ молча цѣлые дни, спроситъ она меня что-нибудь по дѣлу, отвѣчу ей—тутъ и вся наша бесѣда.

Тонкая она, бѣлая, какъ молодая березка, глаза синіе, задумчивые, но была она красива и легка въ тихой и невѣдомой мнѣ печали своей.

И однажды спросила она:

— Что ты, Матвѣй, сталъ угрюмый?

Никогда я про себя ни съ кѣмъ не говорилъ, и не думалъ, не хотѣлъ говорить, а тутъ вдругъ открылось сердце—и все предъ нею, всѣ занозы мои повывергались. Про стыдъ мой за родителей и насмѣшки надо мной, про одиночество и обѣднѣніе души, и про отца ея—все! Не то, чтобы жаловался я, а просто вывелъ думы изнутри наружу; много ихъ было накоплено и всѣ—дрянь. Обидно мнѣ, что дрянь.

— Лучше въ монастырь идти!—говорю.

Затуманилась она, опустила голову и ничѣмъ не отвѣтила мнѣ. Была мнѣ пріятна печаль ея, а молчаніе опечалило меня. Но дня черезъ три—тихонько говорить она мнѣ:

— Напрасно ты на людей столько вниманія обращаешь; каждый живетъ самъ собой—видишь? Конечно, теперь ты одинъ на землѣ, а когда заведешь семью себѣ, и никого тебѣ не нужно, будешь жить, какъ всѣ, за своей стѣной, въ своемъ домѣ. А папашу моего не осуждай; всѣ его не любятъ, вижу я, но чѣмъ онъ хуже другихъ, не знаю! Гдѣ любовь видно?

Угѣшаютъ меня ея слова. Я всегда все сразу дѣлаю—такъ и тутъ поступилъ:

— Ты бы,—говорю,—пошла замужъ за меня?

Отвернулась она, шепчетъ:

— Пошла бы...

Кончено. На другой день я сказалъ Титову: такъ и такъ, молъ.

Усмѣхнулся онъ, усы расправилъ и началъ душу мнѣ скрести.

— Въ сыновья ко мнѣ—прямой путь для тебя, Матвѣй: надо думать, что это Богомъ указано, я не спорю!

моихъ, а Бога унизивъ, и самъ опустился до ничтожества.

Ольга же день-о-то-дня таетъ въ печали своей, какъ восковая свѣча. Думаю, какъ она будетъ жить съ другимъ человѣкомъ, и не могу поставить рядомъ съ ней никого, кромѣ себя.

Силою любви своей человѣкъ создаетъ подобнаго себѣ, и потому думалъ я, что дѣвушка понимаетъ душу мою, видитъ мысли мои и нужна мнѣ, какъ я самъ себѣ. Мать ея стала еще больше унылой, смотреть на меня со слезами, молчить и вздыхаетъ, а Титовъ прячетъ скверныя руки свои и тоже молча ходитъ вокругъ меня; вьется, какъ воронъ надъ собакой издыхающей, чтобъ въ минуту смерти вырвать ей глаза. Съ мѣсяцъ времени прошло, а я все на томъ же мѣстѣ стою, будто дошелъ до крутого оврага и не знаю, гдѣ перейти. Тяжело мнѣ было и тошно.

Однажды приходитъ Титовъ въ контору и говорить мнѣ негромко:

— Вотъ, Матвѣй, на твое счастье явился случай— хватай его, коли хочешь человѣкомъ быть!

Случай былъ такой, что мужики должны были много проиграть, экономія кое-что выиграла бы, а Титову могло попасть рублей около двухсотъ.

Разказалъ мнѣ и спрашиваетъ:

— Что, не осмѣлишься?

Спроси иначе, можетъ, я и не пошелъ бы въ руки къ нему, а отъ этихъ словъ—взорвало меня.

— Воровать не осмѣлюсь?—говорю.—Тутъ смѣлости не нужно, только подлость одна. Давайте, будемъ воровать!

Усмѣхается онъ, мерзавецъ, спрашиваетъ:

— А грѣхъ?

— А грѣхи мои—я самъ сочту.

— Ну и ладно!—говоритъ. — Теперь—знай: что ни день, то къ свадьбѣ ближе!

Словно волка на козленка ловилъ онъ меня, дурака, въ капканъ.

И началось. Въ дѣлахъ я былъ не глупъ, а дерзость всегда большую имѣлъ. Начали мы съ нимъ грабить народъ, словно въ шашки играемъ,—онъ сдѣлаетъ ходъ, а я—еще злѣе. Оба молчимъ, только поглядываемъ другъ на друга, онъ—со смѣшкомъ зеленымъ въ глазахъ, я—со злостью. Одолѣлъ меня этотъ человѣкъ, но и проигравши ему все, даже въ поганомъ дѣлѣ не могъ я ему уступить. Ленъ принимая, сталъ обвѣшивать, штрафы за поправу утаивалъ, всячески копейки щипалъ съ мужиковъ, но денегъ не считалъ и въ руки не бралъ,—все Титову шло; конечно, легче мнѣ отъ этого не было, и мужикамъ тоже.

Словомъ сказать, былъ я въ ту пору какъ бѣшеный, въ груди тяжело, тѣсно, холодно; Бога вспомню—какъ обожжетъ меня. Не однажды, все-таки, упрекалъ Его:

— Почто,—моль,—не поддержишь силою Твоею паденіе мое; почто возложилъ на меня испытаніе не по разуму мнѣ, али не видишь, Господи, погибаетъ душа моя?

Были часы, что и Ольга чужой становилась мнѣ; гляжу на нее и враждебно думаю:

— Тебя ради душой торгую, несчастная!

А послѣ этихъ словъ станеть мнѣ стыдно предъ нею, стану я тихъ и ласковъ съ дѣвушкой, какъ только могу.

Но, поймите, не отъ жалости къ себѣ али къ людямъ мучился я и зубами скрипѣлъ, а отъ великой той обиды, что не могъ Титова одолѣть и предалъ себя волѣ его. Вспомню, бывало, слова его о праведникахъ—оледенѣю весь. А онъ, видимо, все это понималъ.

Торжествуетъ. Говорить:

— Ну, святоша, надо тебѣ о келейкѣ думать, съ

нами жить тѣсно будетъ для тебя съ женою, вѣдь и дѣти у васъ пойдутъ!

Святошей назвалъ. Я смолчалъ.

И все чаще сталъ онъ такъ называть меня, а дочь его все милѣе, все ласковѣе со мною: видно, понимала, какъ трудно мнѣ.

Выклянчилъ Титовъ кусокъ земли,—управляющему Лосева поклонялся,—дали ему хорошее мѣстечко за экономіей; началъ онъ строить избу для насъ, а я—все нажимаю, жульничаю. Дѣло идетъ быстро, карманъ пухнетъ, домикъ строится, блеститъ на солнцѣ, какъ золотая коробочка для Ольги. Вотъ уже подъ крышу подвели его, надо печь ставить, къ осени и жить въ немъ можно бы.

Только разъ, подъ вечеръ, иду я изъ Якимовки,—скотъ у мужиковъ описывалъ за долги,—вышелъ изъ рощи къ селу, гляжу—а на солнечномъ закатѣ горитъ мой домъ, какъ свѣча горитъ.

Сначала я подумалъ, что это солнце шутитъ, обняло его красными лучами и поднимаетъ вверхъ, въ небеса къ себѣ, однако, вижу — народъ суетится, слышу — огонь свиститъ, дерево потрескиваетъ.

Вспыхнуло сердце у меня, вижу Бога врагомъ себѣ, будь камень въ рукѣ у меня—метнулъ бы я его въ небо. Гляжу, какъ воровской мой трудъ дымомъ и пепломъ по землѣ идетъ, самъ весь пылаю вмѣстѣ съ нимъ и говорю:

— Хочешь ли Ты указать мнѣ, что ради праха и зола погубилъ я душу мою, этого ли хочешь? Не вѣрю, не хочу униженія Твоего, не по Твоей волѣ горитъ, а мужики это подожгли по злобѣ на меня и на Титова! Не потому не вѣрю въ гнѣвъ Твой, что я недостойнъ его, а потому, что гнѣвъ такой не достоинъ Тебя! Не хотѣлъ Ты подать мнѣ помощи Твоей въ нужный часъ, безсильному противъ грѣха, Ты виноватъ, а не я! Я

вошелъ въ грѣхъ, какъ въ темный лѣсъ, до меня онъ выросъ, и гдѣ мнѣ найти свободу отъ него?

Не то, чтобы утѣшали меня эти глупыя слова... И ничего не оправдывали они, но будили въ душѣ нѣкое злое упрямство.

Догорѣлъ мой домъ раньше, чѣмъ угасло возмущеніе мое. Я все стою на опушкѣ рощи, прислонясь къ дереву, и веду мой споръ, а бѣлое Ольгино лицо мелькаетъ передо мной, въ слезахъ, въ горѣ.

Говорю я Богу дерзко, какъ равному:

— Коли Ты силенъ, то и я—силенъ,—такъ должно быть по-справедливости!

Погасъ пожаръ, стало тихо и темно, но вотъмъ еще сверкаютъ языки огня; точно малый ребенокъ, уставъ плакать, тихо всхлипываетъ. Ночь была облачная, блестяла рѣка, какъ ножъ кривой, среди поля потерянный, и хотѣлось мнѣ поднять тотъ ножъ, размахнуться имъ, чтобы свистнуло надъ землей.

Около полуночи пришелъ я въ село—у воротъ экономіи Ольга съ отцомъ стоятъ, ждутъ меня.

— Гдѣ же ты былъ?—говорить Титовъ.

— На горѣ стоялъ, на пожаръ глядѣлъ.

— Чего же не бѣжалъ тушить?

— Чудотворецъ я, что ли,—плюну въ огонь, а онъ и погаснетъ?...

У Ольги глаза заплаканы, вся она сажей попачкана, въ дыму закоптѣла—смѣшно мнѣ видѣть это.

— Работала?—спрашиваю.

Залилась она слезами.

Титовъ угрюмо говоритъ:

— Не знаю, что и дѣлать...

— Съ начала,—моль,—надо строить!

Во мнѣ тогда такое упорство сложилось, что я своими руками сейчасъ же готовъ былъ бревна катать и вѣнцы вязать, и до конца бы всю работу сразу могъ довести, потому что хоть я волю Бога и оспаривалъ,

а надо было мнѣ навѣрное знать,—Онъ это противъ меня, или нѣтъ?

И снова началось воровство. Какихъ только хитростей не придумывалъ я! Бывало, прежде-то по ночамъ я, Богу молясь, себя не чувствовалъ, а теперь лежу и думаю, какъ бы лишній рубль въ карманъ загнать, весь въ это ушелъ и хоть знаю,—многіе въ ту пору плакали отъ меня, у многихъ я кусокъ изъ горла вырвалъ, и малыя дѣти, можетъ быть, голодомъ погибли отъ жадности моей,—противно и пакостно мнѣ знать это теперь, а и смѣшно—ужь очень я глупъ и жаденъ былъ!

Лики святые смотрять на меня уже не печальными и добрыми глазами, какъ прежде, а будто подстерегаютъ, словно Ольгинъ отецъ. Однажды я у старосты съ конторки полтинникъ стянулъ—вотъ до какой красоты дошелъ!

И разъ выпало мнѣ что-то особенное—подошла ко мнѣ Ольга, положила руки свои легкія на плечи мои и говорить:

— Матвѣй, Господь съ тобой, люблю я тебя больше всего на свѣтѣ!

Удивительно просто сказала она эти свѣтлыя слова, такъ ребенокъ не скажетъ „мама“. Обогаťлъ я силой, какъ въ сказкѣ, и стала она мнѣ съ того часа неизмѣримо дорога. Первый разъ сказала, что любить, первый разъ тогда обнялъ я ее и такъ поцѣловалъ, что весь исчезъ, пересталъ быть, какъ это случалось со мной во время горячей молитвы.

Къ Покрову домъ нашъ былъ готовъ—пестрый вышелъ, нѣкоторыя бревна черныя, обгорѣлыя. Вскорѣ и свадьбу справили мы; тестъ мой пьянъ нализался и все время хохоталъ, какъ чортъ въ удачѣ; теща смотрѣла на насъ, плакала—молчить, улыбается, а по щекамъ слезы текутъ

Титовъ оретъ:

— Эй, не плачь! Какой у насъ зять, а? Праведникъ!
И матерно ругается.

Гости были важные,—попъ, конечно, становой, двое волостныхъ старшинъ и еще разные осетры среди оудаковъ, а подъ окнами сельскій народъ собрался, и въ немъ Мигунъ отличался—до старости безсмертно веселый человѣкъ. Балалайка его тренькаетъ.

Я у окна сидѣлъ, тонкій голосъ Савелкинъ доходить до меня, хотъ и боится онъ громко шутить, а, слышу я, распѣваетъ:

— Напились-бы вы скорѣе да полопались!
А наѣлись-бы вы досталь да и треснули!

Насмѣшки его понравились мнѣ тогда, хотъ не до него было,—жметъ ко мнѣ Ольга и шепчетъ:

— Кончилось бы скорѣе все это, ѣда и питье!

Точно было ей глядѣть на жадность людскую, да и мнѣ противно.

Какъ познали мы съ нею другъ друга, то оба заплакали, сидимъ на постели, обнявшись, и плачемъ, и смѣемся отъ великой и нечаянной нами радости супружества. До утра не спали, цѣловались все и разговаривали, какъ будемъ жить; чтобы видѣть другъ друга—свѣчу зажгли.

Говорила она мнѣ, обнимая теплыми руками:

— Будемъ жить такъ, чтобы всѣ любили насъ!
Хорошо съ тобой, Матвѣй!

Оба мы были, какъ пьяные, отъ неизреченнаго счастья нашего, и сказалъ я ей:

— Пусть меня поразить Господь, если ты, Ольга, когда-нибудь по винѣ моей другими слезами заплачешь!

А она:

— Я, — говорить, — отъ тебя все приму, буду тебѣ мать и сестра, одинокій ты мой!

Зажили мы съ ней, какъ въ сладкомъ бреду. Дѣло

я дѣлаю спуста рукава, ничего не вижу и видѣть не хочу, тороплюсь всегда домой, къ женѣ; по полю гуляемъ съ нею, ходимъ въ лѣсъ.

Вспомнилъ старину—птицъ завелъ, домъ у насъ свѣтлый, веселый, всюду на стѣнахъ клѣтки висятъ, птицы поютъ. Жена моя, тихая, полюбила ихъ; приду, бывало, домой, она рассказываетъ, что синица дѣлала, какъ, щуръ пѣлъ.

По вечерамъ я Минею или Прологъ читалъ, а больше про дѣтство свое рассказывалъ, про Ларіона и Савелку, какъ они Богу пѣсни пѣли, что говорили о немъ, про безумнаго Власія, который въ ту пору скончался уже, про все говорилъ, что зналъ—оказалось, зналъ я много о людяхъ, о птицахъ и о рыбахъ.

Всей силы счастья моего словами не вычерпать, да и не умѣетъ человѣкъ рассказать о радостяхъ своихъ, не приученъ къ тому,—рѣдки радости его, коротки во времени.

Ходимъ въ церковь съ женой, встанемъ рядомъ въ уголокъ и дружно молимся. Молитвы мои благодарныя обращалъ я къ Богу съ похвалой ему, но и съ гордостью—такое было чувство у меня, словно одолѣлъ я силу Божию, противъ воли его заставилъ Бога надѣлать меня счастьемъ; уступилъ Онъ мнѣ, а я его и похваляю: хорошо, молъ, Ты, Господи, сдѣлалъ, справедливо, какъ и слѣдовало!

Эхъ, язычество нищенское!

Зиму прожилъ я незамѣтно, какъ одинъ свѣтлый день; объявила мнѣ Ольга, что беременна она,—новая радость у насъ. Тестъ мой угрюмо крикаетъ, теща смотритъ на жену мою жалостливо и все что-то нашептываетъ ей. Затѣвалъ я свое дѣло начать, думалъ пчельникъ устроить, назвать его, для счастья, Ларіоновымъ, разбить огородъ и заняться птицеводствомъ—все это дѣла для людей безобидныя.

Какъ-то разъ Титовъ говоритъ мнѣ сурово таково:

— Ты, Матвѣй, больно рано обсахарился, гляди— скоро прокиснешь! Лѣтомъ ребенокъ родится у тебя— али забылъ?

Мнѣ давно хотѣлось правду сказать ему, какъ я въ то время понималъ ее, и вотъ, говорю:

— Сколько надо было мнѣ грѣха сдѣлать, сдѣлалъ я, поровнялся съ вами, чего вамъ хотѣлось, — ну, а ниже васъ не буду стоять!

— Не понимаю,—говорить,—что ты хочешь мнѣ доказать! Я тебѣ говорю просто: семьдесятъ два рубля въ годъ для семейнаго не деньги, а дочернино приданое я тебѣ не позволю проѣдать! Думаи! Мудрость же твоя—просто злость противъ меня, что я тебя умнѣе, и пользы въ ней—ни тебѣ, ни мнѣ. Всякій святъ, пока дьяволомъ не взятъ!

Трудно было, а, жалѣючи Ольгу, сдержался я, не избилъ его.

На селѣ извѣстно стало, что я съ тестемъ не въ ладу живу, сталъ народъ поласковѣе глядѣть на меня. Самъ же я отъ радостей моихъ мягче сталъ, да и Ольга добра сердцемъ была—захотѣлось мнѣ расплатиться съ мужиками по-возможности. Началъ я маленько мирволить имъ: тому поможешь, этого прикроешь. А въ деревнѣ—какъ за стекломъ, каждый твой взмахъ руки виденъ всѣмъ. Злится Титовъ:

— Опять,—говорить,—хочешь Бога подкупить?

Рѣшилъ я бросить контору, говорю женѣ:

— Шесть рублей въ мѣсяцъ,—и больше,—я на птицахъ возьму!

Опечалилась подруга моя.

— Дѣлай, какъ знаешь, только не остаься бы нищими! Жалко,—говорить,—папашу: хочетъ онъ тебѣ добра и много принялъ грѣха на душу ради насъ...

— Эхъ, думаю, милая! Сѣло мнѣ его добро подъ девятое ребро!

И на другой день сказалъ тестю, что ухожу.

Усмѣхнулся онъ, спрашиваетъ:

— Въ солдаты?

Ожегъ! Понимаю я, что напакостить мнѣ—легко для него: знакомства онъ имѣетъ большія, вездѣ мужику почетъ, и попаду я въ солдаты, какъ въ воду камень. Дочери своей онъ не пожалѣетъ,—у него тоже большая игра съ Богомъ была.

И петля за петлей на руки мнѣ: жена тайно плакать начала, глаза у нея всегда красные. Спросишь ее:

— Ты что, Оля?

А она говорить:

— Нездоровится.

Помню клятву мою передъ ней: неловко, стыдно мнѣ. Одинъ бы шагъ ступить—и рѣшимость есть—жалко женщину любимую! Не будь ея, пошелъ бы я въ солдаты, только бы Титова избѣжать.

Въ концѣ іюня мальчикъ у насъ родился, и снова одурѣлъ я на время. Роды были трудные, Ольга кричить, а у меня со страху сердце рвется. Титовъ потемнѣлъ весь, дрожить, прислонился на дворѣ у крыльца, руки спряталъ, голову опустил и бормочетъ:

— Умереть, вся моя жизнь ни къ чему, Господи, помилуй... Будутъ дѣти у тебя, Матвѣй, можетъ, поймешь ты горе мое и жизнь мою, перестанешь выдумывать себя на грѣхъ людямъ...

Пожалѣлъ я его въ тѣ часы. Самъ хожу по двору—думаю:

— Снова угрожаешь Ты мнѣ, Господи, опять надо мною рука Твоя! Далъ бы человѣку оправиться, помогъ бы ему отойти въ сторону! Али скупъ сталъ милостью Твоею и не въ добротѣ сила Твоя?

Вспоминая теперь эти рѣчи, стыжусь за глупость мою.

Родился ребенокъ, перемѣнилась жена моя: и годось у нея крѣпче сталъ, и тѣло все будто бы выпрямилось, а ко мнѣ она, вижу—какъ-то бокомъ стоитъ.

Не то, чтобы жадна стала, а начала куски учитывать; ужъ и милостыню рѣже подаетъ, вспоминаетъ, кто изъ мужиковъ сколько долженъ намъ. Долги—пятаки, а ей интересно. Сначала я думалъ,—пройдетъ это; я тогда уже бойко птицей торговалъ, раза два въ мѣсяцъ ѣздилъ въ городъ съ клѣтками; бывало, рублей пять и больше за поѣздку возьмешь. Корова была у насъ, съ десятокъ куръ—чего бы еще надо?

А у Ольги глаза блестятъ непріятно. Привезу ей подарокъ изъ города, жалуется:

— Зачѣмъ это? Ты бы деньги-то берегъ.

Скучно стало мнѣ, и отъ этой скуки пристрастился я къ птичьей охотѣ. Уйду въ лѣсъ, поставлю сѣть, повѣшу чашки, лягу на землю, посвистываю, думаю. Въ душѣ—тихо, ничего тебѣ не надобно. Родится мысль, задѣнетъ сердце и падетъ въ неизвѣстное, точно камешекъ въ озеро, пойдутъ круги въ душѣ—волненіе о Богѣ.

Въ эти часы Богъ для меня—небо ясное, синія дали, вышитый золотомъ осенній лѣсъ, или зимній—храмъ серебряный; рѣки, поля и холмы, звѣзды и цвѣты—все красивое божественно есть, все божественное родственно душѣ. А вспомнишь о людяхъ, встрепетается сердце, какъ птица, во снѣ испуганная, и недоумѣнно смотришь въ жизнь—не сливается во едино красота Божія съ темной, нищей жизнью человѣческой. Свѣтлый Богъ гдѣ-то далеко въ силѣ и гордости своей, люди—тоже отдѣльно въ нудной и прискорбной жизни. Почто преданы дѣти Божіи въ жертву суетѣ и голодны, и унижены, и придавлены къ землѣ, какъ черви въ грязи; зачѣмъ это допущено Богомъ? Какая радость ему видѣть униженіе твореній своихъ? Гдѣ есть люди, кои Бога видятъ и чувствуютъ красоту его? Ослѣплена душа въ человѣкѣ черной нуждой дневной. Сытость числится радостью и богатство—счастіемъ, ищутъ люди свободы грѣха, а свободы отъ грѣха не имѣютъ. И гдѣ

въ нихъ сила отчей любви, гдѣ Божья красота? Живъ Богъ? Гдѣ же—божеское?

Вдругъ взметнется дымомъ нѣкая догадка или намекъ, все собою покроетъ, все опустошить, и въ душѣ, какъ въ полѣ зимой, пусто, холодно. Тогда я не смѣлъ дотронуться словами до этой мысли, но хотя она и не вставала предо мной, одѣтая въ слова—силу ея чувствовалъ я и боялся, какъ малый ребенокъ темнаго оврага. Вскочу на ноги, займусь дѣломъ, затороплюсь домой, соберу снасти свои и пойду быстро да пѣсни пою, чтобы оттолкнуть себя въ сторону отъ немошняго страха своего.

Стали люди смѣяться надо мной,—птицелововъ не уважаютъ въ деревняхъ,—да и Ольга тяжело вздыхаетъ, видимо, и ей вазорнымъ кажется занятіе мое. Тестъ мнѣ притчи читаетъ, я помалкиваю, жду осени; кажется мнѣ, что минуетъ меня солдатчина—эту яму я обойду.

Жена снова забеременѣла и съ тѣмъ вмѣстѣ начала грустить.

— Что ты, Ольга?

Сначала отнѣкивалась—ничего, дескать, но однажды обняла меня, заплакала.

— Умру я,—говорить,—родами умру!

Зналъ я, что женщины часто этакъ говорятъ, но испугался. Утѣшаю—не слушаетъ.

— Снова ты останешься одинъ,—говорить,—нелюбимый никѣмъ. Неуживчивый ты, дерзкій во всемъ—прошу я тебя, ради дѣтей: не гордись, всѣ Богу виноваты, и ты не правъ...

Часто стала она говорить мнѣ подобныя рѣчи, и смутился я отъ жалости къ ней, страха за нее. Съ тѣмъ у меня что-то въ родѣ мира вышло, онъ сейчасъ же воспользовался этимъ по-своему; тутъ, Матвѣй, подпиши, тамъ—не пиши. Предлоги важные—солдатство на носу, второй ребенокъ близко.

А уже рекрута гулять начали, меня зовутъ; отказался—стекла побили.

Насталъ день, поѣхалъ я въ городъ жребій вынимать, жена уже боялась выходить изъ дома. Тестъ меня провожалъ и всю дорогу рассказывалъ, какіе онъ труды понесъ, ради меня, и сколько денегъ истратилъ, и какъ хорошо все устроено у него.

— Можетъ, напрасно вы старались,—говорю.

Такъ и вышло; жребій мой оказался изъ послѣднихъ. Титовъ даже не повѣрилъ счастью моему, а потомъ сумрачно засмѣялся.

— Видно, и вправду Богъ-то за тебя!

Я—молчу, а несказанно радъ; для меня это свобода отъ всего, что тяготило душу, а главное—отъ дорогого тестя. Дома—радость Ольгина; плачетъ и смѣется, милая, хвалитъ меня и ласкаетъ, словно я медвѣдя убилъ.

— Слава тебѣ, Господи,—говорить,—теперь я спокойно помру!

Посмѣиваюсь я надъ нею, а самому—жутко, ибо чувствую—вѣрить она въ смерть свою, понимаю, что вѣра эта пагубна, уничтожаетъ она силу жизненную въ человѣкѣ.

Дня черезъ три начались у нея роды. Двое сутокъ мучалась она страшными муками, а на третій скончалась, разрѣшившись мертвенькимъ; скончалась, какъ увѣрила себя, милый мой другъ!

Похоронъ ея не помню, ибо нѣкоторое время и слѣпъ, и глухъ былъ.

Разбудилъ меня Титовъ,—было это на могилѣ Ольгиной. Какъ теперь вижу—стоитъ онъ предо мной, смотреть въ лицо мнѣ и говорить:

— Вотъ, Матвѣй, второй разъ сходимся мы съ тобой около мертвыхъ; здѣсь родилась наша дружба, здѣсь и снова скрѣпить бы ей...

Оглядываюсь, какъ будто я впервые на землю попалъ: дождь накрапываетъ, туманъ вокругъ, качаются въ

немъ голыя деревья, плывутъ и прячутся намогильные кресты, все ограблено холодомъ, одѣто тяжелой сыростью, и дышать нечѣмъ, будто дождь и туманъ весь воздухъ пожрали.

Я говорю Титову:

— Что тебѣ надо? Уйди!

— Надо мнѣ, чтобы понялъ ты горе мое. Можетъ быть, и за тебя, за то, что помѣшалъ я тебѣ жить по волѣ твоей, наказалъ меня Господь смертью дочери...

Таесть земля подъ ногами, обращаясь въ липкую грязь, и, чмокая, присасываетъ ноги мои.

Сгребъ я его, бросилъ на землю, словно куль отрубей, кричу:

— Будь ты проклять, окаянный!

И началось для меня время безумное и безсмысленное,—не могу головы своей вверхъ поднять, тоже какъ бы брошенъ на землю гнѣвною рукой, и безъ силъ распростерся на землѣ. Болитъ душа обидой на Бога, взгляну на образа и отойду прочь скорѣе: спорить я хочу, а не каяться. Знаю, что по закону долженъ смиренно покаяніе принести, долженъ сказать:

— Такъ, Господи! Тяжела рука Твоя, а справедлива, и гнѣвъ Твой великъ, но благостенъ!

А по совѣсти моей — не могу сказать этихъ словъ, стою потерянный между разными мыслями и не нахожу себя.

Подумаю:

— Не за то ли мнѣ этотъ ударъ, что я тайно сомнѣвался въ бытіи Твоемъ?

Пугаетъ меня это, оправдываюсь:

— Вѣдь не въ бытіи, а только въ милосердіи Твоемъ сомнѣвался я, ибо кажется мнѣ, что всѣ люди брошены Тобою безъ помощи и безъ пути!

И все это не то, что тлѣетъ въ душѣ моей, тлѣетъ и нестерпимо жжетъ ее. Спать не могу, ничего не

дѣлаю, по ночамъ тѣни какія-то душатъ меня, Ольгу вижу, жутко мнѣ и нѣтъ силъ жить.

Рѣшилъ удавиться.

Было это ночью, лежалъ я на постели одѣтый и маялся; въ памяти жена стоитъ, ни въ чемъ неповинная; синіе глаза ея тихими огнями теплятся, зовутъ. Въ окна мѣсяцъ смотритъ, на полу свѣтлыя тропы лежать—на душѣ еще темнѣе отъ нихъ. Вскочилъ, взялъ веревку отъ птичьей сѣти, вбилъ гвоздь въ матицу, петлю сдѣлалъ и стулъ поставилъ. Захотѣлось мнѣ ниджакъ снять, снялъ, воротъ у рубахи порвалъ и, вдругъ, вижу, на стѣнѣ тайно мелькнуло чье-то маленькое неясное лицо. Едва не закричалъ со страха, но понялъ, что это мое лицо въ кругломъ Ольгиномъ зеркалѣ. Смотрю—видъ безумный и жалостный, волосы встрепаны, щеки провалились, носъ острый, ротъ полуоткрытъ, точно задыхается человѣкъ, а глаза смотрятъ оттуда замученно, съ великой горечью.

Жалко стало мнѣ человѣческаго лица, былой его красоты, сѣлъ я на лавку и заплакалъ надъ собою, какъ ребенокъ обиженный, а послѣ слезъ петля явилась стыднымъ дѣломъ, насмѣшкой надо мной. Обозлился я, сорвалъ ее и швырнулъ въ уголъ. Смерть—тоже загадка, а я разрѣшеніе жизни искалъ.

Что же мнѣ дѣлать? Прошли еще какіе-то дни, показалось мнѣ, что мира я хочу и надо понудить себя къ покаянію, стиснулъ зубы, къ попу пошелъ.

Въ воскресенье, подъ вечеръ, явился я къ нему. Сидитъ онъ съ попадѣй за столомъ, чай пьютъ, четверо ребятъ съ ними, на черномъ лицѣ у попа потъ блеститъ, какъ рыба чешуя. Встрѣтилъ меня благодушно.

— Садись, выпей чайку...

Въ комнатѣ тепло и свѣтло, все въ ней чисто, аккуратно; вспомнилъ я, съ какимъ небреженіемъ попъ этотъ во храмѣ служить, и думаю:

— Вотъ гдѣ его храмъ!

Нѣтъ нужнаго смиренія во мнѣ.

— Что, Матвѣй, тоскуешь?—спрашиваетъ попъ.

— Да,—моль,—тоскую...

— Ага!.. Сорокоусть заказать надо. Во снѣ не является ли?

— Является,—моль.

— Непремѣнно—сорокоусть!

Молчу. Не могу я при попадѣ говорить, не любилъ я ее очень; широкая она такая была, лицо большое, жирное, дышитъ женщина тяжело и зыблется вся, какъ болото. Деньги въ ростъ давала.

— Молись усердно!—поучаетъ попъ.—И не грусти—это будетъ противъ Господа, Онъ знаетъ, что дѣлаетъ...

Спрашиваю я:

— Знаетъ ли?

— А какъ же? Эй,—говоритъ,—парень, извѣстно мнѣ, что ты къ людямъ гордъ, но—не дерзай перенести гордость твою и на Господень законъ,—сто кратъ тяжеле пораженъ будешь! Ужъ не Ларіонова ли закваска бродитъ въ тебѣ? Покойникъ, по пьяному дѣлу, въ еретичество впадалъ, помни сіе!

Попадья вмѣшалась:

— Его бы, Ларіона-то, въ монастырь надо сослать, да вотъ отецъ больно ужъ добръ, не жаловался на него.

— Неправда это,—говорю,—жаловался, но не за мнѣнія его, а за небреженіе по службѣ, въ чемъ батюшка и самъ виновать.

Начался у насъ споръ. Сначала попъ въ дерзости меня упрекалъ, говорилъ слова, извѣстныя мнѣ не хуже его, да еще и перевиралъ ихъ, въ досадѣ на меня, а потомъ и онъ, и попадья просто ругаться стали:

— И ты,—говорятъ,—и твой тесть—оба грабители, церковь обокрали: Мокрый долъ—издавна церковный

покося, а вы его оттягали у насъ, вотъ и пристукнулъ васъ Господь...

— Это вѣрно,—говорю,—Мокрый долъ неправильно отнять у васъ, а вами—у мужиковъ!

Всталъ, хочу уходить.

— Стой!—кричитъ попъ.—А деньги за сорокоустъ?

— Не надо,—моль.

И ушелъ, думая:

— Не туда ты, Матвѣй, душу принеси!

Дня черезъ три померъ ребенокъ мой, Саша; принялъ мышьякъ за сахаръ, полизалъ его и скончался. Это даже и не удивило меня, охладѣлъ я какъ-то ко всему, отупѣлъ.

Надумалъ идти въ городъ. Былъ тамъ протопопъ, благочестивой жизни и весьма ученый—съ раскольниками ревностно состязался о дѣлахъ вѣры и славу прозорливца имѣлъ. Объявилъ тестю, что ухожу, домъ и все, принадлежащее мнѣ, оставляю ему, а онъ пусть дастъ мнѣ за все сто рублей.

— Такъ,—говорить,—нельзя! Напиши мнѣ вексель на полгода въ триста рублей.

Написалъ, выправилъ паспортъ, ушелъ. Нарочно пѣшкомъ иду, не уляжется ли дорогой-то смятеніе души. Но хотя каяться иду, а о Богѣ не думаю,—не то боюсь, не то обидно мнѣ,—искривились всѣ мысли мои, расползаются, какъ гнилая дерюга, темны и неясны небеса для меня.

Дошелъ до протопопа съ большимъ трудомъ, не пускаютъ. Какой-то служащій принималъ посѣтителей, молодой и щупленькій красавчикъ, раза четыре онъ меня отводилъ:

— Я,—говорить,—секретарь, мнѣ надо три рубля дать.

— Я,—моль,—тебѣ трехъ копеекъ не дамъ.

— А я тебя не пушу!

— Самъ пройду!

Увидалъ онъ, что не уступлю.

— Идемъ,—говорить,—это я шучу, ужъ очень ты смѣшной!

И привелъ меня въ маленькую комнатку, сидитъ тамъ на диванѣ въ углу сѣдой старичокъ въ зеленой рясѣ, кашляетъ, лицо изможденное, глаза строгіе и посажены глубоко подъ лобъ.

— Ну,—думаю,—этотъ мнѣ что-нибудь скажетъ!

— Съ чѣмъ пришелъ?—спрашиваетъ онъ.

— Смутился,—моль,—душой я, батюшка.

А секретарь этотъ, стоя сзади меня, шепчетъ:

— Говори: ваше преподобіе!

— Велите,—говорю,—уйти служащему, мнѣ при немъ стѣснительно...

Взглянулъ на меня протопопъ, пожевалъ губами, приказываетъ:

— Выдь за дверь, Алексѣй! Ну, говори, что сдѣлалъ?

— Сомнѣваюсь,—моль,—въ милосердіи Господнемъ.

Онъ руку ко лбу приложилъ, поглядѣлъ на меня и нараспѣвъ шепчетъ:

— Что? Что-о такое, а? Ахъ ты, дубина!

Обижаться мнѣ не время было, да и не обидно,—привычка властей нашихъ ругать людей, они вѣдь не такъ со зла, какъ по глупости.

Говорю ему:

— Послушайте меня, ваше преподобіе!

Да и присѣлъ, было, на стулъ, но замахалъ старичокъ руками, кричитъ:

— Встань! Встань! На колѣни долженъ пасть предо мной, окаянный!

— Зачѣмъ же,—говорю,—на колѣни-то? Ежели я виновать, то не передъ вами, а передъ Богомъ!

Онъ—пуще сердится:

— А я кто? Кто я тебѣ? Кто я Богу?

Изъ-за пустяка мнѣ съ нимъ стыдно спорить.

Опустился на колѣни—на вотъ! А онъ, пальцемъ мнѣ грозя, шипитъ:

— Я тебя научу священство уважать!

Пропадаетъ у меня охота бесѣдовать съ нимъ; и, покамѣстъ совсѣмъ не пропала,—началь я говорить; началъ, да скоро и забылъ про него—первый разъ вслухъ-то говорю мысли мои, удивляюсь словамъ своимъ и весь—какъ въ огнѣ.

Вдругъ, слышу, кричитъ старичокъ:

— Молчи, несчастный!

Я—какъ объ стѣну съ разбѣга ударился. Стоить онъ надо мной и шепчетъ, потрясая руками:

— Понимаешь ли ты, безумное животное, слова твои? чувствуешь ли веліе окаянство твое, безобразный? Лжешь, еретикъ, не на покаяніе пришелъ ты, а ради искушенія моего посланъ дьяволомъ!

Вижу я—не гнѣвъ, а страхъ на лицѣ у него. Трясется борода, и руки, простертыя ко мнѣ, мелко дрожать.

Я тоже испугался.

— Что вы,—говорю,—ваше преподобіе, я въ Бог вѣрую!

— Лжешь, собака заблудшая!

И началъ онъ мнѣ угрожать гнѣвомъ Божиимъ и местью его,—началь говорить тихимъ голосомъ; говорить и весь вздрагиваетъ, ряса словно ручьями течетъ съ него и дымомъ зеленымъ вьется. Встаетъ Господь предо мною грозенъ и суровъ, ликомъ—темень, сердцемъ—гнѣвень, милосердіемъ скупъ и жестокостью подобенъ Іеговѣ, Богу древлему.

Я и говорю протопопу:

— Сами вы въ ересь впадаете,—развѣ это христіанскій Богъ? Куда же вы Христа прячете? На что вмѣсто друга и помощника людямъ только судію надъ ними ставите?

Тутъ онъ меня за волосы ухватилъ, дергаетъ и шепчетъ, всхлипывая:

— Проклятый, ты кто такой, кто? Тебя надо въ полицію представить, въ острогъ, въ монастырь, въ Сибирь...

Тогда я опомнился. Ясно, что коли человѣкъ полицію зоветъ Бога своего поддержать, стало быть, ни самъ онъ, ни богъ его никакой силы не имѣютъ, а тѣмъ паче—красоты.

Поднимаюсь съ колѣнъ и говорю:

— Пустите-ко меня...

Отшатнулся старикъ, задыхается:

— Что хочешь дѣлать?

— Уходить хочу! Научиться,—молъ,—мнѣ у васъ нечему, рѣчи ваши мертвы, да и Бога ими умерщвляютъ вы!

Онъ снова началъ говорить о полиціи, ну мнѣ это все равно: полиція больше того не отниметъ, сколько онъ хотѣлъ.

— Славѣ Божіей,—говорю ему,—служать ангелы, а не полиція, но ежели вы иначе вѣруете—поступайте по вѣрѣ вашей.

Наскакиваетъ онъ на меня, зеленый.

— Алексѣй,—кричитъ,—гони его вонъ!

Алексѣй этотъ съ большимъ усердіемъ вытолкалъ меня на улицу.

Вечеръ былъ, часа два бесѣдовалъ я съ протопопомъ. Сумрачно на улицѣ, скверно. Народъ вездѣ гуляетъ, говоръ и смѣхъ—о ту пору праздники были, святки. Иду разслабленно, гляжу на всѣхъ, обидно мнѣ и хочется кричать:

— Эй, народъ! Чему радуешься? Бога у тебя искажаютъ, гляди!

Иду—какъ пьяный, тоска мнѣ, куда идти—не знаю. Къ себѣ, на постоянный,—не хочется; шумъ тамъ и пьянство. Пришелъ куда-то на окраину города, стоятъ

домики маленькіе, желтыми окнами въ поле глядятъ; вѣтеръ снѣгомъ поигрываетъ, замечаетъ ихъ, посвистываетъ. Пить мнѣ хочется, напиться бы пьяному, только—безъ людей. Чужой я всѣмъ и передъ всѣми виноватъ.

— А что,—думаю,—пойду вдоль по полю, куда приду?

Вдругъ изъ воротъ женщина выскочила, въ одномъ платьѣ, едва шалью покрыта; взглянула въ лицо мнѣ, спрашиваетъ:

— Какъ зовутъ?

Понялъ, что гадаетъ она, говорю:

— Не скажу, потому—несчастливъ человекъ.

Она смѣется.

— На праздникахъ-то?

Мнѣ веселье не въ пору.

— А что,—спрашиваю,—есть здѣсь близко трактиръ какой-нибудь, посидѣлъ-бы я тамъ, а то—холодно!

Смотритъ она на меня пристально и говоритъ ласково такъ:

— Вонъ тамъ трактиръ, а хочешь — иди ко мнѣ, чаемъ напою!

Не подумалъ и, безъ воли, пошелъ за нею. Вотъ я въ комнатѣ; на стѣнѣ лампа горитъ, въ углу, подъ образами, толстая старуха сидитъ, жуетъ что-то, на столѣ — самоваръ. Уютно, тепло. Усадила меня эта женщина за столъ; молодая, румяная она, грудь высокая. Старуха изъ угла смотритъ на меня и сопитъ. Лицо у нея большое, дряблѣе и словно безъ глазъ. Неловко мнѣ—зачѣмъ пришелъ? Кто такіа?

Спрашиваю молодку:

— Чѣмъ занимаетесь?

— Кружева плетемъ.

Вѣрно; съ полки гроздьями коклюшки висятъ.

А она вдругъ задорно улыбнулась и говоритъ прямо въ глаза мнѣ:

— А еще—гуляю я!

Старуха засмѣялась жирновато.

— Экая ты, Танька, безстыдница!

Не скажи старуха этого, я бы не понялъ Татьяниныхъ словъ, а понялъ—сконфузился. Первый разъ въ жизни гулящую дѣвицу столь близко вижу, а, конечно, скверно думаю про нихъ.

Татьяна смѣется.

— Гляди-ко, Петровна, покраснѣлъ онъ!

А меня уже и зло беретъ: вотъ такъ попалъ! Прямо съ покаянія да и влѣзъ въ окаянное!

Говорю дѣвушкѣ:

— Развѣ этакимъ дѣломъ хвастаются?

Она дерзко отвѣчаетъ:

— Я вотъ—хвастаюсь!

Старуха опять сопитъ:

— Эхъ, ты, Татьяна, Татьяна!

А я—не знаю, что сказать и какъ уйти отъ нихъ, на умъ не идетъ! Сижу—молчу. Вѣтеръ въ окна постукиваетъ, самоваръ пищитъ, а Татьяна ужъ и дразнить меня:

— Ой, жарко мнѣ!

И кофту свою у ворота растягнула. Лицо у нея хорошее, и хотъ глаза дерзкіе—привлекаютъ они меня. Подала старуха вина на столъ, простого, бутылку да наливки.

— Вотъ, думаю, выпью я рюмку, денегъ дамъ и уйду!

Татьяна бойко спрашиваетъ:

— О чемъ тоскуешь?

Не успѣлъ я удержаться и отвѣтилъ:

— Жена померла.

Тогда, уже тихонько, спросила она:

— Давно ли?

— Пять недѣль только.

Застегнула дѣвица кофточку свою и вся какъ-то

подобралась. Очень это понравилось мнѣ; взглянулъ въ лицо ей молча, а про себя говорю: спасибо! Какъ ни тяжело было мнѣ, а вѣдь молодъ я, и уже привычка къ женщинѣ есть, — два года въ супружествѣ жилъ.

Старуха, задыхаясь, говоритъ:

— Жена умерла — ничего! Ты молодой, а отъ нашей сестры всѣ улицы пестры.

Тогда Татьяна строго приказала ей:

— Иди-ка ты, Петровна, ложись да и спи! Я сама провожу гостя и ворота запру. — А когда старуха ушла, спрашиваетъ меня серьезно и ласково:

— Родные есть у васъ?

— Никого нѣтъ.

— А товарищи?

— И товарищей нѣтъ.

— Что же вы хотите дѣлать?

— А не знаю.

Подумала, встала.

— Вотъ что, — говоритъ, — видно, что вы очень разстроены душой, и одному вамъ идти не совѣтую. Вы на первое слово ко мнѣ зашли, этакъ-то можно туда попасть, что не выдерешься: адѣсь, вѣдь, городъ! Ночуйте-ка у меня, вотъ — постель, ложитесь съ Богомъ! Коли даромъ неловко вамъ, заплатите Петровнѣ, сколько не жалъ. А коли я вамъ тяжела, скажите, не стѣснясь — я уйду...

Понравилась мнѣ и рѣчь ея, и глаза, и не сдержалъ я нѣкоей странной радости, усмѣхнулся, да и говорю:

— Эхъ, протопопъ!

Удивилась Татьяна:

— Какой протопопъ?

Совсѣмъ бѣда мнѣ — опять сконфузился.

— Это, — молъ, — поговорка у меня такая... То есть — не поговорка, а во снѣ иногда протопопа я вижу...

— Ну, — говоритъ, — прощайте!

— Нѣтъ ужъ,—молъ,—пожалуйста, не уходите вы, посидите, если вамъ не трудно, со мной!

Сѣла, улыбается.

— Очень рада; какой же трудъ?

Просить меня выпить наливки или чаю, спрашиваетъ, не хочу ли ѣсть. У меня послѣ ея серьезной ласки слезы на глазахъ, радо мое сердце, какъ ранняя птица весеннему солнцу.

— За прямое слово—простите,—говорю,—но хочется мнѣ знать: правду-ль вы сказали про себя, или такъ подразнить хотѣлось вамъ меня?

Нахмурила она брови, отвѣчаетъ:

— Вѣрно. Я—изъ такихъ. А что?

— Первый разъ въ жизни вижу такую дѣвицу, совѣстно мнѣ.

— Чего же вамъ совѣститься? Я вѣдь не голая сижу!

И тихонько ласково смѣется.

— Мнѣ,—молъ,—не за васъ совѣстно, за себя, за глупость мою!

Разказала ей безъ утайки мои мысли насчетъ гуляющихъ дѣвицъ.

Слушаетъ она внимательно, спокойно.

— Между нами,—говорить,—разныя есть, найдутся и хуже вашихъ словъ. Ужъ очень вы легко людямъ вѣрите!

Странно мнѣ помириться съ тѣмъ, что такая дѣвица—продажная. Снова спрашиваю ее:

— Что же вы это—по нуждѣ?

— Сначала,—говорить,—одинъ красавецъ обманулъ, я же на зло ему другого завела, да такъ и заигралась... А теперь, иногда, и изъ-за хлѣба приходится мужчину принять.

Говорить просто, и жалости къ себѣ не слышно въ ея словахъ.

— А въ церковь ходите?

Тутъ она вздрогнула, зардѣлась вся.

— Въ церковь,—говорить,—дорога никому не заказана.

Понимаю, что задѣлъ я ее, и скорѣй говорю:

— Вы не такъ меня поняли! Я евангеліе знаю и Марію Магдалину помню и грѣшницу, которой фарисеи искушали Христа. Я спросить хотѣлъ, не имѣете ли вы обиды на Бога за жизнь свою, нѣтъ ли сомнѣнія въ добротѣ Его?

Она наморщила бровки, подумала и удивленно спрашиваетъ:

— Не вижу я, при чемъ тутъ Богъ?

— Какъ-же,—моль,—Онъ нашъ пастыръ и отецъ, въ Его властной рукѣ судьба человѣческая!

А она говоритъ:

— Да вѣдь я людямъ зла не дѣлаю, въ чемъ же я виновата? А отъ того, что я себя не чисто держу—кому горе? Только мнѣ!

Чувствую,—говорить она что-то добротное, сердечное, а понять не могу.

— За свои грѣхи—я отвѣтчица!—говорить она, наклонясь ко мнѣ, и вся улыбается.—Да не кажется мнѣ великъ грѣхъ-то мой... Можетъ, это и нехорошо говорю я, а правду! Въ церковь я люблю ходить; она у насъ недавно построена, свѣтлая такая, очень милая! Пѣвчіе замѣчательно поютъ. Иногда такъ тронуть сердце, что даже заплачешь. Въ церкви отдыхаешь душой отъ всякой суеты...

Помолчала и добавила:

— Конечно, и другой интересъ есть—мужчины видятъ!

Удивляетъ она до того, что у меня даже потъ на вискахъ выступилъ, не понимаю я, какъ это у нея все плотно и дружно складывается.

— Вы,—спрашиваетъ она,—очень любили жену?

— Очень,—говорю.—И все больше нравится мнѣ ея хорошая простота.

И началъ я рассказывать ей о своемъ душевномъ дѣлѣ — про обиду мою на Бога, за то, что допустилъ Онъ меня до грѣха и несправедливо наказалъ потомъ смертью Ольги. То блѣднѣетъ она и хмурится, то вдругъ загорятся щеки ея румянцемъ и глаза огнемъ, возбуждаетъ это меня.

Первый разъ въ жизни обернулъ я мысль свою о весь кругъ жизни человѣческой, какъ видѣлъ ее, — встала она предо мной нескладная и разрушенная, постыдная, грязью забрызганная, въ злобѣ и немощи своей, въ крикахъ, столахъ и жалобахъ.

— Гдѣ здѣсь божеское?—говорю.—Лжди другъ на другъ сидятъ, другъ у друга кровь сосутъ, всюду звѣрская свалка за кусокъ—гдѣ тутъ божеское? Гдѣ доброе и любовь, сила и красота? Пусть молодъ я, но я не слѣпъ родился—гдѣ Христосъ, дитя Божіе? кто попрастъ цвѣты, посѣянные чистымъ сердцемъ его, кѣмъ украдена мудрость его любви?

И рассказалъ ей о протопопѣ, какъ онъ меня чернымъ богомъ пугалъ, какъ въ помощь богу своему хотѣлъ полицію кричать. Засмѣялась Татьяна, да и мнѣ смѣшонъ сталъ протопопъ, подобный сверчку зеленому; трещить сверчокъ, да прыгаетъ, будто дѣло двигаетъ, а, кажись, и самъ не крѣпко вѣрить въ правду дѣла своего!

А посмѣявшись, затуманилась эта хорошая дѣвица.

— Всего я не поняла, — говорить, — а иное даже страшно слушать: о Богѣ дерзко вы думаете!

Я говорю:

— Не видя Бога—жить нельзя!

— Да,—говорить она,—да вѣдь вы съ нимъ точно на кулачки драться собрались, развѣ это можно? А что жизнь тяжела людямъ—вѣрно, я тоже иногда думаю—почему? Знаете, что я скажу вамъ? Здѣсь недалеко

монастырь женскій, и въ немъ отшельница, очень мудрая старушка! Хорошо она о Богѣ говорить—сходили бы вы къ ней!

— Что-жъ, я пойду! Я теперь вездѣ пойду, по всѣмъ праведникамъ, нужно мнѣ успокоиться!

— А я теперь спать, да и вы ложитесь,—говорить она, протянувъ руку мнѣ.

Схватилъ я ее, трясу и отъ души высказываю:

— Спасибо вамъ! Сколько вы мнѣ дали, не знаю я, и какъ это дорого—не цѣню въ сей часъ, но чувствую—хорошъ вы человекъ, спасибо вамъ!

— Что вы,—говорить,—Богъ съ вами!

Смутилась, покраснѣла.

— Я такъ рада, если легче вамъ!

И вижу я, что, дѣйствительно, рада она. Что я ей? А она—рада тому, что человекъ успокоила немного.

Погасилъ я свѣтъ, легъ и думаю:

— Вотъ, на праздникъ нечаянно попалъ!

Потому что хоть и не легко на сердцѣ, а, все-таки, есть въ немъ что-то новое, хорошее. Вижу Татьянины глаза: то задорные, то серьезные; человѣческаго въ нихъ больше, чѣмъ женскаго; думаю о ней съ чистой радостью, а вѣдь такъ подумать о человекѣ—развѣ не праздникъ?

Рѣшилъ, что завтра подарю ей кольцо съ голубымъ камнемъ. А потомъ—забылъ, не купилъ... Тринадцать лѣтъ прошло съ той поры, а вотъ вспомню эту дѣвушку, и всегда жаль, что не купилъ ей кольца.

Утромъ стучить она въ дверь.

— Вставать пора!

Встрѣтились съ нею, какъ старые друзья, сѣли пить чай, а она все уговариваетъ, чтобы я къ отшельницѣ сходилъ, слово взяла съ меня. Душевно распрощались, проводила она меня за ворота.

Въ городѣ я, какъ въ степи—одинъ. До монастыря

тридцать три версты было, я сейчас же махнулъ туда, а на другой день уже за службой стоялъ.

Вокругъ монахини черной толпой,—словно гора разсыпалась и обломками во храмъ легла. Монастырь богатый, сестеръ много, и все грузныя такія; лица толстыя, мягкія, бѣлыя, какъ изъ тѣста слѣплены. Попъ служить истово, а сокращенно, и тоже хорошо кормленъ, крупный, басистый. Клирошанки на подборъ — красавицы, поютъ дивно. Свѣчи плачутъ бѣлыми слезами, дрожатъ ихъ огни, жалѣючи людей.

— Духъ мой ко храму, ко храму святому Твоему...— покорно возглашаютъ молодые голоса.

А я по привычкѣ повторяю про себя слова богослуженія, оглядываюсь, хочу понять, которая здѣсь отшельница, и нѣтъ во мнѣ благоговѣнія. Понялъ это— смутился... Вѣдь не играть пришелъ, а въ душѣ—пусто. И никакъ не могу собрать себя, все во мнѣ разрознено, мысли одна черезъ другую скачутъ. Вижу нѣсколько изможденныхъ лицъ — древнія полумертвыя старухи, смотрятъ на иконы, шевелятъ губами, а шопота не слышно.

Отстоялъ службу и хожу вокругъ церкви. День ясный, по снѣгу солнце искрами рассыпалось, на деревьяхъ синицы тенькаютъ, иней съ вѣтокъ отряхал. Подошелъ къ оградѣ и гляжу въ глубокія дали земныя; на горѣ стоитъ монастырь, и предъ нимъ размахнулась, раскинулась мать-земля, богато одѣтая въ голубое серебро снѣговъ. Деревенъкій пригорюнились; лѣсъ, рѣкою прорѣзанный; дороги лежатъ, какъ ленты потерянные, и надо всѣмъ—солнце сѣетъ зимніе косые лучи. Тишина, покой, красота...

А черезъ нѣкоторое время былъ я въ келейкѣ матери Февроніи. Вижу: маленькая старушка, глаза безъ бровей, все время слезятся, на лицѣ во всѣхъ его морщинахъ добрая улыбка безсмѣнно дрожитъ. Рѣчь она ведетъ тихо, почти шопотомъ и пѣвуче.

— Не ѣшь,—говорить,—молодецъ, яблочко до Спасова дня, погоди, когда Господь миленькій его выроститъ, когда зернышки почернѣютъ въ немъ.

Думаю: къ чему это она?

— Чти,—говорить,—отца и мать твою...

— Нѣтъ,—моль,—ихъ у меня!

— Молись за упокой ихъ душевекъ...

— А, можетъ, они живы?

Смотритъ она на меня и, отирая слезы съ глазъ, жалостно улыбается. Потомъ опять качаетъ головою и поетъ:

— Господь-отъ нашъ добренькій, до всѣхъ справедливъ, всѣхъ одѣляетъ щедротой своей!

— А я,—моль,—усомнился въ этомъ...

Смотрю—испугалась она, руки опустила и молчитъ, часто мигая глазами. Собралась съ духомъ — снова тихонько запѣла:

— Помни, что молитва крылата и быстрѣе всѣхъ птицъ, и всегда она достигнетъ до престола Господня! На конѣ въ царство небесное никто не въѣзжалъ...

Понимаю, что Богъ для нея бариномъ стоитъ,—добренькій да миленькій, а закона у старушки нѣтъ для Него. И все она сбивается на притчи, а я не понимаю ихъ, и досадно мнѣ это.

Поклонился ей и ушелъ.

— Вотъ, думаю, разобрали люди Бога по частямъ. каждый по нуждѣ своей,—у одного—добренькій, у другого—страшный, попы Его въ работники наняли себѣ и кадильнымъ дымомъ платятъ Ему за то, что Онъ сытно кормитъ ихъ. Только Ларіонъ необъятнаго Бога имѣлъ.

Монашенки снѣгъ на саняхъ возятъ, проѣхали мимо, хихикаютъ, а мнѣ тяжело и не знаю, что дѣлать. Вышелъ за ворота — тишина. Снѣга блестятъ, инеемъ одѣтыя деревья не шелохнутся, все задумалось. И небо и земля смотрятъ ласково на тихій монастырь. Мнѣ же

боязно, что вотъ я нарушу эту тишину нѣкоторымъ крикомъ.

Къ вечернѣ заблагоувѣстили... Славный колоколъ! Мягко и внятно зоветъ, а мнѣ въ церковь идти не хочется. Въ головѣ будто мелкіе гвозди насыпаны.

И какъ-то вдругъ рѣшилъ я: пойду жить въ монастырь, гдѣ уставъ построже, проживу-ка одинъ, въ кельѣ, подумаю, книгъ почитаю... Не соберу ли въ одиночествѣ разрушенную душу мою въ крѣпкую силу?

Черезъ недѣлю въ Савватѣевской пустыни предъ игуменомъ стою,—нравится онъ мнѣ. Человѣкъ благообразный, сѣдоватый и лысый, краснощекъ и крѣпокъ, но лицо серьезное и глаза общающіе.

— Почему, — спрашиваетъ онъ,—сынъ мой, міра бѣжишь?

Объясняю, что разстроенъ душой по случаю смерти жены, а больше ничего не могу сказать, что-то мнѣ мѣшаетъ.

Онъ, бороду пощипывая, зорко смотритъ на меня и снова говоритъ:

— Вкладъ сдѣлать можешь?

— Есть,—молъ,—у меня около ста рублей.

— Давай! Иди въ страннопріимную, завтра послѣ обѣдни я еще потолкую съ тобой.

Странниками отецъ Нифонтъ завѣдывалъ, онъ тоже понравился мнѣ.

— У насъ,—говоритъ,—обитель простая, воистину братская, всѣ равно на Бога работаютъ, не какъ въ другихъ мѣстахъ! Есть, положимъ, баринокъ одинъ, да онъ ни къ чему не касается и не мѣшаетъ никому. Здѣсь ты отдыхъ и покой душѣ найдешь, здѣсь обращешь!

За день я уже осмотрѣлъ обитель. Раньше, видимо, она въ лѣсу стояла, да вырубилась, кое-гдѣ предъ воротами и теперь пни торчатъ, а съ боковъ ограды лѣсъ заходитъ, двумя черными крыльями обнимая

голубоглавую церковь и бѣлые корпуса строеній. Напротивъ Синь-озеро во льду лежитъ полумѣсяцемъ, — девять верстъ изъ конца въ конецъ да четыре ширина, — и Заозерье видать: три церкви Кудеярова, золотую главу Николы въ Толоконцевѣ, а по эту сторону, у монастыря, Кудеяровскіе Выселки прикурнули, двадцать три двора. Кругомъ—могучій лѣсъ.

Все—хорошо. Умиленіе тихо пало на душу. Вотъ гдѣ я побесѣдую съ Господомъ, разверну предъ Нимъ сокровенное души моей и со смиренной настойчивостью попрошу указать мнѣ пути къ знанію законовъ Его!

Вечеромъ всенощную стоялъ; служатъ строго по чину, истово, пѣніе, однако, несогласное, хорошихъ голосовъ нѣтъ.

Молюсь я:

— Господи, прости, если дерзко мыслилъ о Тебѣ, не отъ невѣрія это, но отъ любви и жажды, какъ Ты знаешь, Всевѣдущій!

Вдругъ впереди стоявшій монахъ оглянулся на меня и улыбается. Видно, громко прошепталъ я покаянныя слова мои! Улыбается онъ—и сколь прекрасное лицо вижу я!.. Даже опустилъ голову и зажмурился—ни до той поры, ни послѣ такого красавца не видалъ. Подвинулся впередъ, всталъ рядомъ съ нимъ и заглядываю въ его дивное лицо—бѣлое, словно кипѣнь, въ черной бородѣ съ рѣдкой просѣдью. Глаза у него большіе, влажно-матовые, гордые, строенъ онъ и высокъ. Носъ немного загнуть, словно у кобчика, и во всей фигурѣ видно нѣчто благородное. Такъ онъ поразилъ меня, что даже во снѣ той ночью видѣлъ я его.

Рано утромъ разбудилъ меня Нифонтъ.

— Назначено,—говорить,—тебѣ послушаніе отцомъ игуменомъ; иди въ пекарню, вотъ сей смиренный монашекъ отведетъ тебя, онъ же начальство твое! На-ко тебѣ одежду казенную!

Одѣваюсь я въ монастырское, нарядъ оказался впору,

но все ношеное и грязное, а у сапога подметка отстала.

Гляжу на своего начальника: широкоплечъ, неуклюжъ, лобъ и щеки въ бородавкахъ и угряхъ, изъ нихъ кустики сѣрыхъ волосъ растутъ, и все лицо какъ бы овечьей шерстью закидано. Былъ бы онъ смѣшноватъ—но лобъ его огромный глубокими морщинами покрытъ, губы сурово сжаты, маленькіе глаза угрюмы.

— А ты живѣе!—приказываетъ онъ.

Голосъ грубый, но надорванный, точно колоколъ съ трещиной.

Нифонтъ, улыбаясь, говорить:

— Зовутъ его—братъ Миха! Съ Богомъ!

Вышли на дворъ, темно; Миха запнулся за что-то—по матерному ругается. Потомъ спрашиваетъ:

— Тѣсто мѣсить умѣешь?

— Видѣлъ,—говорю,—какъ бабы мѣсятъ.

Ворчить:

— Бабы! Вамъ все бабы, вездѣ бабы! Черезъ нихъ міръ проклятъ, надо помнить!

— Богородица,—молъ,—женщина была.

— Ну?

— И много есть святыхъ угодницъ.

— Поговори! Къ чорту въ адъ и угодишь!

Однако, думаю, это серьезный человѣкъ.

Пришли въ пекарню, зажегъ онъ огонь. Стоять два большихъ чана, мѣшками покрыты, и длинный ларь; лежить куле ржаной муки, пшеничная въ мѣшкахъ. Сорно и грязно, всюду паутина и сѣрая пыль осѣла. Сорвалъ Миха съ одного чана мѣшки, бросилъ на полъ, командуешь:

— Учись! Вотъ—подбойка! Пузыри—видишь? Значить—готова, взопла!

Взялъ куль муки, какъ трехлѣтняго ребенка, взвалилъ на край чана, вспоролъ ножомъ, кричитъ, какъ на пожаръ:

— Лей воды четыре ведра! Мѣси!
И уже весь бѣлый, какъ дерево въ инеѣ. Сбросилъ
я ряску, засучилъ рукава.

Онъ говорить:

— Это—никуда! Снимай штаны... Ногами!

— Я,—моль,—въ банѣ давно не былъ..

— А тебя объ этомъ спрашиваютъ?

— Какъ же грязными-то ногами?

Какъ онъ заоретъ:

— Ты мнѣ подѣ началъ дань, али я тебѣ?

Ротъ у него большой, зубы крупные, руки длинныя,
и онъ ими неласково махаетъ.

— Ну, думаю, песъ съ тобой!

Вытеръ ноги мокрой тряпкой, залѣвъ въ чанъ, топ-
чусь, а начальникъ мой катается по пекарнѣ и рычитъ:

— Я те согну, матушкинъ сынокъ!.. Я те научу
смирennemудрію!

Вымѣсилъ я одинъ чанъ—другой готовъ; этотъ за-
мѣсилъ—пшеничное поспѣло; его уже руками надо
было мѣсить. Крѣпокъ былъ я парень, а къ работѣ не
привыкъ: мѣла мнѣ налѣзла и въ носъ, и въ ротъ, и
въ уши, и въ глаза, оглохъ, ничего не вижу, потомъ
обливаюсь, а онъ въ тѣсто капаетъ.

— Тряпки,—говорю,—нѣтъ ли, потъ вытирать?

Сердится Миха:

— Бархатная полотенца заведемъ для тебя. Двѣсти
тридцать два года обитель стояла—все твоихъ поряд-
ковъ ждала!

Мнѣ смѣшно.

— Да вѣдь я,—моль,—не для себя! Люди хлѣбъ-то
будутъ ѣсть!

Подошелъ онъ ко мнѣ, ошетинился, какъ ежъ, и
дрожить весь и мычить:

— Мѣшкомъ отирайся, коли брезгливъ! А о дерзо-
сти твоей я игумену доложу!

Удивляетъ меня этотъ человѣкъ до того, что я и

обижаться не могу. Работаетъ онъ, не покладая рукъ, мѣшки-пятерики, какъ подушки, въ рукахъ у него, весь мукой обсыпался, урчитъ, ругается и все подгоняетъ меня:

— Живѣй возись!

Стараюсь такъ, что голова кружится.

Трудно дались мнѣ первые дни послушанія. Пекарня подъ трапезной была въ подвалѣ, потолокъ въ ней сводчатый, низкій, окно—одно только и наглухо закрыто; воздуха мало, туманомъ густымъ мучная пыль стоитъ, мечется въ ней Миха, какъ медвѣдь на цѣпи, мутно сверкаетъ огонь въ печи—кошмаръ, а не работа! И все время только двое насъ, рѣдко кого накажутъ послушаніемъ, велятъ намъ помогать. За службы въ церковь некогда ходить. Миха каждый день поучаетъ меня—словно крѣпкой веревкой туго вяжетъ; горитъ онъ весь, дымится злобой противъ міра, а я дышу его рѣчами и уже весь изнутри густо сажей покрытъ.

— Люди для тебя кончились,—говорить,—они тамъ въ міру грѣхъ плодятъ, а ты отъ міра отошелъ. А если тѣломъ откачнулся его—долженъ и мыслью уйти, забыть о немъ. Станешь о людяхъ думать, не минуя вспомнишь женщину, ею же міръ повергнуть во тьму грѣха и навѣки связанъ!

Я, бывало, едва ротъ открою, а онъ уже кричитъ:

— Молчи! Слушай опытнаго внимательно, старшаго тебя съ уваженіемъ! Знаю я: ты все о Богородицѣ бормочешь! Но потому и принялъ Христосъ крестную смерть, что женщиной былъ рожденъ, а не свято и чисто съ небесъ сошелъ, да и во дни жизни своей мирволилъ имъ, паскудамъ этимъ, бабенкамъ. Ему бы самарянку-то въ колодезь кинуть, а не разговаривать съ ней, а распутницу эту камнемъ въ лобъ,—вотъ, глядишь, и спасенъ міръ!

— Вѣдь это же не церковная мысль!

— И еще говорю—молчи! Что ты знаешь церковное.

не-церковное? Церковь вся въ рукахъ бѣлаго духовенства, въ плѣну блудниковъ, щеголей; они, вонъ, сами въ шелковыхъ рясахъ ходятъ, на манеръ бабьихъ юбокъ! Еретики они поголовно, имъ кадрили плясать, а не уставы писать! Развѣ женатый мужикъ можетъ чисто мыслить о Господнихъ дѣлахъ? Не въ силѣ онъ—ибо продолжаетъ велий грѣхъ прелюбодѣянiя, за него же люди изгнаны Господомъ изъ садовъ райскихъ! Тѣмъ грѣхомъ всѣ мы презрѣнно брошены во скорбь вѣчную и осуждены на скрежетъ зубовъ и на судороги дьявольскiя, и ослѣплены, да не видимъ лица Божiя вовѣки и вѣкъ вѣка! Священство,—кое само сѣтъ грѣха плететь, рождая дѣтей отъ женщины,—укрѣпляетъ этимъ мiръ на стезѣхъ гибели и, чтобы оправдать отступничество свое отъ закона, изолгало всѣ законы!

Все тѣснѣе сдвигаетъ человѣкъ этотъ вокругъ меня камни стѣнъ, опускаетъ онъ сводъ зданiя на голову мою, тѣсно мнѣ и тяжело въ пыли его словъ.

— Какъ же,—молъ,—Господь сказалъ: плодитесь, множитесь?

Даже посинѣлъ мой наставникъ, ногами топаетъ, реветъ:

— Сказалъ, сказалъ!.. А ты знаешь, какъ онъ сказалъ, ты, дуракъ? Сказалъ онъ: плодитесь, множитесь и населяйте землю, предаю васъ во власть дьявола и будь вы прокляты нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ—вотъ, что онъ сказалъ! А блудники проклетiе Божiе обратили въ законъ Его! Понялъ мерзость и ложь?

Обрушится онъ на меня, подобно горѣ, и задавить; потемнѣетъ все вокругъ меня. Вѣрить не могу я, но и опровергнуть изувѣрство его не въ силахъ—растерялся я подъ напоромъ страсти его. Приведу ему текстъ изъ писанiя, а онъ мнѣ—три, и обезоружить мысль мою. Писанiе — пѣстрый лугъ цвѣтовъ; хочешь красныхъ—есть красные, бѣлыхъ хочешь—и они цвѣтутъ. Убито

молчу предъ нимъ, а онъ торжествуетъ, горять его глаза, какъ у волка. И все время вертимся мы въ работѣ; я мѣшу, онъ хлѣбы раскатываетъ, въ печь сажаетъ; испекутся—вынимать ихъ начнетъ, а я на полки кладу, руки себѣ обжигая. Тѣстомъ я оклеенъ, мукой посыпанъ, слѣпъ и глухъ, плохо понимаю отъ усталости.

Приходятъ къ намъ разные монахи, говорятъ о чемъ-то намеками, смѣются; Миха злобно лаетъ на всѣхъ, гонитъ вонъ изъ пекарни, а я—какъ варенный: и угрюмъ сталъ, и тяжело мнѣ съ Михаиломъ, не люблю я его, боюсь.

Нѣсколько разъ онъ спрашивалъ меня:

— Голыхъ бабъ видишь во снѣ?

— Нѣтъ,—молъ,—никогда.

— И врешь ты! Зачѣмъ врешь?

Сердится, зубы оскалилъ, кулакомъ мнѣ грозитъ, кричить:

— Лжець и пакостникъ!

Я только удивляюсь ему. Какія тамъ бабы голныя? Человѣкъ съ трехъ утра до десяти часовъ вечера работаетъ, ляжешь спать, такъ кости ноютъ, подобно нищимъ зимой, а онъ—бабы!

Однажды пошелъ я въ кладовую за дрожжами,—тутъ же въ подвалѣ противъ пекарни темная кладовая была,—вижу, дверь не заперта, и фонарь тамъ горитъ. Открылъ дверь, а Миха ползаетъ на животѣ по полу и рычить:

— Отжени, молю Тя, Господи! Отжени... Освободи.

Я, конечно, тотчасъ же ушелъ, но не догадался, въ чемъ дѣло.

Ненавистно говорилъ онъ о женщинахъ, и всегда похабно, называя все женское грубо, по-мужичьи, плевался при этомъ, а пальцы скрючивалъ и водилъ ими по воздуху, какъ бы мысленно рвалъ и щипалъ женское тѣло. Нестерпимо мнѣ слышать это, задыхаюсь.

Вспомню жену свою и очастливныя слезы наши въ первую ночь супружества, смущенное и тихое удивленіе другъ передъ другомъ, великую радость...

— Развѣ это не Твой сладкій даръ человѣку, Господи?

Вспомню доброе сердце Татьяны, простоту ея, обидно мнѣ за женщину до слезъ. Думаю:

— Когда игуменъ позоветъ меня для разговора, все ему скажу!

А онъ не зоветъ. Дни идутъ, какъ слѣпые лѣсомъ по тѣсной тропѣ, натываясь другъ на друга, а игуменъ не зоветъ меня. Темно мнѣ.

Въ то время—въ двадцать два года отъ роду—первые сѣдые волосы явились у меня.

Хочется съ прекраснымъ монахомъ поговорить, но вижу я его рѣдко и мелькомъ—проплыветъ гдѣ-нибудь гордое лицо его, и повлечется вслѣдъ за нимъ тоска моя невидимой тѣнью.

Спрашивалъ я Михайлу про него.

— Ага-а!..—кричитъ Миха.—Этотъ? Да, этотъ праведной жизни скотъ, какъ же! За игру въ карты изъ военныхъ выгнанъ, за скандалы съ бабами изъ духовной академіи! Ученый, да-а! Изъ офицеровъ въ академию попалъ! Въ Чудовомъ монастырѣ всѣхъ монаховъ обыгралъ, сюда явился—семь съ половиной тысячъ вкладъ сдѣлалъ, землю пожертвовалъ, и этимъ великъ почетъ себѣ купилъ, да! Здѣсь тоже въ карты играетъ—игуменъ, келарь, казначей, да онъ съ ними. Дѣвка къ нему ѣздитъ... О, сволочи! Келья-то у него отдѣльная, ну, онъ тамъ и живетъ, какъ ему хочется! О, великая пакость!

Не вѣрилъ я этому, не могъ.

Какъ-то разъ прошу келаря, отца Исидора, допустить меня до игумена для бесѣды.

— О чемъ бесѣда?

— О вѣрѣ,—молъ.

— Что такое—о вѣрѣ?

— Разные вопросы имѣю.

Смотрить на меня сверху внизъ; быть онъ на голову выше меня, худой, костлявый, глаза умные, насмѣшливые, носъ кривой и длинная острая борода.

— Прямо говори—плоть одолеваетъ?

Далась имъ эта плоть!

Не охота мнѣ, но, все-таки, сказать я ему кратко нѣкоторыя сомнѣнія мои. Накмурился, улыбается.

— Противъ этого, сынъ мой, молитва—средство, молитвою да излѣчишь недугъ души твоей! Но, во вниманіе къ трудолюбію твоему, а также по необычности просьбы твоей, я игумену доложу. Ожидай!

Слово „необычность“ удивило меня, почувствовалъ я въ немъ пустоту, враждебную мнѣ.

И вотъ зовутъ меня къ отцу игумену, смотреть онъ зорко, какъ я поклоны бью, и властно говорить:

— Передалъ мнѣ отецъ Исидоръ желаніе твое состояться о вѣрѣ со мной...

— Я,—моль,—не спорить хочу...

— А не перебивай рѣчь старшаго! Всякое разсужденіе двоихъ объ одномъ предметѣ есть уже споръ, и всякій вопросъ—соблазнъ мысли,—если, конечно, предметъ не касается ежедневной жизни братской, дѣла текущаго! Здѣсь у насъ рабочее содружество, трудимся мы для поддержанія плоти, дабы временно пребывающая въ ней душа могла воспарять ко Господу, молясь и предстательствуя милости Его о грѣхахъ міра. У насъ суть не училище мудрствованія, а работа; и не мудрость нужна намъ, но простота души. Споры твои съ братомъ Михайлой извѣстны мнѣ, одобрить ихъ не могу. Дерзость мысли твоей умѣрай, дабы не впасть во искушеніе, ибо разнузданная и не связанная вѣрою мысль есть острѣйшее оружіе дьявола. Разумъ—отъ плоти, а сія—отъ дьявола, сила же души—частицы духа Божьяго; откровеніе даруется праведному черезъ

созерцаніе. Братъ Михайла, начальникъ твой, суровый монахъ, но истинный подвижникъ и братъ, всѣми здѣсь любимый за труды свои. Налагается мною на тебя эпитимія — по окончаніи дневного труда твоего будешь ты въ лѣвомъ придѣлѣ предъ распятіемъ акаенствъ Іисусу читать трижды въ ночь, и десять ночей. Засимъ, назначаются тебѣ также бесѣды со схимонахомъ Мардаріемъ, — время будетъ указано и число оныхъ. Ты вѣдь въ экономіи приказчикомъ былъ? Иди съ миромъ, я о тебѣ подумамъ! Родныхъ, кажись, не имѣешь въ міру? Ступай, я помолюсь о тебѣ! Надѣйся на лучшее!

Воротился я къ себѣ въ пекарню, сталъ эту рѣчь взвѣшивать въ умѣ — легко вѣсить!

Можетъ, разумъ и заблуждается въ исканіяхъ своихъ, но бараномъ жить едва ли достойно и праведно для человѣка. Созерцаніе же молитвенное я въ ту пору понималъ, какъ углубленіе въ нѣдра духа моего, гдѣ всѣ корни заложены и откуда мысль стремится расти кверху, подобно дереву плодovому. Враждебнаго себѣ и непонятнаго въ душѣ моей я ничего не находилъ, а чувствовалъ непонятное въ Богѣ и враждебное въ мірѣ, значить, внѣ себя. А что братія Михайлу любятъ — это прямая неправда была; я хотя въ сторонѣ отъ всѣхъ стоялъ, въ разговоры не вмѣшивался, но, — ко всему приглядываясь, — видѣлъ, что и рясофорные, и послушники презираютъ Михайлу, боятся его и брезгаютъ имъ.

Вижу также, что обитель хозяйственно поставлена: лѣсомъ торгуетъ, зѣмли въ аренду мужикамъ сдаетъ, рыбную ловлю на озерѣ; мельницу имѣетъ, огороды, большой плодовый садъ; яблоки, ягоды, капусту продаетъ. На конюшняхъ восемнадцать лошадей, братіи болѣе полуста, и всѣ народъ крѣпкій, рабочій, стариковъ не много, — для парада, для богомольцевъ едва хватаетъ. Монахи и вино пьютъ, и съ женщинами усердно путаются; кои помоложе, тѣ на Выселки ночами бѣгаютъ, къ старшимъ женщины ходятъ въ кельи,

якобы помы мыть; ну, конечно, богомолками тоже пользуются. Но все это дѣло не мое, и осуждать я не могу, грѣха въ этомъ не вижу, но ложь противна. Послушниковъ много, послушанія тяжелыя, и не держится народъ—бѣжить. При мнѣ, за два года жизни въ обители, одиннадцать человѣкъ сбѣжало; съ мѣсяць-два прожить и—давай Богъ ноги! Трудно!

Конечно, и для богомольцевъ приманки имѣлись: вериги схимонаха Іосафа, уже усопшаго, отъ ломоты въ колѣняхъ помогали; скуфейка его, будучи на голову возложена, отъ боли головной исцѣляла; въ лѣвую ключъ былъ очень студеный,—его вода, если облитъ ею, противъ всѣхъ болѣзней дѣйствовала. Образъ Успенія Божьей Матери ради вѣрующихъ чудеса творилъ; схимонахъ Мардарій прорицалъ будущее и утѣшалъ горе людское. Все было, какъ слѣдуетъ, и весной, въ маѣ, народъ валомъ къ намъ валилъ.

Послѣ разговора съ игуменомъ и мнѣ захотѣлось въ другой монастырь идти, гдѣ бы побѣднѣе, попроще и не такъ много работы; гдѣ монахи ближе къ дѣлу своему,—познанію грѣховъ міра,—стоятъ, но захлестнули меня разныя событія.

Сошелся я вдругъ съ однимъ послушникомъ, Гришей,—въ конторѣ монастырской занимался онъ. Замѣчалъ я его давно: ходить между братіей всегда поспѣшно и безшумно юноша въ дымчатыхъ очкахъ, незамѣтное лицо, сутуловатый; ходить наклоня голову, какъ бы не желая видѣть ничего иного, кромѣ пути своего.

На другой день послѣ разговора моего съ игуменомъ, явился этотъ Гриша въ пекарню,—Михайла на докладъ къ отцу казначею пошелъ,—явился, тихо поздоровался, спрашиваетъ:

- Были, братецъ, у игумена?
- Былъ.
- Бесѣдовали?

— Нѣтъ.

— Прогналъ?

— За что?

Поправилъ онъ очки, смутился, говорить:

— Простите, Христа ради!

— А васъ развѣ прогонялъ?

Киваетъ головой утвердительно.

Присѣлъ на ларь, согнулся весь, сухо покашливаетъ, стучить пятками по стѣнкѣ ларя, а я ему рассказываю рѣчи игумена. И вдругъ онъ вскочилъ на ноги, выпрямился весь, какъ пружина, и заговорилъ звонко, горячо:

— Почему же называютъ это мѣсто—мѣстомъ спасенія души, если и здѣсь все на деньгахъ построено, для денегъ живемъ, какъ и въ міру? Я сюда отъ торговли бѣжалъ, отъ грѣха торговли, а она здѣсь противъ меня,—куда бѣгу теперь?

Дрожитъ весь и спѣшно рассказываетъ про себя: сынъ купца, булочника, коммерческое училище кончилъ и былъ уже приставленъ отцомъ къ торговлѣ.

— Пустяками какими-нибудь,—говорить,—я бы сталъ торговать, а хлѣбомъ—стыдно и неловко! Хлѣбъ есть необходимое всѣмъ, нельзя забирать его въ однѣ руки, чтобъ выжимать барышъ изъ нужды людской! Отецъ сломилъ бы меня, да его самого жадность сломила. Была у меня сестра, гимназистка, веселая, бойкая, со студентами знакомилась, книжки читала, и вдругъ отецъ говорить ей: „брось, учиться, Лизавета, я тебѣ жениха нашелъ“. Плачетъ она, бьется, кричитъ: „Не хочу!“ а онъ ее—за косу, и довелъ до того, что покори-лась сестренка ему. Женихъ—сынъ богатѣйшаго чайнаго торговца; косой, огромный парень, грубіянь, и все кичится богатствомъ своимъ. Лиза противъ его, какъ мышь противъ собаки; противенъ онъ ей! А отецъ говорить: „дура, у него торговля во многихъ городахъ по Волгѣ!“ Ну, и обвинчали ее, а во время

параднаго обѣда вышла она въ свою комнату и выстрѣлила изъ пистолета въ грудь себѣ. Я еще живой засталъ ее, говоритъ мнѣ: „Прощай, Гриша, очень хочется жить, а нельзя—страшно, не могу, не могу!“

Помню, говорилъ онъ быстро-быстро, какъ бы убѣгая отъ прошлаго, а я слушаю и гляжу въ печь. Чело ея предо мной—словно нѣкое древнее и слѣпое лицо, черная пасть полна алыхъ языковъ ликующаго пламени, жуеъ она, дрова свистять, шипать. Вижу въ огнѣ Гришину сестру и озлобленно думаю: чего ради насилуютъ и губятъ люди другъ друга?

И сыплются, какъ осенніе сухіе листья, частыя Гришины слова:

—... Отецъ обезумѣлъ, топаеъ ногами, кричить: „опозорила родителя, погубила душу!“ И только послѣ похоронъ, какъ увидалъ, что вся Казань пришла провожать Лизу, и вѣнками гробъ осыпали, опаматовался онъ.—„Если, говоритъ, весь народъ за нее всталъ, значитъ, подлецъ я передъ дочерью!“

Плачетъ Гриша, вытираеъ свои очки, а руки у него трясутся.

— А у меня еще до этой бѣды мечта была уйти въ монастырь, тутъ я говорю отцу: отпустите меня!—Онъ и ругался, и билъ меня, но я твердо сказалъ: не буду торговать, отпустите! Будучи напуганъ Лизой, далъ онъ мнѣ свободу и—вотъ, за четыре года въ третьей обители живу, а вездѣ торговля, нѣтъ душѣ моей мѣста! Землею и словомъ Божиимъ торгуютъ, медомъ и чудесами... Не могу видѣть этого!

Разбудила его исторія душу мою, мало думалъ я, живя въ монастырѣ, утомилъ меня трудъ, задремали мятежныя мысли—и вдругъ все снова вспыхнуло.

Спрашиваю Гришу:

— Гдѣ же нашъ Господь? Нѣтъ вокругъ насъ ничего, кромѣ своевольной и безумной глупости человѣ-

ческой, кромѣ мелкаго плутовства, великія несчастія порождающаго,—гдѣ же Богъ?

Но тутъ явился Михайла и разогналъ насъ.

Съ того дня началъ Гриша часто бѣгать ко мнѣ, я ему свои мысли говорю, а онъ ужасается и совѣтуетъ смиреніе. Говорю я:

— Зачѣмъ столько горя людямъ?

— За грѣхи,—отвѣчаетъ.—И все у него отъ руки Божіей—голодь, пожары, несчастныя смерти, гибельные разливы рѣкъ—все!

— Развѣ,—молъ,—Богъ есть сѣятель несчастій на землѣ?

— Вспомни Іова, безумный!—шепчетъ онъ мнѣ.

— Іовъ,—говорю,—меня не касается! Я на его мѣстѣ сказалъ бы Господу: не пугай, но отвѣть ясно—гдѣ пути къ Тебѣ? Ибо азъ есмь сынъ силы Твоея и созданъ Тобою по подобію Твоему,—не унижай себя, отталкивая дитя Твое!

Плачетъ, бывало, Гришуха отъ глупыхъ дерзостей моихъ, обнимаетъ меня.

— Милый братъ мой,—шепчетъ,—боюсь я за тебя до ужаса! Рѣчи и сужденія твои отъ дьявола!

— Въ дьявола не вѣрую—коли Богъ всесиленъ...

Онъ еще больше взволнуется; чистый былъ и нѣжный человѣкъ, полюбилъ я его.

Я тогда эпитимію отбывалъ. Кончу работать—иду въ церковь. Братъ Никодимъ открываетъ двери мнѣ и запрещъ меня, наполнивъ тишину храма гулкимъ шумомъ желѣза. Подожду я у двери, покуда не ляжетъ этотъ гулъ на каменные плиты пола, подойду тихонько къ распятію и сяду на полу предъ нимъ—нѣтъ у меня силы стоять, кости и тѣло болятъ отъ работы, и акакистъ читать не хочется мнѣ. Сижу, обнявъ колѣни, и смотрю вокругъ сонными глазами, думая о Гришѣ, о себѣ. Лѣто было тогда, ночи жаркія, а здѣсь—прохладный сумракъ, кое-гдѣ лампы мелькаютъ, пере-

мигиваются; синеватые огоньки тянутся кверху, словно хотятъ влетѣть въ куполъ и выше—въ небо, къ лѣтнимъ звѣздамъ. Слышенъ тихій трескъ свѣтиленъ, звучить онъ разнo, сквозь дрему мнѣ кажется, что во храмѣ кто-то невидимо живетъ, тайно бесѣдуя робкимъ мельканіемъ лампадъ. Въ теплой тишинѣ и тѣмъ вдумчиво колеблются лики святыхъ, словно и предъ ними встало что-то нерѣшенное. Призрачныя тѣни, тихо коснувшись лица моего, овѣвають сладкимъ дыханіемъ масла и кипариса, и ладана. Золото и мѣдь стали мягче и скромнѣе, серебро блеститъ тепло и ласково, и все таетъ, плавится, сливаясь въ широкій потокъ великой о чемъ-то мечты. Храмъ, какъ густое душистое облако, колеблется и плыветъ въ тихомъ шопотѣ неясной мнѣ молитвы. Закружусь я въ хороводѣ тѣней, и подниметъ меня съ пола ласковый сонъ.

А передъ тѣмъ, какъ ударить къ заутрени, подойдетъ ко мнѣ молчаливый братъ Никодимъ, разбудить, тихонько коснувшись головы, и скажетъ:

— Иди съ Богомъ!

— Прости,—молъ,—меня, я опять заснулъ!

Иду и шатаюсь на ногахъ, а Никодимъ, поддерживая меня, чуть-слышно говоритъ:

— Богъ тебя проститъ, кормилецъ мой!

Былъ Никодимъ незамѣтный старичокъ, ото воѣхъ прятаній лицо свое, и всякаго человѣка онъ называлъ „кормилецъ“.

Однажды спросилъ я его:

— Ты, Никодимушка, по обѣту молчишь?

— Нѣтъ,—говоритъ,—такъ, просто.

И вздохнулъ:

— Кабы зналъ, что сказать—говорилъ-бы!

— А отчего изъ міра ушелъ?

— Оттого и ушелъ.

Начнешь его дальше спрашивать—не отвѣчаетъ

иногда взглянетъ въ лицо тебѣ виноватыми глазами и тихонько скажетъ:

— Не знаю я, кормилецъ!

Бывало, подумаешь:

— Можетъ, этотъ человѣкъ тоже отвѣтовъ искалъ...

И захочется бѣжать изъ монастыря.

А тутъ явился еще одинъ сударь,—вдругъ, точно мячъ черезъ ограду перескочилъ,—крѣпкій такой попрыгунъ, бойкій, маленькій. Глаза круглые, какъ у совы, носъ горбомъ, кудри свѣтлыя, борода пушистая, зубы блестятъ въ постоянной улыбкѣ. Веселить всѣхъ монаховъ шутками, про женщинъ похабно рассказываетъ, по ночамъ водить ихъ въ обитель, водки безъ мѣры достаетъ и во всемъ удивительно ловокъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю:

— Ты чего въ монастырѣ ищешь?

— Я? Жратвы!

— Хлѣбъ работой добываютъ!

— Это,—говорить,—на мужиковъ Богомъ возложено, а я—мѣщанинъ, да еще въ казенной палатѣ два года служилъ, такъ что въ родѣ начальства числю себя!

Я и этого забавника началъ раскрывать—надо мнѣ видѣть всѣ пружины, какія разными людьми двигаютъ. Какъ привыкъ я къ работѣ моей, Михаила лѣниться сталъ, все убѣгаетъ куда-то, а мнѣ хоть и трудно одному, но пріятнѣе; народъ въ пекарню свободно ходитъ, бесѣдуемъ.

Чаще всего сходились мы трое: Гриша, я и веселый Серафимъ. Гриша волнуется, машетъ руками на меня, Серафимъ свиститъ, потряхивая кудрями, улыбается.

Какъ-то разъ спросилъ я его:

— Серафимъ, а ты, бродяга, въ Господа вѣруешь?

— Потомъ,—говорить,—скажу, подожди лѣтъ тридцать. Ударить мнѣ подъ шестьдесятъ, я навѣрное буду знать, вѣрую ли, и какъ, а сейчасъ я этого не понимаю; врать же—охоты нѣтъ!

И начнетъ рассказывать про море. Говорить онъ о немъ, какъ о великомъ чудѣ, удивительными словами, тихо и громко, со страхомъ и любовью, горитъ весь отъ радости и становится подобенъ звѣздѣ. Слушаемъ мы его, молчимъ, и даже грустно отъ рассказовъ его объ этой величавой живой красотѣ.

— Море,—жгуче говорилъ онъ,—синее око земли, устремленное въ дали небесъ, созерцаетъ оно надмірныя пространства, и во влагѣ его, живой и чуткой какъ душа, отражаются игры звѣздъ—тайный бѣгъ свѣтилъ. И если долго смотрѣть на волненіе моря, то и небеса кажутся отдаленнымъ океаномъ, звѣзды же—золотые острова въ немъ.

Гриша, блѣдный, слушаетъ его, и, улыбаясь тихой, какъ бы лунной, улыбкой, печально шепчетъ:

— И предъ лицомъ сихъ тайнъ и красотъ мы—только торгуемъ! Ничего болѣе... О, Господи!

Или начинаетъ Серафимъ о Кавказѣ говорить—представить намъ страну мрачную и прекрасную, мѣсто, сказкѣ подобное, гдѣ адъ и рай обнялись, помирились и красуются братски-равные, гордые величіемъ своимъ.

— Видѣть Кавказъ,—внушаетъ Серафимъ,—значитъ видѣть истинное лицо земли, на коемъ—не противорѣча—сливаются въ одну улыбку и свѣжняя чистота души ребенка, и гордая усмѣшка мудрости дьявольской. Кавказъ—проба силъ человѣка: слабый духъ подавляется тамъ и трепещетъ въ страхъ предъ силами земли, сильный же, насыщаясь еще болѣе крѣпостью, становится высокъ и остръ, подобно горѣ, возносящей алмазную вершину свою во глубину небесныхъ пустынь, а вершина эта—престолъ молній.

Вздыхаетъ Гриша и тихо спрашиваетъ:

— Кто укажетъ душѣ путь ея? Къ міру или прочь отъ него идти надо? Что признать и что отринуть?

Серафимъ разсѣянно и свѣтло усмѣхается.

— Не убавится и не прибудетъ силы солнца отъ того, какъ ты, Гришуха, въ небо поглядишь; не безпокойся объ этомъ, милый!

Понимаю я Серафима—и нѣтъ. Спрашиваю съ досадой:

— Ну, а люди какъ, по-твоему? Къ чему они?

Пожимаетъ онъ плечами, улыбается.

— Что же—люди? Люди, какъ травы, всѣ разные. Для слѣплого и солнце черно. Кто самъ себѣ не радъ, тотъ и Богу врагъ. А, впрочемъ, молоды люди—трехъ лѣтъ Ивана по отчеству звать рано!

Прибаутокъ у него, какъ у Савелки—полонъ ротъ былъ, сыпалъ онъ ими, какъ яблоня цвѣтами. Какъ только поставишь ему серьезный вопросъ, онъ сейчасъ же набрасаетъ на него словъ своихъ, какъ травъ на гробъ младенца. Задѣваетъ меня его уклончивость, сержусь, а онъ, чортъ, хохочетъ.

Бывало, въ досадѣ скажешь ему:

— Зря ты шлеешься, лѣнтяй! Даромъ чужой хлѣбъ ѣшь!

— У насъ,—говорить,—кто ѣстъ свой хлѣбъ, тотъ и голоденъ. Вонъ мужики весь вѣкъ хлѣбъ сѣютъ, а ѣстъ его не смѣютъ. А что я работать не люблю—вѣрно! Но вѣдь я вижу: отъ работы устанешь, но богать не станешь, а кто много спитъ, слава Богу,—сытъ! Ты бы, Матвѣй, принималъ вора за брата, вѣдь и тобой чужое взято!

Поспоришь съ нимъ, да и засмѣешься. Простъ онъ былъ и этимъ привлекалъ, никакъ не притворялся, а прямо говорилъ:

— Я насѣкомое малое и вредъ людямъ не великъ приношу тѣмъ, что кусокъ хлѣба попрошу да съѣмъ.

Вижу я, у этого человѣка Савелкинъ строй души—и удивляюсь: какъ могутъ подобные люди сохранять среди кипѣнія жизни ясность духа своего и веселіе ума?

Серафимъ противъ Гриши, какъ ясный день весны противъ вечера осени, а сошлись они другъ съ другомъ ближе, чѣмъ со мной. Это было немножко обидно мнѣ. Вскорѣ и ушли они вмѣстѣ, Гриша рѣшилъ въ Олонецкъ идти, а Серафимъ говорить:

— Провожу его, отдохну тамъ съ недѣлю, да опять на Кавказъ! И тебѣ, Матвѣй, съ нами бы шагать — въ движеніи скорѣ найдешь, что тебѣ надо. Или поте-ряешь, и то—хорошо! Изъ земли Бога не выкопать!

Но я съ ними не могъ идти—въ ту пору на бесѣ-ды къ Мардарію ходилъ, и очень любопытенъ былъ для меня схимникъ.

Съ великой грустью проводилъ я ихъ,—тихий вечеръ мой и веселый день!

Схимонахъ Мардарій жилъ въ землянкѣ у церков-ной стѣны свади алтаря; въ старину эта яма тайни-комъ была—монастырскія сокровища отъ разбойниковъ прятали въ ней, и прямо изъ алтаря былъ въ нее под-земный ходъ. Разобрали надъ этой ямой каменный сводъ, покрыли ее толстыми досками и поставили надъ нею легкую келейку съ окошкомъ въ потолокъ. А въ полу сдѣлана была рѣшетка, огражденная перилами, сквозь ее богомольцы разглядывали схимника. Въ углу кельи—подъемная дверь, и лѣстница винтомъ опуска-лась внизъ къ Мардарію,—у сходящаго по ней кружи-лась голова. Яма—глубокая, двѣнадцать ступенекъ до дна, свѣта въ ней только одинъ лучъ, да и тотъ не доходилъ до пола, таялъ, расплываясь въ сырой тьмѣ подземнаго жилища.

Долго и пристально надо смотрѣть сквозь рѣшетку, покуда увидишь въ глубинѣ темноты нѣчто темнѣе ея, какъ бы камень большой или бугоръ земли—это и есть схимникъ, недвижимъ сидить.

Спустишься къ нему, схватить тебя тепловатой пахучей сыростью, и первыя минуты не видишь ничего. Потомъ выплыветъ во тьмѣ аналой и черный гробъ, а

въ немъ согбенно помѣстился маленькій старичокъ въ темномъ саванѣ съ бѣлыми крестами, черепами, тростью и копьемъ,—все это смято и поломано на изсохшемъ тѣлѣ его. Въ углу спряталась желѣзная круглая печка, отъ нея, какъ толстый червь, труба вверхъ ползаетъ, а на кирпичѣ стѣнъ плѣсень выросла зеленой чешуей. Лучъ свѣта вонзился во тьму, какъ мечъ бѣлый, и проржавѣлъ и рассыпался въ ней.

На примятыхъ стружкахъ беззвучно, словно тѣнь, качается схимникъ, руки у него на колѣняхъ лежатъ, перебирая четки, голова на грудь опущена, спина выгнута, подобно коромыслу.

Помню, пришелъ я къ нему, опустился на колѣни и молчу. И онъ тоже долго молчалъ, и все вокругъ было насыщено мертвымъ молчаніемъ. Лица его не видно мнѣ, только темный конецъ остраго носа вижу.

Шепчетъ онъ чуть слышно:

— Ну...

А я не могу говорить, охватила меня и давить жалость къ человѣку, живымъ во гробъ положенному.

Подождавъ, онъ снова спрашиваетъ:

— Что же... говори...

И повернулъ ко мнѣ свое лицо—темное оно, а глазъ я не вижу на немъ, только бѣлыя брови, бородка, да усы, какъ плѣсень на жуткомъ, стертомъ тьмою и неподвижномъ лицѣ. Слышу шелестъ его голоса:

— Ты самъ споришь... Зачѣмъ же спорить... Богу надо покорно служить. Что съ Нимъ спорить, съ Богомъ-то. Бога надо просто любить.

— Я,—молъ,—люблю Его.

— Ну, вотъ. Онъ тебя наказываетъ, а ты будто не видишь, и говори—слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ! И всегда это говори. Больше ничего.

Видимо, трудно ему отъ слабости или разучился онъ говорить,—слова его чуть живы, и голосъ подобенъ трепету крыльевъ умирающей птицы.

Не могу я ни о чемъ спросить старика, жалко мнѣ нарушить покой его ожиданія смерти и боюсь я, какъ бы не спугнуть чего-то... Стою не шевелюсь. Сверху звонъ колокольный просачивается, колеблетъ волосы на головѣ моей, и нестерпимо хочется мнѣ, поднявъ голову, въ небеса взглянуть, но тѣмъ тяжело сгибаетъ выю мнѣ,—не шевелюсь.

— Ты помолись-ка,—говорить онъ мнѣ.—И я помолюсь за тебя.

Замеръ онъ. Тихо. И струится жуткій страхъ по кожѣ моей, обливая грудь снѣжнымъ холодомъ.

А черезъ нѣкоторое время шепчетъ онъ:

— Ты еще тутъ?

— Да.

— Не вижу я. Ну, иди съ Богомъ! Ты—не спорь.

Ушелъ я тихонько. Какъ поднялся на землю и вздохнулъ чистымъ воздухомъ, опьянѣлъ отъ радости, голова закружилась. Сырой весъ, какъ въ погребѣ былъ. А онъ, Мардарій, четвертый годъ тамъ сидитъ!

Пять бесѣдъ назначено было мнѣ, но я все молчалъ. Не могу. Спущусь къ нему, прислушается онъ и нездѣшнымъ голосомъ спроситъ:

— Пришелъ. Вчерашній ли?

— Да, это я.

Тутъ онъ начинаетъ шептать съ перерывами:

— Ты Бога не обижай... Чего тебѣ надо?.. Ничего не надо... Кусочекъ хлѣбца развѣ. А Бога обижать грѣхъ. Это ужъ отъ бѣса. Бѣси — они всяко ногу подставляютъ. Знаю я ихъ. Обижены они, бѣси-то. Злые. Обижены, оттого и злы. Вотъ и не надо обижаться, а то уподобишься бѣсу. Тебя обидятъ, а ты имъ скажи: спаси васъ Христосъ! И уйди прочь. Ну ихъ! Тлѣнность они всѣ. Главное-то—твое. Душу-то не отнимутъ. Спрячь ее, и не отнимутъ.

Свѣтъ онъ потихоньку слова свои, осыпаются они ч, какъ пепелъ дальняго пожара, и не нужны

мнѣ, и не трогаютъ души. Какъ будто черный сонъ вижу, непонятный и тягостно-скупный.

— Молчишь ты,—раздумчиво говоритъ онъ,—это хорошо. Пусть ихъ какъ хотятъ, а ты молчи. Другіе ходятъ ко мнѣ, тѣ — говорятъ. Много говорятъ. Нельзя понять, о чемъ они. Про женщинъ какихъ-то. А мнѣ что? Про все говорятъ—а про что про все? Непонятно. Ты же знай молчи. Я бы тоже не говорилъ, да игуменъ тутъ—утѣшай, велить,—надо утѣшать! Ну, ладно. А самъ я очень бы молчалъ. Ну ихъ всѣхъ къ Богу! У меня все отнято. Молитва только осталась. Что тебя мучаютъ — ты не замѣчай. Бѣси мучаютъ. Мучили и меня тоже. Братъ родной. Билъ. А то жена. Мышь-комъ меня травила. Былъ я для нея какъ мышь, видно. Обокрали всего. Сказали—будто я деревню-то поджегъ. Въ огонь бросить хотѣли. И въ тюрьмѣ сидѣлъ. Все было. Судили — еще сидѣлъ. Богъ съ ними! Я всѣхъ простилъ. Не виновать — а простилъ. Это — для себя. Лежала на мнѣ гора обидъ. Дышать не могъ. А какъ простилъ, — ничего! Нѣтъ горы. Бѣси обидѣлись и отошли. Вотъ и ты—прости всѣмъ... Мнѣ — ничего не надо. И тебѣ то же будетъ.

На четвертой бесѣдѣ просить онъ меня:

— Принеси-ка ты мнѣ хлѣбца корочку. Я бы пососать? Немоощень я—прости ты меня, Христа ради!

Жалко мнѣ его стало до боли въ сердцѣ. Слушаю бредъ его и думаю:

— Зачѣмъ это надо, о, Господи? Зачѣмъ же?

А онъ шелеститъ изсохшимъ языкомъ:

— Кости у меня болятъ. Ноютъ день и ночь. Корочку-то пососу—легче будетъ, можетъ. А то зудятъ кости, мѣшаютъ. Молитвѣ-то мѣшаютъ онѣ. Надо вѣдь молиться всѣ минуты. И во снѣ надо. А то сейчасъ и напомнить бѣсъ. Имя твое напомнить, и гдѣ ты жилъ, все. Онъ вотъ тутъ на печкѣ сидитъ. Ему—ничего, что иной разъ горячая она, красная. Онъ—привыкъ. Ся-

детъ сѣренъкій противъ меня и сидить. Я его закрещу, да ужъ и не гляжу на него. Надоѣлъ онъ. Ну его. А то по стѣнѣ ползаетъ, въ родѣ паука. Ино тряпичей сѣрой болтается въ воздухѣ. Онъ—разно можетъ, мой-то. Скучно со старикомъ. А приставили—надо стеречь. Тоже и ему не сладко, со старикомъ-то. Я ужъ и не обижаюсь на него. И бѣсъ подневоленъ. Привыкъ я къ нему. Ну тебя, говорю, надоѣлъ ты! И не гляжу. Онъ—ничего, не озорникъ. Только все напоминаетъ, какъ меня звали.

Поднялъ старичокъ голову и довольно громко сказалъ:

— А звали-то меня Михайло Петровъ Вяхиревъ!

И снова осѣлъ весь въ гробъ свой, шепчетъ:

— Таки толкнулъ бѣсъ... Ахъ ты, бѣсъ! Ты здѣсь, брать? Иди-ко съ Господомъ!

Плакать я готовъ былъ въ тотъ день со зла... Ну, зачѣмъ старикъ этотъ? Какая красота въ подвигѣ его? Ничего не понимаю! Весь день и долго спустя вспомню я про него—какъ будто и меня дразнить нѣкій бѣсъ, насмѣшливыя рожи строя.

Когда послѣдній разъ пошелъ я къ нему, то набилъ карманы мягкимъ хлѣбомъ—съ досадой и злостью на людей понесъ этотъ хлѣбъ. И когда отдалъ ему—онъ зашепталъ:

— Ого-го! Теплый. Ого-го-го...

Возится во гробѣ, стружки подъ нимъ скрипятъ, прячетъ хлѣбъ и все шепчетъ:

— Ого-го...

И тьма, и плѣсень стѣнъ—все вокругъ шевелится, повторяя тихимъ стономъ шопотъ схимника:

— О-о-о.

Четыре раза въ недѣлю пищу онъ принималъ; конечно, голодно было ему.

Въ тотъ послѣдній разъ онъ ужъ ничего не гово-

рилъ со мной, а только чмокалъ, посасывая хлѣбъ,—видимо зубовъ у него совсѣмъ уже не было.

Постоявъ нѣсколько времени, говорю ему:

— Ну, прости меня, Христа ради, отецъ Мардарій, ухожу я и больше не приду! Спасибо мое прими!

— Да, да,—торопливо отвѣчаетъ онъ,—спасибо тебѣ, спасибо! Ты монахамъ-то не говори. Про хлѣбъ-то. Отнимуть еще. Они завистливы, монахи-то. Ихъ вѣдь бѣси тоже знаютъ. Бѣси все знаютъ. Ты молчи!

Послѣ этого вскорѣ захворалъ и померъ онъ. Хорошили торжественно—владыка изъ города со священствомъ пріѣзжалъ и соборне литургію служилъ. Потомъ слышалъ я, что надъ могилою старичка по ночамъ синій огонекъ самъ собою загорается.

Сколь жалостно все это. И сколь постыдно людямъ.

Вскорѣ послѣ этого жизнь моя круто повернулась.

Еще при Гришѣ былъ со мною подлый случай: вхожу я однажды въ кладовую, а Михайла на мѣшкахъ лежитъ и онановымъ грѣхомъ занимается. Невыразимо противно стало мнѣ; вспомнилъ я пакости, кои онъ про женщинъ говорилъ, вспомнилъ ненависть его, плюнулъ, выскочилъ въ пекарню, дрожу весь со зла, и стыдно мнѣ, и горестно. Онъ за мной... Палъ на колѣни, умоляетъ меня, чтобы я молчалъ, рычитъ:

— Вѣдь и тебя она смущаетъ по ночамъ, знаю я. Сильна власть дьявола...

— Врешь,—говорю,—и пойдѣ ты ко всѣмъ чертямъ! сгинь! Вѣдь ты—хлѣбъ печешь, собака!

Ругаюсь, не могу удержаться. Если-бы онъ женщинъ не пачкалъ грязными словами своими, такъ песъ съ нимъ!

А онъ все ползаетъ, просить, чтобы я молчалъ.

— Да развѣ,—говорю,—объ этомъ скажешь? Вѣдь стыдно же! Но работать съ тобой не хочу! И ты скажи, чтобы перевели меня на другое послушаніе...

На томъ я и всталъ.

О ту пору люди-то все еще не были живы и видны для меня, и старался я только объ одномъ—себя бы въ сторону отодвинуть.

Михайла захворалъ и легъ въ лѣчебницу, работаю я за старшаго, дали мнѣ въ подмогу двухъ помощниковъ; прошло недѣли три и вдругъ зоветъ меня келарь и говоритъ, что Михайла выздоровѣлъ, но работать со мной не желаетъ изъ-за моего строптиваго характера, и потому назначенъ я, пока-что, въ лѣсъ пни корчевать. Это считалось наказаніемъ.

— За что?—спрашиваю.

И вдругъ въ контору входитъ красавецъ-монахъ, отецъ Антоній, становится скромно къ сторонкѣ и слушаетъ.

Келарь же объясняетъ мнѣ:

— А именно за строптивость характера твоего и за дерзостныя сужденія о братіи; это въ твои годы и въ положеніи твоёмъ глупо, нетерпимо и должно быть наказано! Вотъ отецъ настоятель, по добросердечію своему, говорилъ, что надо тебя въ контору перевести, на болѣе легкое послушаніе, а выходитъ—вонъ оно что...

Говорилъ онъ долго, гнусаво и безчувственно; вижу я, что не по совѣсти, а по должности путаетъ человѣкъ слова одно съ другимъ. А отецъ Антоній, прислонясь къ лежанкѣ, смотритъ на меня и, поглаживая бороду, улыбается прекрасными глазами, словно поддразниваетъ меня чѣмъ-то. Захотѣлось мнѣ показать ему мой характеръ, и говорю я келарю:

— Возвышенія—не ищу, униженія—не желаю принять, ибо—не заслужилъ, какъ вы знаете это, но хочу справедливости!

Покраснѣлъ келарь, посохомъ стучить.

— Цыцъ, дерзновенный!

Отецъ Антоній наклонился къ уху его и что-то сказалъ:

— Сіе — невозможно!—говорить келарь.—Долженъ онъ принять кару безъ ропота!

Пожаль Антоній плечами и обратился ко мнѣ,—голосъ у него басовитый, теплый:

— Подчинись, Матвѣй!

Побѣдилъ онъ меня двумя словами и ласковымъ взглядомъ своимъ. Положивъ келарю земной поклонъ, поклонился я и ему, а потомъ спрашиваю келаря—когда мнѣ идти въ лѣсъ?

— Черезъ три дня,—говорить,—а эти три дня ты во узилищѣ посидишь! Такъ-то!

Не будь тутъ Антонія, я бы навѣрное кости келарю переломалъ. Но его слова были приняты мною за нѣкій намекъ на возможность приблизиться къ нему, а ради этого я тогда готовъ былъ руку себѣ отрубить и—на все.

И повели меня въ карцеръ—въ ямку подъ конторой; ни встать тамъ, ни лечь, только сидѣть можно. На полу солома брошена, мокра отъ сырости. Тихо, какъ на могилѣ, даже мышей нѣтъ, и такая тьма, что руки тонуть въ ней: протянешь руку предъ лицомъ и—нѣтъ ея.

Сажу—молчу. И все во мнѣ молчить, какъ свинцомъ обито, тяжелъ я, подобно камню, и холоденъ, словно ледъ. Сжалъ зубы, будто этимъ хотѣлъ мысли свои сдержать, а онѣ разгораются, какъ угли, жгутъ меня. Кусаться радъ бы, да некого кусать. Схватился руками за волосы свои, качаю себя, какъ языкъ колокола, и внутренно кричу, реву, бѣснюсь.

— Гдѣ же правда Твоя, Господи? Не ею ли играютъ беззаконники, не ею ли попираютъ сильные въ зломъ опьяненіи властью своей? Кто я предъ Тобой? Беззаконію жертва или стражъ красоты и правды Твоея?

Вспоминаю укладъ жизни монастырской—неприглядно и глумливо встаетъ она предо мной. Почему монахи—слуги Божіи? чѣмъ они святѣ мірянъ? Знаю

я тяжелую мужицкую жизнь въ деревняхъ: холодно, сурово живутъ мужики! Далеко они отъ Бога: пьютъ, дерутся, воруютъ и всяко грѣшатъ, но вѣдь имъ невѣдомы пути Его и двигаться къ правдѣ нѣтъ силъ, нѣтъ времени у нихъ,—каждый привязанъ къ землѣ своей и прикованъ къ дому своему крѣпкой цѣпью страха передъ голодомъ; что спросить съ нихъ? А здѣсь люди свободно и сыто живутъ; здѣсь открыты предъ ними мудрыя книги,—а кто изъ нихъ Богу служить? Только слабые и безкровныя, въ родѣ Гриши, остальнымъ же Богъ—только защита во грѣхѣхъ и источникъ лжи.

Вспоминаю злую жадность монаховъ до женщины и всѣ пакости плоти ихъ, коя и скотомъ не брезгаетъ; лѣнь ихъ и обжорство, и ссоры при дѣлежѣ братской кружки, когда они злобно каркаютъ другъ на друга, словно вороны на кладбищѣ. Рассказывалъ мнѣ Гриша, что какъ ни много работаютъ мужики на монастырь этотъ, а долги ихъ все растутъ и растутъ.

О себѣ думаю: вотъ уже давно я маюсь здѣсь, а что приобрѣлъ душѣ? Только раны и ссадины. Чѣмъ обогатилъ разумъ? Только знаніемъ пакости всякой и отвращеніемъ къ человѣкамъ.

А вокругъ—тишина. Даже звонъ колокольный не доходитъ ко мнѣ, нечѣмъ время мѣрять, нѣтъ для меня ни дня, ни ночи,—кто же смѣетъ свѣтъ солнца у человека отнимать?

Промозглая темнота давить меня, сгораетъ въ ней душа моя, не освѣщая мнѣ путей, и плавится, таетъ дорогая сердцу вѣра въ справедливость, во всевѣдніе Божіе. Но какъ яркая звѣзда сверкаетъ предо мной лицо отца Антонія, и всѣ мысли, всѣ чувства мои—около него, какъ бабочки ночныя вокругъ огня. Съ нимъ бесѣдую, ему творю жалобы, его спрашиваю и вижу во тьмѣ два луча ласковыхъ глазъ. Дорогоньки были мнѣ эти три дня: вышелъ я изъ ямы—глаза слѣпнутъ,

голова—какъ чужая, ноги дрожать. А братія смѣется:

— Что, удостоился баньки духовной?

Вечеромъ игуменъ позвалъ меня, поставилъ на колѣни и долго рѣчь говорилъ.

— Сказано: зубы грѣшника сокрушу и выю его согну долу...

Молчу, держу сердце въ рукѣ. Умиротворяющій Антоній предо мной стоитъ и запечатываетъ злые уста мои ласковымъ взглядомъ.

И вдругъ—смягчился игуменъ.

— Тебя, дуракъ, цѣнять,—говорить,—о тебѣ думаютъ, ревность твою къ работѣ замѣтили, разуму твоему хотятъ воздать должное. И вотъ нынѣ я предлагаю тебѣ даже на выборъ два послушанія: хочешь ли ты въ конторѣ сидѣть, или—въ келейники къ отцу Антонію?

Точно теплой водой облилъ онъ меня, задохнулся я отъ радости и едва выговорилъ:

— Благословите въ келейники...

Сморщилъ онъ лицо, задумался, пытливо смотритъ на меня.

— Ежели,—говорить,—въ контору идешь, я сложу съ тебя корчеванье, а въ келейники—прибавлю работы въ лѣсу.

— Благословите въ келейники...

Онъ строго спрашиваетъ:

— Почему, глупый? Вѣдь въ конторѣ легче и почетнѣе!

Стою на своемъ.

Склонилъ онъ голову, подумалъ.

— Благословляю,—говорить.—Чудной ты парень, однако, надо слѣдить за тобою... Кто знаетъ, какимъ огнемъ сгоришь, кто это знаетъ? Иди съ миромъ!

Пошелъ я въ лѣсъ.

Весна была тогда, апрѣль холодный.

Работа трудная, лѣсъ—вѣковой, коренье рѣдкой глубоко ушло, боковое—толстое,—роешь-роешь, рубишь—

рубишь—начнешь пень лошадей тянуть, старается она во всю силу, но только обрывает. Уже къ полудню кости трещать, и лошадь моя дрожить и въ мыль вся, глядитъ на меня круглымъ глазомъ и словно хочетъ сказать:

— Не могу, братъ, трудно!

Поглажу ее, похлопаю по шеѣ.

— Вижу!—моль. И снова рыть, да рубить, а лошадь смотреть, встряхивая шкурой и качая головой. Лошади—умныя; я полагаю, что безсмысліе дѣяній человѣческихъ имъ видимо.

Въ это время была у меня встрѣча съ Михайлой; чуть-чуть она худо не кончилась для насъ. Иду я однажды послѣ трапезы полуденной на работу, уже въ лѣсъ вошелъ, вдругъ догоняетъ онъ меня, въ рукахъ—палка, лицо озвѣрѣвшее, зубы оскалилъ, сопить, какъ медвѣдь... Что такое?

Остановился, жду. А онъ, ни слова не говоря, какъ размахнется палкой на меня. Я во-время согнулся, да въ животъ ему головой; сшибъ съ ногъ, сѣлъ на груди, палку вырвалъ, спрашиваю:

— Ты что это? За что?

Онъ возится подо мной, хрипять:

— Уходи прочь изъ обители...

— Почему?

— Не могу тебя видѣть, убью... Уходи!

Глаза у него красныя и слезы выступаютъ изъ нихъ, тоже будто красныя, а на губахъ пѣна кипить. Рветъ онъ мнѣ одежду, щиплетъ тѣло, царапается, все хочетъ лицо достать. Я его тиснулъ легонько, слѣзъ съ груди, и говорю:

— На тебѣ же чинъ монашескій лежить, а ты, скотъ, такую злобу носишь въ себѣ! И—за что?

Сидитъ онъ въ грязи и настойчиво требуетъ:

— Уйди! Не губи мою душу...

Ничего не понимаю! Потомъ—догадался, спрашиваю его тихонько:

— Можетъ ты, Миха, думаешь, что я сказалъ кому нибудь о печальномъ пороѣ твоёмъ? Напрасно; никому я не говорилъ, ей-ей!

Всталъ онъ, пошатнулся, обнялъ дерево, глядитъ на меня изъ-за ствола дикими глазами и рычитъ:

— Пусть бы ты всему міру сказалъ — легче мнѣ! Предъ людьми покаюсь, и они простятъ, а ты, сволочь, презираешь всѣхъ,—не хочу быть обязанъ тебѣ, гордецъ ты и еретикъ! Сгинь, да не введешь меня въ кровавый грѣхъ!

— Ну, ужъ это,—молъ,—ты самъ уходи, коли тебѣ надо, я—не уйду, такъ и знай!

А онъ снова бросился на меня и упали мы оба въ грязь, выпачкались, какъ лягушки. Оказался я много сильнѣе его, всталъ, а онъ лежитъ, плачетъ несчастный.

— Слушай, Михайла,—говорю.—Я уйду немного погодя, а теперь — не могу! Не изъ упрямства это, а нужда у меня, надо мнѣ здѣсь быть!

— Иди къ дьяволу, отцу твоему!—стонетъ онъ и зубами скрипитъ.

Отошелъ я отъ него, а черезъ мало дней вѣрно было ему ѣхать въ городъ на подворье монастырское, и больше не видалъ я его.

Кончилъ я послушаніе и вотъ—стою одѣтъ во все новое у Антонія. Съ перваго дня до послѣдняго помню эту полосу жизни, всю, до слова, какъ будто она и внутри выжжена, и на кожѣ моей вырѣзана.

Водить онъ меня по кельѣ своей и спокойно, подробно, учить—какъ, когда и чѣмъ долженъ я служить ему. Одна комната вся шкафами уставлена и они полны свѣтскихъ и духовныхъ книгъ.

— Это,—говоритъ онъ,—молельня моя!

Посреди комнаты столъ большой, у окна кресло мягкое, съ одной стороны стола—диванъ, дорогимъ

ковромъ покрытый, а передъ столомъ стулъ съ высокой спинкой, кожею тисненою обить. Другая комната спальня его: кровать широкая, шкафъ съ рясами и бѣльемъ, умывальникъ съ большимъ зеркаломъ, много щеточекъ, гребеночекъ, пузырьковъ разноцвѣтныхъ, а въ стѣнахъ третьей комнаты,—неприглядной и пустой,—два потайные шкафа вдѣланы: въ одномъ вина стоятъ и закуски, въ другомъ чайная посуда, печенье, варенье и всякія сладости.

Кончили мы этотъ обзоръ, вывелъ онъ меня въ бібліотеку и говоритъ:

— Садись! Вотъ, какъ я живу. Не по-монашески, а?

— Да,—моль,—не по уставу.

— Вотъ ты,—говорить,—осуждаешь все, будешь и меня осуждать.

И улыбается, точно съ колокольни, высококомѣрно. Очень я его любилъ за красоту лица, но улыбка эта не понравилась мнѣ.

— Осуждать васъ буду ли—не знаю,—моль,—а понять непременно хочу!

Онъ засмѣялся тихо, басовито и обидно.

— Ты, вѣдь, незаконнорожденный?

— Да.

— Есть въ тебѣ,—говорить,—хорошая кровь!

— Что такое хорошая кровь?—спрашиваю.

Смѣется и внятно отвѣчаетъ:

— Хорошая кровь—вещество, изъ коего образуется гордая душа!

День ясный, въ окно солнце смотритъ, и сидитъ Антоній весь въ его лучахъ. Вдругъ одна неожиданная мною мысль подняла голову, какъ змѣя, и ужалила сердце мое—взнылъ я весь, словно обожженный, вскочилъ со стула, смотрю на монаха. Онъ тоже привсталъ; вижу—беретъ со стола ножъ, играетъ имъ и спрашиваетъ:

— Что съ тобой?

Спрашиваю я его:

— Не вы ли мой отецъ?

Испортилось лицо у него, стало неподвижно-синеватое, словно изъ льда изсѣчено; полуприкрылъ онъ глаза, и погасли они. Тихо говорить:

— Едва ли! Гдѣ родился? Когда? Сколько лѣтъ? Кто мать?

И когда рассказаль я ему, какъ бросили на землю меня, улыбнулся онъ, положилъ ножъ на столъ.

— Въ то время и въ тѣхъ мѣстахъ не бываль я,—говорить.

Стало мнѣ неловко, тяжело: будто милостыню попросилъ я, и—не подали.

— Ну, а если бы, — спрашиваетъ,—былъ я твой отецъ—что тогда?

— Ничего,—говорю.

— И я такъ же думаю. Мы съ тобою живемъ, гдѣ нѣтъ отцовъ и дѣтей по плоти, но только по духу. А съ другой стороны всѣ мы на землѣ подкидыши, и, значить, братья по несчастью, именуемому—жизнь! Человѣкъ есть случайность на землѣ, знаешь ли ты это?

По глазамъ его вижу—смѣется онъ надо мной. Смущенъ и подавленъ я непонятнымъ мнѣ вопросомъ моимъ, хочется мнѣ какъ-то оправдать его или забыть. Но спрашиваю еще хуже:

— А зачѣмъ это вы взяли въ руку ножъ?

Посмотрѣлъ на меня Антоній и тихонько смѣется,

— Смѣлый ты вопросникъ! — говорить. — Взялъ и взялъ, а зачѣмъ—не знаю! Люблю его, красивъ очень.

И подаль ножъ мнѣ. Ножъ кривой и острый, по стали золотомъ узоръ положенъ, рукоятъ серебряная, и красный камень врѣзанъ въ нее.

— Арабскій ножъ,—объясняетъ мнѣ онъ.—Я имъ книги разрѣзаю, а на ночь подъ подушку себѣ кладу. Есть про меня слухъ, что богатъ я, а люди вокругъ бѣдно живутъ, келья же моя въ сторонѣ стоитъ.

Ударили къ вечернѣ, вздрогнулъ онъ и говоритъ мнѣ:

— Съ Богомъ, иди! Усталъ я, и за службу надо.

Будь я умнѣе—въ тотъ же день и надо бы мнѣ уйти отъ него: сохранился бы онъ для меня, какъ хорошее воспоминаніе. Но не понялъ я смысла его словъ.

Пришелъ къ себѣ, легъ—подъ бокомъ книжка эта оказалась. Засвѣтилъ огонь, началъ читать изъ благодарности къ наставнику. Читаю, что нѣкій кавалеръ все мужей обманываетъ, по ночамъ лазить въ окна къ женамъ ихъ; мужья ловятъ его, хотя въ шпагами приколоть, а онъ бѣгаетъ. И все это очень скучно и непонятно мнѣ. То-есть, я, конечно, понимаю—балуетъ молодой человѣкъ, но не вижу, зачѣмъ объ этомъ написано, и не соображу, почему долженъ я читать подобное пустословіе?

И снова думаю: отчего я вдругъ заподозрилъ, что Антоній—отецъ мнѣ? Разъѣдаетъ эта мысль душу мою, какъ ржа желѣзо. Потомъ заснулъ я. Во снѣ чувствую толкаютъ меня; вскочилъ, а онъ стоитъ надо мной.

— Я,—говорить,—звонилъ-звонилъ!

— Простите,—моль,—Христа ради, очень тяжело работалъ я!

— Знаю.

А „Богъ простить“—не сказалъ.

— Я,—говорить,—иду къ отцу игумену, приготовь мнѣ все, какъ указано. Ага! Ты книгу эту читалъ? Жаль, что началъ; это не для тебя, ты правъ былъ! Тебѣ другое нужно.

Готовлю я постель: бѣлье тонкое, одѣяло мягкое, все богато и не видано мной, все пропитано душистымъ приторнымъ запахомъ.

Началъ я жить въ этомъ пьяномъ туманѣ, какъ во снѣ,—ничего, кромѣ Антонія, не вижу, но онъ самъ для меня—весь въ тѣни и двоится въ ней. Говорить ласково, а глаза—насмѣшливы. Имя Божіе рѣдко произ-

носить, — вмѣсто „Богъ“, говорить „духъ“, вмѣсто „дьяволъ“ — „природа“, но для меня смыслъ словами не мѣняется. Монаховъ и обряды церковные полегоньку вышучиваетъ.

Много онъ пилъ вина, но не бывало, чтобы шатался на ногахъ, — только лобъ у него становится блѣдно-синева, да глаза надъ прозрачными щеками разгораются темнымъ огнемъ, а красныя губы потемнѣютъ и высохнутъ. Часто, бывало, придетъ онъ отъ игумена около полуночи и позднѣе, разбудить меня, велитъ подать вина. Сидитъ, пьетъ и глубокимъ своимъ голосомъ говоритъ непрерывно и долго, — иной разъ вплоть до заутрени.

Трудно мнѣ было понимать рѣчи его, и многое позабылъ я, но, помню, сначала пугали онъ меня, какъ будто раскрывали нѣкую пропасть и толкали въ нее съ лица земли все сущее.

Иногда отъ такихъ его рѣчей становилось мнѣ пусто и жутко, и готовъ я былъ спросить его:

— А вы не дьяволъ будете?

Черный онъ, говорилъ властно, а когда выпивалъ, то глаза его становились еще болѣе двойственны, западая подъ лобъ. Блѣдное лицо подергивалось улыбкой; пальцы, тонкіе и длинные, все время быстро щиплютъ черную до-синя бороду, сгибаются, разгибаются, и вѣетъ отъ него холодомъ. Боязно.

Но, какъ сказано, во дьявола не вѣрилъ я, да и зналъ по писанію, что дьяволъ силенъ гордостью своей; онъ — всегда борется, страсть у него есть и умѣнье соблазнять людей, а отецъ-то Антоній ничѣмъ не соблазняетъ меня. Жизнь одѣвалъ онъ въ сѣрое, показывалъ мнѣ ее бессмысленной; люди для него — стадо бѣшеныхъ свиней, съ разной быстротой бѣгущихъ къ пропасти.

— Вы, — молъ, — говорили, что жизнь-то прекрасна!

— Да, если она признаетъ меня, она прекрасна,— отвѣчаетъ онъ и усмѣхается.

Только эта усмѣшка и оставалась у меня отъ его рѣчей. Точно онъ на все изъ-за угла смотрѣлъ, кѣмъ-то изгнанный отовсюду, и даже не очень обижаясь, что изгнали. Остра и догадлива была его мысль, гибка, какъ змѣя, но безсильна покорить меня,—не вѣрилъ я ей, хотя иной разъ восхищался ловкостью ея, высокими прыжками разума человѣческаго.

Впрочемъ, порою,—хоть и рѣдко,—сердился онъ.

— Я,—кричить,—дворянинъ, потомокъ великаго рода людей; дѣды и прадѣды мои Русь строили, историческія лица, а этотъ хамъ обрываетъ слова мои, этотъ вшивый хамъ, а?!.. Прекрасное — погибаетъ, остаются только черви, и среди нихъ одинъ человѣкъ знаменитой фамиліи!

Такія рѣчи неинтересны были мнѣ—я, можетъ, и самъ тоже знаменитѣйшей фамиліи, да вѣдь не въ прадѣдѣ сила, а въ правдѣ, и вчера—уже не воротится, тогда какъ завтра—навѣрное—будетъ!

А то сидитъ въ креслѣ своемъ, безъ крови на лицѣ, и рассказываетъ:

— Опять, Матвѣй, обыграли меня эти монахи. Что есть монахи? Человѣкъ, который хочетъ спрятать отъ людей мерзость свою, боясь силы ея. Или же человѣкъ, удрученный слабостью своей и въ страхѣ бѣгушій міра, дабы міръ не пожралъ его. Это суть лучшіе монахи, интереснѣйшіе, всѣ же другіе—просто безпріютные люди, прахъ земли, мертворожденные дѣти ея.

— А вы,—говору,—кто среди нихъ?

Можетъ быть, я его десять разъ и больше такъ вотъ въ упоръ спрашивалъ, но онъ отвѣчалъ мнѣ всегда въ такомъ родѣ:

— А ты—случайный человѣкъ и здѣсь, и вездѣ, и всегда!

И Богъ его былъ для меня тайной. Старался я до-

просить его о Богѣ, когда онъ трезвый былъ, но онъ, усмѣхаясь, отвѣчалъ мнѣ знакомыми словами писанія,—Богъ же для меня былъ выше писанія. Тогда сталъ я спрашивать у пьянаго, какъ онъ видитъ Бога?

Но и пьяный Антоній крѣпокъ былъ.

— А хитеръ ты, Матвѣй! — говоритъ. — Хитеръ и упрямъ! Жаль мнѣ тебя!

И я тоже сталъ жалѣть его, ибо видѣлъ я его одиночество, цѣнилъ обиліе всякихъ мыслей въ немъ, и жалко было, что зря пропадаютъ онѣ въ кельѣ.

Но, жалѣя, все упорнѣе насѣдаю на него, и однажды онъ нехотя сказалъ:

— Но я, какъ и ты, Матвѣй,—не вижу Бога!

— Я,—моль,—хоть не вижу, но чувствую, и не о бытіи Его спрашиваю, а какъ понять законы, по коимъ строится Имъ жизнь?

— Законы,—говоритъ,—въ Номоканонѣ смотри! А если чувствуешь Бога, то—поздравляю тебя!

Налилъ стаканъ вина мнѣ, чокнулся со мной и выпилъ; вижу я, что хотя лицо у него серьезное, какъ у мертваго, но глаза красиваго барина смѣются надо мной.

То, что онъ баринъ, стало покрывать собою мое влеченіе къ нему, ибо онъ уже нѣсколько разъ такъ развертывалъ барство, что кровно обижалъ меня.

Пьяненькій любилъ онъ про женщинъ говорить.

— Природа, дескать, беретъ насъ въ злой и тяжкій плѣнъ черезъ женщину, сладчайшую приманку свою, и не будь плотскаго влеченія, кое поглощаетъ собою лучшія силы духа человѣческаго,—можетъ, человѣкъ и безсмертія достигъ бы!

Но такъ какъ братъ Миха гораздо гуще объ этомъ дѣлѣ говорилъ, то я уже былъ насыщенъ отвращеніемъ къ такимъ мыслямъ; притомъ же Михайла отрицалъ женщину со злобой, поносилъ ее яростно, а отецъ Антоній рассуждалъ безчувственно и скучно.

— Помнишь, — говорить, — я тебѣ книжку давалъ? Читая ее, долженъ былъ ты видѣть, сколь женщина хитра и лжива, и развратна въ существѣ своемъ!

Странно и противно слышать, когда человѣкъ, рожденный женщиной и соками ея вспоенный, грязнить, попираетъ мать свою, отрицая за нею все, кромѣ похоти; низводитъ ее, родимую, до скотины безсмысленной.

Однажды я сказалъ ему нѣчто въ этомъ смыслѣ, только — глаже, не столь прямо. Освирѣпѣлъ онъ, закричалъ:

— Идиотъ! Развѣ я о матери говорю!

— Всякая, — молъ, — женщина есть мать.

— Иная, — кричить, — только распутница всю жизни!

— Нѣкоторые люди горбаты живутъ, но для всѣхъ горбъ не законъ.

— Ступай вонъ, дуракъ!

Офицеръ-то не померъ въ немъ.

Нѣсколько разъ сшибался я съ нимъ голова въ голову, спрашивая о Господѣ; стали меня злить увертливые смѣшки его, и какъ-то въ ночь пустилъ я себя на него со всей силой.

Характеръ у меня скверный сдѣлался тогда; большую тоску я испытывалъ, хожу вокругъ Антонія, какъ голодный около чулана запертаго, — хлѣбомъ пахнетъ за дверью, — и отъ этого звѣрѣть я сталъ, а въ ту ночь сильно онъ разжегъ недомолвками своими.

Взялъ я ножъ со стола и говорю:

— Разскажите мнѣ все, какъ думаете, а то вотъ — полосну себя по горлу, скандалъ сдѣлаю вамъ!

Встревожился онъ, цапнулъ меня за руку, вырвалъ ножъ и засуетился, не похоже на себя.

— Нужно, — говорить, — наказать тебя за это, но фанатику и наказаніе не впрокъ!

А потомъ говорить, точно гвозди въ голову мнѣ бьютъ:

— Я тебѣ вотъ что скажу: существуетъ только

человѣкъ; все же прочее—есть мнѣніе. Богъ же твой—сонъ твоей души. Знать ты можешь только себя, да и то не навѣрное.

Покачиваютъ слова его, какъ вѣтромъ, и опустошаютъ меня. Говорилъ онъ долго, понятно и нѣтъ, и чувствую я: нѣтъ въ этомъ человѣкѣ ни скорби, ни радости, ни страха, ни обиды и гордости. Точно старый кладбищенскій попъ панихиду поетъ надъ могилой: всѣ слова хорошо знаетъ, но души его не трогаютъ они. Сначала-то страшной показалась мнѣ его рѣчь, но потомъ догадался я, что неподвижны сомнѣнія его, ибо мертвы они...

Май, окно открыто... ночь въ саду тепло цвѣтами дышитъ... яблони—какъ дѣвушки къ причастію идутъ, голубыя въ серебрѣ луны. Сторожъ часы бьетъ и кричитъ въ тишинѣ мѣдь, обиженная ударами, а человѣкъ предо мной сидитъ съ ледянымъ лицомъ и спокойно плететъ безкровную рѣчь; вьются сѣрыя, какъ пепель, слова, обидно и грустно мнѣ—вижу фольгу, вмѣсто золота.

— Уходи!—говорить мнѣ Антоній.

Вышелъ я въ садъ, а къ заутрени ударили; пошелъ въ церковь, выбралъ темный уголокъ, стою и думаю:

— Да и зачѣмъ полумертвому Богъ?

Сходится братія,—словно лунный свѣтъ изломалъ на куски тьму ночи и съ тихимъ шорохомъ прячутся они во храмъ.

Съ той поры началось что-то, непонятное мнѣ: говорить со мной Антоній бариномъ, сухо, хмурится и къ себѣ не зоветъ. Книги, которыя далъ мнѣ читать, всѣ отобралъ. Одна изъ книгъ была русская исторія—очень удивляла она меня, но дочитать ее не успѣлъ я. Соображаю, чѣмъ бы я могъ обидѣть барина моего,—не вижу.

А начало его рѣчи осѣло въ памяти моей и тихонько живеть тамъ поверхъ всего, ничему не мѣшая.

— Ступай вонъ, ты, хамъ!

И ему откликнулся:

— Ты самъ.

Вскочилъ онъ, бутылки со стола повалились, посуда дребезжить, и что-то полилось торопливо, печальнымъ ручьемъ. Вышелъ я въ садъ, легъ. Ноетъ сердце мое, какъ простуженная кость. Тихо, и слышу я крики Антонія:

— Вонъ!

А женщина визгливо отвѣчаетъ:

— Не смѣй, дуракъ!

Потомъ лошадей на дворъ запрягали, и онъ, недовольно фыркая, гулко били копытами о сухую землю. Хлопали двери, шуршали колеса коляски, и скрипѣли ворота ограды. Ходилъ по саду Антоній и негромко зывалъ:

— Матвѣй! Ты гдѣ?

Вотъ его высокое тѣло въ черномъ двигается между яблонями, хватаясь руками за вѣтви, осыпаетъ на землю пахучій снѣгъ цвѣтовъ и бормочетъ:

— Ду-уракъ... эй!

И тащится, вьется по землѣ густая тяжелая тѣнь за нимъ.

Прележалъ я въ саду до утра, а утромъ явился къ отцу Исидору.

— Отдайте-ко паспортъ мой, ухожу я!

Удивился, даже подпрыгнулъ.

— Почему? Куда?

— По землѣ, но не знаю—куда,—говорю.

Онъ допрашиваетъ.

— Я,—моль,—ничего не буду объяснять.

Вышелъ изъ кельи его, сѣлъ около нея на скамью подь старой сосной,—нарочно тутъ сѣлъ, ибо на этой скамѣ выгоняемые и уходившіе изъ обители какъ бы для объявленія торчали. Ходить мимо братія, косится на меня, иные отплеваются: забылъ я сказать, что

былъ пущенъ слухъ, якобы Антоній-то въ любовники взялъ меня; послушники мнѣ завидовали, а монаси барину моему,—ну, и клеветали на обоихъ.

Ходить братія, поговариваетъ:

— Ага, выгнали и этого, слава тебѣ, Господи!

Отецъ Асафъ, хитренькій и злобненькій старичокъ, шпіонъ игумена, должность Христа ради юродиваго исполнявшій въ обители, началъ поносить меня гнуснѣйшими словами, такъ что я даже сказалъ ему:

— Уйди, старикъ, а то я тебя за ухо возьму и самъ прочь отведу!

Онъ, хотя и блаженъ мужъ былъ, но слова мои понялъ.

Потребовалъ меня глава обители и ласково говорить:

— Намекалъ я тебѣ, Матвѣй, сыне мой, что было бы лучше, если-бъ ты въ контору пошелъ, и се—былъ я правъ! И тако всегда старшіе! Развѣ, при строптивости твоей, можно выдержать тебѣ послушаніе келейника? Вотъ ты скверно изругалъ почтеннаго отца Антонія...

— Это онъ вамъ сказалъ?

— А кто же? Ты еще не говорилъ.

— А сказалъ онъ, какъ показывалъ мнѣ голую женщину?

Отецъ игуменъ со благочестивымъ страхомъ перекрестилъ меня и говорить, махая руками:

— Что ты, что ты, Господь съ тобой! Какая женщина? Это, не иначе, видѣніе твое, плотью, дьяволомъ искушаемой, созданное! Ай-ай-ай! Ты подумалъ бы—откуда въ мужскомъ-то монастырѣ женщина?

Захотѣлось мнѣ успокоить его.

— А кто же,—говорю,—портвейнъ, сыръ да икру вчера вамъ привезъ?

Еще больше удивляется онъ:

Гудить подъ ногами искателей вся земля и толкаетъ ихъ дальше—черезъ рѣки, горы, лѣса и моря,—еще дальше, всюду, гдѣ уединенно обитатели стоятъ, общая чудеса; всюду, гдѣ дышитъ надежда на что-то иное, чѣмъ эта горькая, трудная, тѣсная жизнь.

Поразило меня тихое смятеніе одинокихъ душъ и очеловѣчило; началъ я вникать—чего ищутъ люди? И стало мнѣ казаться все вокругъ потревоженнымъ и пошатнувшимся, какъ самъ я.

Многіе, какъ и я, ищутъ Бога, и не знаютъ уже, куда идти; и разсѣяли всю душу на путяхъ исканій своихъ, и уже ходятъ только потому, что не имѣютъ силъ остановить себя; носятся, какъ перья луковицъ по вѣтру, легкіе и бесполезные.

Эти—лѣнни своей побороть не могутъ и носятъ ее на плечахъ своихъ, унижаясь и живя ложью; тѣ же—охвачены желаніемъ все видѣть, но нѣтъ у нихъ силъ что-либо полюбить.

Вижу еще много пустого народа и грязныхъ жуликовъ, безстыдныхъ дармоѣдовъ, жадныхъ, какъ воши—много вижу—но все это только пыль позади толпы людей, охваченныхъ тревогой богоисканія.

И неудержимо влечетъ она меня за собой.

А вокругъ ея, словно чайки надъ рѣкой, крикливо и жадно мечутся разнообразно окрыленные челоѣки, поражая меня уродствомъ своимъ.

Однажды на Бѣлоозерѣ вижу челоѣчка среднихъ лѣтъ, весьма бойкаго; должно быть, зажиточенъ, одѣтъ чисто.

Расположился въ тѣни подъ деревьями, около него тряпки, банка мази какой-то, таѣ мѣдный,—и покрикиваетъ онъ, этотъ челоѣкъ:

— Православные! У кого ноги до язвъ натружены—подходи: вылѣчу! Даромъ лѣчу, по обѣту, принятому на себя, ради Господа моего!

Храмовой праздникъ въ Бѣлоозерѣ былъ, богомолы

со всѣхъ сторонъ дождемъ идутъ; подходятъ къ нему, садятся, развязываютъ онучи, онъ имъ ноги моетъ, смазываетъ раны, поучаетъ:

— Эхъ, братъ, а и неразуменъ ты! У тебя лапоть не по ногѣ великъ—развѣ можно въ такомъ ходить!

Человѣкъ въ большомъ лаптѣ тихо отвѣчаетъ:

— Мнѣ и этотъ Христа ради подали!

— Тотъ, кто подаль—онъ Богу угодилъ, а что ты въ такомъ лаптѣ шелъ, это глупость твоя, но не подвигъ, и Господомъ не зачтется тебѣ!

— Вотъ,—думаю,—хорошо знаетъ человѣкъ Божьи обороты!

Подходить къ нему женщина, прихрамывая.

— Ай, молодка! — кричитъ онъ.—Это не мозоль у тебя, а, пожалуй, французская болѣзнь! Это, православные, заразная болѣзнь, цѣлыя семьи погибаютъ отъ нея, прилипчива она!

Бабенка сконфузилась, встала, идетъ прочь, опутивъ глаза, а онъ зазываетъ:

— Подходи, православные, во имя святаго Кирилла!

Подходятъ люди, разуваются, покряхтывая, онъ имъ моетъ ноги, а они говорятъ ему:

— Спаси тебя Христосъ!

Но вижу я, что его благообразное лицо судороги подергиваютъ, и ловкія руки человѣка трясутся. Скоро онъ прикрылъ лавочку благочестія своего, быстро убѣжавъ куда-то.

На ночь отвелъ меня монашекъ въ сарай, вижу—и этотъ человѣкъ тамъ же; легъ я рядомъ съ нимъ и началъ тихій разговоръ:

— Что это вы, почтенный, вмѣстѣ съ черными людьми ночуете? Судя по одеждѣ вашей, мѣсто ваше—въ гостинницѣ.

— А мною,—отвѣчаетъ,—обѣтъ такой данъ: быть среди послѣднихъ—послѣднимъ на три мѣсяца цѣлыхъ! Желая подвигъ богомольческій совершить

вполнѣ,—пусть вмѣстѣ со всѣми и вошь меня ѣстъ! Еще то ли я дѣлаю! Я, вотъ, ранъ видѣть не могу, тошнить меня, а—сколь ни противно—каждый день ноги странника моему! Трудна служба Господу, велика надежда на милость Его!

Потерялъ я охоту разговаривать съ нимъ, притворился, будто заснулъ, лежу и думаю:

— Не тучна его жертва Богу своему!

Зашуршало сѣно подъ сосѣдомъ, всталъ онъ осторожно на колѣни и молится, сначала безмолвно, а потомъ, слышу я шопотъ:

— Ты же, святителю Кирилле, предстань Господу за грѣшника, да уврачуешь Господь язвы и вереды мои, яко же и я врачую язвы людей! Господи Всевидящій, оцѣни труды мои и помилуй меня! Жизнь моя—въ руцѣ Твоей; знаю—неистовъ была азъ во страстѣхъ, но уже довольно наказанъ Тобою; не отринь, яко пса, и да не отженуть мя люди Твои, молю Тя, и да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою!

Тутъ—человѣкъ Бога съ лѣкаремъ спуталъ,—нестерпимо противно мнѣ. Зажалъ уши пальцами.

А когда отмолился онъ, то вынулъ изъ сумы своей ѣду и долго чавкалъ, подобно борову.

Множество я видѣлъ такихъ людей. Ночами они ползаютъ передъ Богомъ своимъ; а днемъ безжалостно ходятъ по грудямъ людей. Низвели они Бога на должность укрывателя мерзостей своихъ, подкупаютъ Его и торгуются съ Нимъ:

— Не забудь, Господи, сколько далъ я Тебѣ!

Слѣпые рабы жадности своей, возносятъ они ее выше себя, поклоняются безобразному идолу темной и трусливой души своей и молятся ему:

— Господи! да не яростію Твоею обличиши мене, ниже гнѣвомъ Твоимъ накажеша мене!

Ходятъ, ходятъ по землѣ, какъ шпионы Бога своего и судьи людей; зорко видятъ всѣ нарушенія правилъ

церковныхъ; суетятся и мечутся, обличаютъ и жалуются:

— Гаснетъ вѣра въ людяхъ, увѣ намъ!

Одинъ мужчина особенно смѣшилъ меня ревностью своей—шли мы съ нимъ изъ Переяславля въ Ростовъ, и всю дорогу онъ кричалъ на меня:

— Гдѣ святой уставъ Ѳедора Студита?

Человѣкъ онъ былъ сытый, здоровый, чернобородъ и румянь, деньжонки имѣлъ и на ночлегахъ съ бабами путался.

— Я,— говорить,— видя разрушеніе закона и развратъ людской, душевнаго покоя лишился; дѣло мое—кирпичный заводъ—бросилъ на руки сыновьямъ, и вотъ уже четыре года хожу, наблюдая вездѣ: ужасъ обуреваетъ душу мнѣ! Завелись мыши въ ризницѣ духовной, и распадаются подъ зубами ихъ крѣпкія ризы закона,—озлобляется народъ противъ церкви, отпадаетъ отъ груди ея въ мерзостныя ереси и секты,—а что противъ этого дѣлаетъ церковь, Бога ради воинствующая? Приумножаетъ имущество и раститъ враговъ! Церковь должна жить въ нищетѣ, яко бѣдный Лазарь, дабы народишко-то видѣлъ, что воистину священна есть нищета, заповѣданная Христомъ; видѣлъ бы онъ это и не рыпался, не лѣзъ бы на чужое-то имущество! Какая иная задача у церкви? Держи народишко въ крѣпкой уздѣ—эко!

Мыслей своихъ законники эти, видя непрочность закона, скрывать не умѣютъ и безстыдно выдаютъ тайное свое.

На Святыхъ Горахъ купецъ одинъ—знаменитый путешественникъ, описывающій хожденія свои по святымъ мѣстамъ въ духовныхъ журналахъ—проповѣдывалъ народу странному смиреніе, терпѣніе и кротость.

Горячо говорилъ, даже до слѣзъ. И умоляетъ, и грозитъ, народъ же слушаетъ его молча, опутивъ головы.

Ввязался я въ рѣчь его, спрашиваю:

— А ежели явное беззаконіе—тоже терпѣть его?

— Терпи, милый! — кричитъ онъ. — Обязательно терпи! Самъ Иисусъ Христосъ терпѣлъ, насъ и нашего спасенія ради!

— А какъ же,—моль,—мученики и отцы церкви, Ивану Златоусту подобныя,—не стѣснялись они, но обличали даже царей?

Ошалѣлъ онъ, просто неестественно загорѣлся, ногами топаетъ на меня.

— Что болтаешь, смутьянъ! Кого обличали-то? Язычниковъ!

— Развѣ,—моль,—царица-то Евдоксія—язычница? А Иванъ Грозный?

— Не про то рѣчь! — кричитъ онъ и машетъ руками, какъ доброволецъ на пожарѣ.—Не о царяхъ говори, а о народѣ! Народъ—главное! Суемудрствуетъ онъ, страха въ немъ нѣтъ! Звѣрь онъ, церковь укрощать его должна—вотъ ея дѣло!

Но хотя и просто говорили они, а не понималъ я въ то время этой заботы о народѣ, хотя ясно чувствовалъ въ ней нѣкій страхъ; не понималъ, ибо, духовно слѣпъ, народа не видѣлъ.

Послѣ спора съ этимъ писателемъ, подошло ко мнѣ нѣсколько человѣкъ и говорятъ, какъ бы ничего добраго не ожидая отъ меня:

— Есть тутъ одинъ паренекъ,—не желаешь ли съ нимъ потолковать?

И во время вечерни устроили мнѣ на озерѣ въ лѣсу собесѣдованіе съ нѣкимъ юношей. Былъ онъ темный какой-то, словно молніей опаленный; волосы коротко острижены, сухи и жестки; лицо—однѣ кости, и между ними жарко горятъ каріе глаза: кашляетъ парень непрерывно и весь трепещетъ. Смотритъ онъ на меня явно-враждебно и, задыхаясь, говорить:

— Сказали мнѣ про тебя люди сіи, что отрицаешь ты терпѣніе и кротость. Чего ради, объясни?

Не помню, что я тогда говорилъ и какъ спорилъ съ нимъ; помню только его измученное лицо и умирающій голосъ, когда онъ кричалъ мнѣ:

— Не для сей жизни мы, но — для будущей! Небо наша родина, ты это слышалъ?

Выдвинулся противъ него солдатъ хромой, потерявшій ногу въ текинской войнѣ, и говорить сурово:

— Мое слово, православные люди, таково: гдѣ меньше страха, тамъ и больше правды!

И, обращаясь къ юношѣ, сказалъ:

- Коли тебѣ страшно передъ смертью — это твое дѣло, но другихъ — не пугай! Мы и безъ тебя напуганы довольно! А ты, рыжеватый, говори!

Онъ скоро исчезъ, юноша этотъ, а народъ же — человекъ съ полсотни — остался, слушаютъ меня. Не знаю, чѣмъ я могъ въ ту пору вниманіе къ себѣ привлечь, но было мнѣ пріятно, что слушаютъ меня, и говорилъ я долго, въ сумракъ среди высокихъ сосенъ и серьезныхъ людей.

И тогда, помню, слились для меня всѣ лица въ одно большое грустное лицо; задумчиво оно и упрямо показалось мнѣ, на словахъ — нѣмотно, но въ тайныхъ мысляхъ — дерзко, и въ сотни глазъ его, — видѣлъ я, — неугасимо горитъ огонь, какъ бы родной душѣ моей.

Но потомъ стерлось это единое лицо многихъ изъ памяти моей, и только долгое время спустя понялъ я, что именно сосредоточенная на одной мысли воля народа возбуждаетъ въ хранителяхъ закона заботы о немъ и страхъ предъ нимъ. Пусть еще не народилась эта мысль и неуловима она, но уже оплодотворенъ духъ сомнѣніемъ въ незыблемости враждебнаго закона — вотъ откуда тревога законниковъ! Видятъ они этотъ упрямо спрашивающій взглядъ; видятъ — ходитъ народъ по землѣ тихъ и нѣмъ, — и уже чувствуютъ незримые лучи

мысли его, понимаютъ, что тайный огонь безмолвныхъ думъ превращаетъ въ пепель законы ихъ, и что возможно, — возможно! — иной законъ!

Чувствуютъ они это тонко, какъ воры сторожкое движеніе просыпающагося хозяина, домъ котораго грабили въ ночи, и знаютъ они, что, если народъ откроетъ глаза, перевернется жизнь вверхъ лицомъ къ небесамъ.

Нѣтъ Бога у людей, пока они живутъ разсѣянно и во враждѣ. Да и зачѣмъ онъ, Богъ живой, сытому? Сытый ищетъ только оправданія полноты желудка своего въ общемъ голодѣ людей.

Смѣшна и жалка его жизнь, одинокая и отовсюду окруженная вѣяніемъ ужасовъ.

Какъ-то разъ замѣчаю я: наблюдаетъ за мною нѣкій старичокъ — сѣденькій, маленькій и чистый, какъ голая кость. Глаза у него углубленные, словно чего-то утрапились; сухъ онъ весь, но крѣпокъ, подобно козленку, и быстръ на ногахъ. Всегда онъ жметъ къ людямъ, всегда залѣзаетъ въ толпу, — бочкомъ живетъ, — и заглядываетъ въ лица людей, точно ищетъ знакомаго. Хочется ему чего-то отъ меня, а не смѣетъ спросить, и жалка мнѣ стала эта робость его.

Иду я въ Лубны, къ Аванасію-сидящему, а онъ, бѣлой палочкой шагъ размѣривая, безшумно стелется по дорогѣ вслѣдъ за мной.

Спрашиваю:

— Давно странствуешь, дѣдушка?

Обрадовался онъ, вскинуть голову, хихикаетъ.

— Девять лѣтъ ужъ, милый, девять лѣтъ!

— Али, — молъ, — великъ грѣхъ несешь?

— Гдѣ, — говоритъ, — всѣхъ-мѣра грѣху установлена? Одинъ Господь знаетъ мои грѣхи!

— А все-таки, что надѣлалъ?

Смѣюсь я, и онъ улыбается.

— Да, будто, ничего! Жилъ вообще, какъ всѣ. Сибирскій я, изъ-подъ Тобольска, ямщикомъ въ моло-

дости былъ, а послѣ дворъ постоянный держалъ, трактиръ тоже... лавка была...

— Ограбилъ, что ли, кого?

Испугался дѣдъ.

— Зачѣмъ? Отъ этого Богъ спасъ... что ты!

— Я,—моль,—шучу. Вижу—идетъ маленькій чело-
вѣкъ, думаю—куда ему большой грѣхъ сдѣлать!

Пріосанился старичокъ, потряхнулъ головкой.

— Душа-то, чай, у всѣхъ одной величины,—говорить,—и одинаково дьяволу любезна! А скажи мнѣ, какъ ты о смерти думаешь? Вотъ ты на ночлегѣ говорилъ все: „жизнь, жизнь“, а какъ же, а гдѣ же смерть?

— Тутъ,—моль,—гдѣ-нибудь!

Погрозилъ онъ мнѣ пальцемъ смѣшно таково и говорить:

— То-то и есть! Всегда она тутъ, да!

— Ну, такъ что?

— А—то!

И, поднимаясь нацыпочки, почти шепчетъ мнѣ въ ухо:

— Она—всесильна, вѣдь! Самъ Иисусъ Христосъ не избѣгъ. Пронеси, говорить, мимо чашу эту, а Отецъ небесный и Его—не пронеси, не могъ, однако! Сказано: смертушка придетъ—и солнышко умереть, да!

Разговорился мой старичокъ, словно ручей съ горы побѣждалъ:

— Надо всѣмъ она вѣсть, а человѣкъ въ родѣ какъ по жердочкѣ надъ пропастью идетъ; она крыломъ махъ! — и человѣка нѣтъ нигдѣ! О, Господи! „Силою Твоею да укрѣпится міръ“, — а какъ ему укрѣпиться, ежели смерть поставлена превыше всего? Ты и разумомъ смѣлъ, и книгъ много съѣлъ, а живешь пока цѣлъ, да!

Смѣется онъ, а на глазахъ у него—слезы!

Что я ему объясню? Никогда я о смерти не думалъ, да и теперь мнѣ некогда.

А онъ подпрыгиваетъ, заглядывая мнѣ въ лицо

побѣлѣвшими глазами, бороденка у него трясется, лѣвую руку за пазуху спряталъ, и все оглядывается, словно ждетъ, что смерть изъ-за куста схватитъ за руку его, да и метнетъ во адъ. И я тоже удивленно поглядываю на него.

Вокругъ—жизнь кипитъ: земля покрыта изумрудной пѣной травъ, невидимо жаворонки поютъ, и все растеть къ солнцу въ разноцвѣтныхъ яркихъ крикахъ радости.

— Какъ,—молъ,—ты дошелъ до такихъ мыслей? — спрашиваю я попутчика.—Хворалъ, что ли, сильно?

— Нѣтъ,—говоритъ,—я до сорока семи лѣтъ спокойно и довольно жилъ! А тутъ у меня жена померла, и сноха удавилась,—обѣ въ одинъ годъ пропали!

— А ты не самъ ли,—молъ,—сноху-то въ петлю загналъ?

— Нѣтъ,—говоритъ,—это она отъ распутства! Я ее не трогалъ, нѣтъ! Да ежели бы и жилъ я съ ней—это вдовому прощается: я—не попъ, а она—не чужая мнѣ! А я и при женѣ, какъ вдовый жилъ: четыре года хворала жена-то у меня, съ печи не слѣзая; умерла—такъ я даже перекрестился... слава Богу — свободенъ! Еще разъ жениться хотѣлъ, и вдругъ задумался: живу — хорошо, всѣмъ доволенъ, а надо умирать; это зачѣмъ же? Смутился! Сдалъ все сыну и—пошелъ вотъ! На ходу-то, думаю, не такъ замѣтно, что къ могилѣ идешь,—пестро все, мелькаетъ и какъ-будто въ сторону манить отъ кладбища. Однако—все равно!

Спрашиваю я его:

— Тяжело тебѣ, дѣдъ?

— Ой, милый, такъ-то ли страшно—и сказать не могу! Днемъ стараюсь на людяхъ держаться,—все какъ-будто и загородишься ими, смерть—слѣпа, авось не разглядитъ меня или ошибется, другого возьметъ! А вотъ ночью, когда всякій остается ничѣмъ не скрытъ, жутко безо сна лежать! Такъ тебѣ и кажется — вѣтъ надъ тобою черная рука, касается груди, ищетъ—тутъ ли ты?

Играетъ сердцемъ, какъ кошка мышью, а оно боится, а оно трепыхается... ой! Приподнимешься, оглянешься—вокругъ люди лежать, а встануть ли—неизвѣстно! Это бываетъ, она и гуртомъ беретъ: у насъ въ селѣ цѣлое семейство—мужъ, жена и двѣ дѣвоньки—въ банѣ отъ угара померли!

Губы у него трясутся, будто онъ улыбається, а изъ глазъ мелкія слезы текутъ.

— Еще кабы въ одночасье скончаться, али—во снѣ, а какъ нападетъ болѣзнь, да и начнетъ понемножку грызть!

Сморщился онъ, съѣжился, сталъ на плѣсень похожъ; бѣжитъ, подпрыгиваетъ, глаза погасли, и тихонько бормочетъ, не то мнѣ, не то себѣ:

— Господи! Хоть бы комарикомъ пожить на землѣ! Не убій, Господи! Хоть бы клопикомъ, али малымъ паучкомъ!

— Эхъ ты, жалость!—думаю.

А на привалѣ, на людяхъ, — ожилъ и сейчасъ же опять о своей хозяйкѣ—о смерти—заговорилъ, бойко таково. Убѣждаетъ людей: умрете, дескать, исчезнете въ неизвѣстный вамъ день, въ невѣдомый часъ,—можетъ быть, черезъ три версты отъ этого мѣста громомъ васъ убьетъ.

На иныхъ—тоску наводитъ; другіе—сердятся, ругаютъ его, а одна бабочка молодая замѣтила:

— Туга мошна, вотъ и смерть тошна!

И такъ зло сказала она это, что замѣтилъ я ее, а старичокъ, смерти преданный, осѣлся.

Всю дорогу до Лубенъ утѣшалъ онъ меня и, во истину, до смерти надоѣлъ! Много видѣлъ я такихъ, кои отъ смерти бѣгаютъ, глупо играя въ прятки съ ней. Удрученные страхомъ и среди молодыхъ есть — эти еще гаже стариковъ, и всѣ они, конечно, безбожники. Въ душѣ у нихъ, какъ въ печной трубѣ, черно, и всегда тамъ страхъ посвистываетъ,—даже и въ тихую

погоду свистить. Мысли ихъ подобны старымъ богомолкамъ: топчутся по землѣ, идутъ, не зная куда, попираютъ слѣпо живое на пути, имя Божіе помнятъ, но любви къ Нему не имѣютъ и ничего не могутъ хотѣть. Только развѣ одно ихъ занимаетъ: внушить бы свой страхъ людямъ, чтобы люди приняли и приласкали ихъ, нищихъ.

Но они подходятъ къ людямъ не за тѣмъ, что жаждутъ вкусить меда, а чтобы излить въ чужую душу гнилой ядъ тлѣнія своего. Самолюбны они и великіе безстыдники въ ничтожествѣ своемъ; подобны они тѣмъ нищимъ уродамъ, кои во время крестныхъ ходовъ по краямъ дорогъ сидятъ, обнажая предъ людьми раны и язвы, и уродства свои, чтобы, возбудивъ жалость, мѣдную копейку получить.

Ходятъ они, пытаются всюду посѣять темныя сѣмена смятенія, стонуть и желаютъ услышать отвѣтный стонъ, а вокругъ ихъ вздымается могучій валъ, валъ скромныхъ богоискателей, и разноцвѣтно пылаетъ горе человѣческое.

Вотъ хоть бы молодка эта, хохлушка, что замѣтила старику насчетъ тугой мошны. Молчитъ она, зубы сжагы, темное отъ загара лицо ея сердито, и въ глазахъ острый гнѣвъ. Спросишь ее о чемъ-нибудь — отвѣчаетъ рѣзко, точно ножомъ ткнуть.

— Ты бы, милая,—говорю,—не чуралась меня, а сказала бы горе-то... Можетъ, легче будетъ тебѣ!

— Что вы хотите отъ меня?

— Да ничего не хочу, не бойся!

Вспыхнула она:

— Я и не боюсь, а противно мнѣ!

— Чѣмъ же я противенъ?

— А что пристааете? Я народъ покричу!

И такъ она всѣхъ брыкаетъ,—старыхъ, молодыхъ, и женщинъ тоже.

— Ты мнѣ не нужна,—говорю,—а нужно мнѣ горе твое, хочу я знать все, чѣмъ люди мучаются.

Сбоку поглядѣла на меня и отвѣчаетъ:

— До другихъ идите! Всѣ бѣдуютъ, будь они прокляты!

— За что же проклинять?

— А такъ я хочу!

Кажется она мнѣ похожей на кликушу.

— За кого же ты молиться идешь?—говорю.

Усмѣхнулась она всѣмъ лицомъ, пошла тише и говорить, какъ будто не мнѣ:

— Прошлой весной мужъ на Днѣпрѣ ушелъ, дрова сплавлять, и пропалъ! Можетъ—утонулъ, можетъ—другую жену нашелъ, кто знаетъ? Свекоръ и свекровь люди бѣдные, злые. Двое дѣтокъ у меня—мальчикъ да дѣвочка,—чѣмъ мнѣ ихъ кормить? Я же работала, переломиться готова была, а нѣтъ работы, да и что баба можетъ выработать? Свекоръ ругаетъ: „ты намъ съ дѣтьми твоими камень на шею, объѣла ты насъ, опила!“ А свекровь уговариваетъ: „ты же молодая, иди по монастырямъ, монахи до бабъ жадные, много денегъ наберешь“. Не могу я терпѣть голода дѣтокъ,—вотъ, хожу! Утопить ихъ, что ли? Вотъ и хожу!

Говорить, какъ во снѣ, сквозь зубы, невнятно, а глаза у нея кричатъ болью материнской.

— Сыночку уже четвертый годъ. Осипомъ зовутъ, а дочь Ганкой. Била я ихъ, когда они хлѣба просили, била! Я мѣсяцъ хожу—четыре рубля набрала. Монахи—жадные. Честно—больше заработала бы! О, дьяволы, дьяволы! Какою водой отмоемъ себя?

Надо что-нибудь сказать ей, я и говорю:

— Ради дѣтей—Богъ тебя простить!

Какъ она взоветъ!

— А что мнѣ въ томъ? Не виновата я Богу! Не простить—не надо; простить—сама не забуду, да! Въ аду—не хуже! Тамъ дѣтей не будетъ со мной!

- Эхъ,—думаю,—напрасно я ее растравилъ!

А она уже и остановиться не можетъ.

— Да и нѣтъ его, Бога для бѣдныхъ, нѣтъ! Когда мы за Зеленый Клинь, на Амуръ рѣку, собирались,—какъ молебны служили и просили, и плакали о помощи,—помогъ Онъ намъ? Маялись тамъ три года, и, которые не погибли отъ лихорадки—воротились нищіе. И батъка мой померъ, а матери по дорогѣ туда колесомъ ногу сломало, братья оба въ Сибири потерялись...

И лицо у нея окаменѣло. Хотя и суровая она, а такая серьезная, красивая, глаза темные, волосы густые. Всю ночь до утра говорили мы съ ней, сидя на опушкѣ лѣса сзади желѣзнодорожной будки, и вижу я,—все сердце у человѣка выгорѣло, даже и плакать не можетъ; только когда дѣтскіе годы свои вспоминала, то улыбнулась неохотно раза-два, и глаза ея мягче стали.

Думаю подъ рѣчь ея:

— Зарѣжетъ она, убьетъ кого-нибудь! Или жестокой блудницей станетъ—нѣтъ ей оборота никуда!

— Бога не вижу и людей не люблю! — говорить. Какіе это люди, если другъ-другу помочь не могутъ? Люди! Противъ сильнаго — овцы, противъ слабаго — волки! Но и волки стаями живутъ, а люди—всѣ врозь и другъ-другу враги! Ой, много я видѣла и вижу, погибнуть бы всѣмъ! Родятъ дѣтокъ, а растить не могутъ—хорошо это? Я вотъ—била своихъ, когда они хлѣба просили, била!

А наутро пошла она въ сторону отъ меня—продавать свое тѣло монахамъ—и, уходя, молвила злобно:

— Что же ты,—вмѣстѣ спали и сильнѣе ты меня, что же не попользовался даровымъ-то мясцомъ? Эхъ, ты!

Точно по щекамъ хлещетъ!

Я говорю ей:

— Напрасно ты обидѣла меня!

Потупилась она, а потомъ сказала:

— Хочется обидѣть человѣка, хочется даже и не виноватаго! Вонъ ты молодой еще, а высохъ весь, и уже сѣдые виски, — понимаю, что и ты горе носишь... А мнѣ—все равно! Никого уже не жалко. Прощай!

Ушла.

За шесть лѣтъ странствованій моихъ много видѣлъ я людей, озлобленныхъ горемъ: тлѣетъ въ нихъ неугасимая ненависть ко всему, и кромѣ зла—ничего не могутъ они видѣть. Видятъ злое и, словно въ жаркой банѣ, парятся въ немъ; какъ пьяницы вино—пьютъ желчь и хохочутъ, торжествуютъ.

— Наша правда: всюду зло, вездѣ несчастіе, нѣтъ мѣста человѣку внѣ его!

Впадаютъ въ дикое отчаяніе и, воспаленные имъ, развратничаютъ и всячески грязнятъ землю, какъ бы мстя ей за то, что родила она ихъ и должны они, рабы слабости своей, до дня смерти ползать безсильно по дорогамъ земли.

Возносятся они горе до высоты Бога своего и поклоняются ему, не желая видѣть ничего, кромѣ язвъ своихъ, и не слышать иного, кромѣ стоновъ отчаянія.

Жалко ихъ, ибо они уже какъ безумные, но и противно душѣ съ ними, когда видишь, что во всякое лицо готовы они метнуть желчный свой плевокъ и солнце поганили бы плевками, если-бъ могли.

Другіе же задавлены горемъ, запуганы имъ, молчать, прячутся жизни, маленькіе и робкіе, но не могутъ укрыться и служатъ глиной въ рукъ сильнаго—ими онъ замазываетъ щели въ стѣнахъ старой крѣпости своей.

Много лицъ и словъ врѣзалось въ память мою, великія слезы пролиты были предо мной, и не разъ бывалъ я оглушенъ страшнымъ смѣхомъ отчаянія; всѣ яды отвѣданы мною, пилъ я воды сотенъ рѣкъ. И не однажды самъ проливалъ горькія слезы безсилія.

Встала жизнь передо мной, какъ страшный бредъ и сонъ, какъ снѣжный вихрь тревожныхъ словъ и горячій дождь слезъ, неустанный крикъ отчаянія и мучительная судорога всей земли, болящей недоступнымъ разуму и сердцу моему стремленіемъ.

Стонетъ душа моя:

— Не то!

Мутно текутъ потоки горя по всѣмъ дорогамъ земли, и съ великимъ ужасомъ вижу я, что нѣтъ мѣста Богу въ этомъ хаосѣ разобщенія всѣхъ со всѣми; негдѣ проявиться силѣ Его, не на что опереться стопамъ,—изъѣденная червями горя и страха, злобы и отчаянія, жадности и безстыдства—разсыпается жизнь во прахъ, разрушаются люди, отъединенные другъ отъ друга и обезсиленные одиночествомъ.

Спрашиваю:

— Неужели Ты, дѣйствительно,—только сонъ души человѣческой и надежда, созданная отчаяніемъ въ темный часъ безспія?

Вижу: у каждаго свой Богъ, и каждый Богъ не многимъ выше и красивѣе слуги и носителя своего. Давить это меня. Не Бога ищетъ человѣкъ, а забвенія скорби своей. Вытѣсняетъ горе отовсюду человѣка, и уходитъ онъ отъ себя самого, хочетъ избѣжать дѣянія, боится участія своего въ жизни и все ищетъ тихій уголъ, гдѣ бы скрыть себя. И уже чувствую въ людяхъ не святую тревогу богоисканія, но лишь страхъ предъ лицомъ жизни; не стремленіе къ радости о Господѣ, а заботу, какъ избыть печаль свою.

Кричитъ душа моя:

— Не то!

Бывало, видишь человѣка: онъ серьезно задумался, и хорошо, чисто горятъ его глаза... Встрѣтишь его разъ и два—все тотъ же, а на третій или четвертый разъ, смотришь—онъ озлобленъ или пьянъ, и уже не скромнень, а нахалень, грубъ, богохульствуетъ.

И не понимаешь, отчего разорился человѣкъ. обо

что разбилъ себя? Всѣ какъ бы слѣпы и легко спотыкаются на пути; рѣдко слышишь живое одухотворенное слово; слишкомъ часто люди говорятъ по привычкѣ чужія слова, не понимая ни пользы, ни вреда мысли, заключенной въ нихъ.

Подбираютъ рѣчи блаженныхъ монаховъ, проріцанія отшельниковъ и схимниковъ, дѣлятся ими другъ съ другомъ, какъ дѣти черепками битой посуды въ играхъ своихъ. Наконецъ, вижу не людей, а обломки жизни разрушенной, — грязная пыль человѣческая носится по землѣ, и сметаешь ее разными вѣтрами къ папертямъ церквей.

Безчисленно кружится народъ около мощей, чудотворныхъ иконъ, купается въ источникахъ — и всюду ищетъ только самозабвенія.

подавляли меня крестные ходы, — чудотворныя иконы еще въ дѣтствѣ погибли для меня, жизнь въ монастырѣ окончательно разбила ихъ. Гляжу, бывало, какъ люди огромнымъ сѣрымъ червемъ ползутъ въ пыли дорожной, гонимые невѣдомой мнѣ силой, и возбужденно кричатъ другъ-другу:

— Прибавь шагу! Шагу!

А надъ ними, пригибая головы ихъ къ землѣ, плыветъ желтой птицей икона, и кажется, что тяжесть ея непомѣрно велика для всѣхъ.

Въ пыль и грязь, подъ ноги толпы, комьями падаютъ кликуши, бьются, какъ рыбы; слышенъ дикій визгъ — льются люди черезъ трепетное тѣло, топчутъ, пинаютъ его и кричатъ образу Матери Бога:

— Радуйся, Пресвятая!

Лица у всѣхъ искаженные, одичалыя отъ напряженія, мокрыя отъ пота, черныя отъ грязи, — и весь этотъ ходъ толпы, безрадостное пѣніе усталыхъ голосовъ, глухой топотъ ногъ — обижаетъ землю, омрачаетъ небеса.

А по краямъ дороги, подъ деревьями. какъ двѣ

пестрыя ленты, тянутся нищіе: сидятъ и лежатъ больныя, увѣчныя, покрытыя гнойными язвами, безрукіе, безногіе, слѣпыя... Извиваются по землѣ истощенныя тѣла; дрожатъ въ воздухѣ уродливыя руки и ноги, простираясь къ людямъ, чтобы разбудить ихъ жалость. Стонутъ, воютъ нищіе, горятъ на солнцѣ ихъ раны; просятъ они и требуютъ именемъ Божиимъ копейки себѣ; много лицъ безъ глазъ, на иныхъ глаза горятъ какъ угли; неустанно грызетъ боль тѣла и кости, они подобны страшнымъ цвѣтамъ.

Видишь нѣкое гоненіе людей и враждебна мнѣ сила, коя влачить ихъ въ пыли и грязи,—куда?

— Не то!

Былъ въ дивномъ городѣ Кіевѣ, поражался красотою и величіемъ древняго гнѣзда русскаго.

Пробовалъ бесѣдовать съ однимъ монахомъ, — считался онъ умницей.

Говорю ему: такъ,—моль,—и такъ, не могу понять законовъ, по которымъ строится жизнь людей.

— Кто таковъ?

— Крестьянинъ.

— Грамотенъ?

— Немного.

— Не по башкѣ шапка—грамота для васъ!—строго говоритъ онъ.

Видю,—дѣйствительно,—умникъ.

— Штундистъ?—спрашиваетъ онъ.

— Нѣтъ.

— Ага! Духоборъ?

— Почему?

— По мыслямъ.

Лицо у него розоватое, какъ ветчина, а глаза маленькіе.

— Ежели,—говорить,—Бога ищешь ты, то, конечно, затѣмъ, чтобы низвергнуть его!

И грозитъ мнѣ пальцемъ:

— Знаю я васъ! А, вотъ, не желаешь ли прочесть это разъ „Вѣру“? Вотъ, прочитай-ко! И всѣ глупости твои исчезнутъ, яко дымъ. А вообще васъ бы, еретиковъ, въ Абиссинію надо ссылатъ, въ Африку, ко эіопамъ, да! Тамъ бы вы живо отъ жары передохли!

Спрашиваю я его:

— А вы были тамъ, въ Абиссиніи этой?

— Былъ,—говорить.

— А вотъ не издохли?

Разсердился монахъ.

Встрѣтилъ я надъ Днѣпромъ человѣка: сидитъ онъ на берегу противъ Лавры и камешки въ воду бросаетъ; лѣтъ пятьдесятъ ему, бородатый, лысый, лицо морщинами исчерчено, голова большая; я въ то время по глазамъ уже видѣлъ серьезныхъ людей,—подошелъ къ нему, сѣлъ рядомъ.

Вечеръ былъ. Торопливо катитъ воды свои мутный Днѣпръ, а за нимъ вся гора расцвѣла храмами: трепещетъ на солнцѣ кичливое золото церковныхъ главъ, оіають кресты, даже стекла оконъ, какъ драгоценные камни горятъ,—кажется, что земля разверзла нѣдра и съ гордой щедростью показываетъ солнцу сокровища свои.

А человѣкъ рядомъ со мною говорить негромко и печально:

— Закрѣтъ бы всю Лавру стекломъ, монаховъ выгнать вонъ, и никого не пускать туда,—нѣтъ уже людей, достойныхъ ходить среди этой красоты!

Словно сказка, къмъ-то мудрымъ и великимъ рассказанная, застыла тамъ за рѣкой; прибѣгаютъ издалека волны Днѣпра и радостно плещутъ, видя ее, но не гаснетъ въ удивленномъ пѣніи рѣки тихій голосъ человѣка.

— Какъ сильно было начато, какъ могуче строено! Какъ старый сонъ. вспоминаю я князя Владиміра.

Антонія, Θεодосія, богатырей русских—и жалко мнѣ чего-то.

Громко и радостно звонятъ многочисленные колокола на томъ берегу, но слышнѣе для меня грустныя думы о жизни.

— Не помнимъ мы никто родства своего. Я, вотъ, пошелъ истинной вѣры поискать, а теперь думаю: гдѣ человѣкъ? Не вижу человѣка. Казаки, крестьяне, чиновники, попы, купцы,—а просто человѣка, не причастнаго къ ежедневнымъ и обыкновеннымъ дѣламъ—не нахожу. Каждый кому-нибудь служить, каждому кто-нибудь приказываетъ. Надъ начальникомъ еще начальникъ, и уходитъ все это изъ глазъ въ недостижимую высоту. А тамъ скрытъ Богъ.

Ночь идетъ; посинѣла вода въ рѣкѣ, и кресты на церквахъ потеряли лучи. Человѣкъ бросаетъ въ рѣку камешки, а я уже не вижу круговъ отъ нихъ.

— Въ третьемъ году, — говоритъ онъ, — у насъ въ Макопѣ бунтъ былъ по случаю чумы на скотѣ. Вызваны были драгуны противъ насъ, и христіане убивали христіанъ. Изъ-за скота! Много народу погублено было. Задумался я, какой же вѣры мы, русскіе, если изъ-за воловъ смерти другъ-друга предаемъ, когда Богомъ нашимъ сказано: не убій?

Уплываетъ Лавра во тьму, точно въ гору уходитъ, какъ видѣніе. Шаритъ казакъ руками по землѣ вокругъ себя—ищетъ камней, находитъ и мечетъ ихъ въ рѣку. Звенить вода.

— Такъ-то, человѣче!—говоритъ казакъ, опустивъ голову.—Господень законъ—духовное млеко, а до насъ доходитъ только сыворотка. Сказано: „чистіи сердцемъ Бога узрять“—а развѣ оно, сердце твое, можетъ чисто быть, если ты не своей волей живешь? А коли нѣтъ у тебя свободной воли, стало быть, нѣтъ и вѣры истинной, а только одна выдумка.

Всталъ онъ, отряхнулся, посмотрѣлъ вокругъ, коренастый такой.

— Не свободны мы для Бога, вотъ что, думаю я!

Приподнялъ картузъ и пошелъ, а я остался, какъ пришить къ землѣ. Хочу овладѣть словами казака— не умѣю, а чувствую—есть въ нихъ правда.

Ласкаетъ меня южная темная ночь, а я думаю:

— Неужели только въ тоскѣ красота души человѣческой? Гдѣ тотъ стержень, вокругъ котораго вьется вихрь человѣковъ? Гдѣ смыслъ суеты этой?

Къ зимѣ я всегда старался продвинуться на югъ, гдѣ потеплѣй, а если меня на сѣверѣ онѣгъ и холодъ заставлялъ, тогда я ходилъ по монастырямъ. Сначала, конечно, косятся монахи, но покажешь себя въ работѣ— и они станутъ ласковѣе,—пріятно имъ, когда человѣкъ хорошо работаетъ, а денегъ не беретъ. Ноги отдыхаютъ, а руки да голова работаютъ. Вспоминаешь все, что видѣлъ за лѣто, хочешь выжать изъ этого бремени чистую пищу душѣ,—взвѣшиваешь, разбираешь, хочешь понять, что къ чему, и запутаешься, бывало, во всемъ этомъ до слезъ.

Чувствую, пресытился я стонами и скорбью земли, и блекнетъ дерзость духа моего; становлюсь я угрюмъ, молчаливъ, растеть во мнѣ озлобленіе на все и на всѣхъ. Временами охватывало меня темное уныніе: по недѣлямъ жилъ я, какъ сонный или слѣпой,—ничего не хочется, ничего не вижу. Сталъ думать: а не бросить ли мнѣ это хожденіе, да и жить, какъ всѣ, не загадывая загадокъ себѣ, смирно подчиняясь не мною установленному? День для меня темень, какъ и ночь, и одинокъ я на землѣ, словно мѣсяцъ въ небѣ, а освѣтить ничего не могу. Иной разъ какъ будто отойдешь въ сторону отъ себя и видишь: вотъ стоитъ на распутьи здоровый парень и всѣмъ онъ чужой, ничто ему не нравится, никому онъ не вѣритъ. Зачѣмъ онъ живетъ? Почему онъ отколотъ отъ міра?

И охладѣла душа...

Заходилъ я также въ женскіе монастыри—на недѣлю, на двѣ—и въ одномъ изъ нихъ, на Волгѣ, порубилъ себѣ ногу топоромъ, когда кололъ дрова. Лѣчитъ меня мать Феоктиста, добрая такая старушка; монастырекъ небольшой, но богатый; сестры все такія сытныя, важныя. Злятъ онѣ меня слащавостью своей, паточными улыбочками, жирными зобами.

Стою однажды за всенощной и слышу—клирошанка одна дивно поетъ. Дѣвица высокая, лицо разгорѣлось, глаза черныя, строгіе, губы яркія, голосъ большой и смѣлый,—поетъ она, точно спрашиваетъ, и чудится мнѣ въ этомъ голосѣ злая слеза.

Подживала нога у меня, собирался я уходить, и уже могъ работать. Вотъ, однажды, чищу дорожки, отгребая снѣгъ, идетъ эта клирошанка, тихо идетъ и—какъ застывшая. Въ правой рукѣ, ко груди прижатой, четки, лѣвая плетью вдоль тѣла повисла; губы закушены, брови нахмурены, лицо блѣдное. Поклонился я ей, дернула головой кверху и взглянула на меня такъ, словно я ей великое зло однажды сдѣлалъ.

Раззадорила она этимъ меня, да и не уважалъ я этихъ молодыхъ монахинь.

— Что,—говорю,—дѣвица, не легко, видно, жить?

Приостановилась она, вспыхнула.

— Какъ ты сказалъ?—говорить.

— Трудно,—молъ,—себя одолѣть?

А она мнѣ на это вдругъ и скажи, тихонько и со злобой:

— У, дьяволы!

И быстро ушла, черная, какъ обрывокъ тучи въ вѣтренный день.

Объяснить, зачѣмъ я это ей сказалъ, не умѣю: въ ту пору все чаще вспыхивали у меня такія мысли,—вспыхнетъ да и вылетитъ искрой въ глазъ кому-нибудь. Казалось мнѣ, что всѣ люди лгутъ, притворяются.

Черезъ нѣкоторое время на другой дорожкѣ снова вижу ее. И еще больше взяло меня зло: чего она тутъ закуталась въ черное, отъ чего прячется? Поравнялась она со мной, а я и говорю:

— Хочешь бѣжать отсюда?

Вздогнула дѣвица, голову вскинула, вытянулась вся, какъ стрѣла; я думалъ она, закричитъ.

Но идетъ мимо, и слышу я неожиданный отвѣтъ:

— Вечеромъ скажу.

Меня оторопь взяла; подумалъ бы, что ослышался, да она хоть и тихо сказала, но какъ въ колоколь ударила. И хотя смѣшно мнѣ, а смутился я, но потомъ успокоилъ себя, подумавъ, что озорничаетъ эта дерзкая.

Когда я разрубилъ ногу, отвели меня въ гостиницу, положили въ маленькой комнаткѣ подъ лѣстницей, да такъ и остался я въ ней жить.

Вечеромъ того дня лежу я на койкѣ и думаю, что надо мнѣ кончить бродяжью жизнь,—пойду въ какой-нибудь городъ и буду работать въ хлѣбопекарнѣ. О дѣвицѣ не хотѣлось думать.

Вдругъ тихонько стучать... Вскочилъ, отперъ—монахиня-старушка кланяется и говорить:

— Пожалуйте!

Понялъ — куда; ничего не спрашиваю, иду и грожусь:

— Вотъ какъ? Такъ я-жъ тебѣ, милая, душу-то встряхну!

Переходами да коридорами дошли мы до мѣста, открыла старуха дверь, толкнула меня впередъ, и шепчетъ:

— Я потомъ провожу...

Вспыхнула спичка, въ темнотѣ освѣтила знакомое лицо, слышу голосъ:

— Заприте дверь.

Заперъ. Нащупалъ печь, прислонился къ ней, спрашиваю:

— Огня—не будетъ?

Хихикнула дѣвица тихонько.

— Какого огня?—говорить.

— Ахъ ты,—думаю,—дрянь!

И молчу. Дѣвицу едва вижу, — во тѣмъ она, какъ темная туча ночью на облачномъ небѣ.

— Что же вы молчите?—спрашиваетъ она. Голосъ хозяйскій.

— Видно, богатая,—соображаю, и говорю:

— За вами слово!

— Вы это серьезно говорили, чтобы бѣжать?

Подумать я, какъ язвительнѣе отвѣтить, ей и, не сразу, спокойно отвѣчаю, подлецъ:

— Нѣтъ,—молъ,—я это благочестіе ваше пытаю.

Снова она спичку зажгла, вспыхнуло ея лицо, черные глаза смотреть дерзко. Жутко немного стало мнѣ. Присмотрѣлся къ темнотѣ, увидалъ, что стоитъ она, высокая и черная, среди комнаты и—странно прямо стоитъ.

— Благочестіе мое, — шепчетъ горячо, — пытаться не зачѣмъ, не для этого вы сюда позваны, а коли не понимаете—уходите вонъ...

Грубъ ея шопотъ, и не баловство слышу я въ немъ, а что-то серьезное. Въ стѣнѣ предо мною окно, какъ бы во глубину ночи ходъ прорубленъ,—непріятно видѣть его. Нехорошо мнѣ, чувствую, что въ чемъ-то ошибся, и все больше жутко, даже и ноги дрожать у меня. А она говорить:

— Бѣжать мнѣ некуда, я сюда дядей насильно отдана... жить здѣсь нѣтъ у меня терпѣнія, удавлюсь...

И замолчала, какъ въ яму сорвалась.

Совсѣмъ потерялся я, а она подвигается все ближе ко мнѣ и дышитъ тяжело.

— Чего же вы хотите?—говорю.

Вотъ она вплотъ подошла; рука ея у меня на плечѣ—

дрожить рука, и я тоже вздрагиваю, гнутся колѣни и тѣма въ горло мнѣ лѣзетъ, душитъ меня.

— Можетъ, кликуша?—думаю.

А она начала уже всхлипывать и шепчетъ, горячо дышитъ мнѣ въ лицо:

— Родила я сыночка — отняли его у меня, а меня загнали сюда и не могу я здѣсь быть! Они говорятъ — померъ ребеночекъ мой; дядя-то съ теткой говорятъ, опекуны мои. Можетъ, они убили, подкинули его, ты подумай-ко, добрый ты мой! Мнѣ еще два года во власти у нихъ быть до законнаго возраста, а здѣсь я не могу!

Такъ ее всю сподымя и бьютъ; чувствую я — вивовать предъ ней, жалко ее, но и боязно, похожа она на полоумную, вѣрю ей и нѣтъ.

А она шепчетъ, захлебываясь:

— Ребеночка хочу... Какъ беременна-то буду, выгонять меня! Нужно мнѣ младенца; если первый померъ — другого хочу родить, и ужъ не позволю отнять его, ограбить душу мою! Милости и помощи прошу я, добрый человѣкъ: помоги силой твоей, вороти мнѣ отнятое у меня... Повѣрь, Христа ради, — мать я, а не блудница, не грѣха хочу, а сына; не забавы — рожденія!

Былъ я какъ во снѣ. Повѣрилъ ей, — нельзя не повѣрить, коли женщина такъ встаетъ за право свое, что призываетъ незнакомаго ей и прямо говорить:

— Запрещаютъ мнѣ человѣка родить — помоги!

И вспомнилъ я невѣдомую мнѣ мать мою: можетъ, и она вотъ такъ же силой своей женской брошена была во власть отца моего? Обнялъ я ее, говорю:

— Прости меня, скверно я подумалъ о тебѣ... Ради Божьей Матери — прости!

Но когда, въ samozабвеніи оба, совершили мы съ нею святое брачное таинство, снова смутила меня лукавая мысль.

— А какъ обманула она и не съ первымъ со мною это творить?

Разсказываетъ она мнѣ жизнь свою: дочь слесаря, дядя у нея помощникъ машиниста, пьяный и суровый человѣкъ. Лѣтомъ онъ на пароходѣ, зимою въ затонѣ, а ей негдѣ жить. Отецъ съ матерью потонули во время пожара на самолетскомъ пароходѣ; тринадцати лѣтъ осталась сиротой, а въ семнадцать родила отъ какого-то барченка. Льется ея тихій голосъ въ душу мнѣ, рука ея теплая на шеѣ у меня, голова на плечѣ моемъ лежитъ; слушаю я, а сердце сосетъ подлый червякъ—сомнѣваюсь.

Забыли мы, что женщина Христа родила и на Голгоу покорно проводила его; забыли, что она мать всѣхъ святыхъ и прекрасныхъ людей прошлаго—и въ подлой жадности нашей потеряли цѣну женщинѣ, обращаемъ ее въ утѣху для себя, да въ домашнее животное для работы; оттого она и не родитъ больше спасителей жизни, а только уродцевъ сѣетъ въ ней, плодя слабость нашу.

Разсказываетъ про монастырь, слышу: не одна она насильно въ немъ живетъ. И вдругъ говорить, ласкаясь ко мнѣ:

— У меня здѣсь подружка—хорошая дѣвица, чистая, богатой семьи... ой, какъ трудно ей, зналъ бы ты! Вотъ и ей бы тоже забеременѣть: когда ее выгонять за это—она бы къ матери крестной ушла.

— Господи!—думаю я.—Вотъ несчастныя...

И еще разъ хрустнула вѣра моя во всевѣдѣніе Божіе и въ справедливость законовъ,—развѣ можно такъ ставить человѣка ради торжества закона?

А Христина тихонько шепчетъ на ухо мнѣ:

— Кабы ты и съ нею такъ же могъ...

Убила она меня этими словами, хоть ноги ей цѣлуй! Ибо—понимаю я, что такъ можетъ сказать только женщина чистая, цѣну материнства чувствующая. Со-

знался я въ сомнѣніяхъ своихъ предъ нею; оттолкнула она меня и тихонько заплакала во тьмѣ, а я уже и утѣшать ее не смѣю.

— Думаешь, не стыдно мнѣ было позвать тебя?— говоритъ она, упрекая.—Этакой красивой и здоровой—легко мнѣ у мужчины ласку, какъ милостыню, просить? Почему я подошла къ тебѣ? Вижу, человѣкъ строгій, глаза серьезные, говоритъ мало и къ молодымъ монахинямъ не лѣзаетъ. На вискахъ у тебя волосъ сѣдой. А еще, не знаю почему, показался ты мнѣ добрымъ, хорошимъ. И когда ты мнѣ злобно такъ первое слово сказалъ — плакала я; ошиблась, думаю. А потомъ, все-таки, рѣшила, Господи, благослови!—и позвала.

— Прости меня,—говорю.

Поцѣловала.

— Богъ простить!

Тутъ старушка стучить въ дверь, шепчетъ:

— Расходитесь, къ заутрени ударятъ сейчасъ.

И, когда провожала меня переходами, говорить:

— Вы бы дали рубликъ мнѣ!

Едва я не зашибъ ее.

День пять прожилъ я съ Христей, а больше невозможно было: стали клирошанки и послушницы сильно приставать, да и хотѣлось мнѣ побыть одному, одумать этотъ случай. Какъ можно запрещать женщинѣ родить дѣтей, если такова воля ея и если дѣти всегда были, есть и будутъ началомъ новой жизни, носителями новыхъ силъ?

Было и еще одно, чего долженъ я былъ избѣжать; показала мнѣ Христя подругу свою: тоненькая дѣвочка, бѣлокурая и голубоглазая, похожа на Ольгу мою. Личико чистое, и съ великой грустью смотреть она на все. Потянуло меня къ ней, а Христя все уговариваетъ. Для меня же тутъ дѣло иначе стояло: вѣдь Христина не дѣвушка, а Юлія невинна, стало быть, и мужъ ея долженъ быть таковъ. И не имѣлъ я вѣры въ себя,

не зналъ, кто я такой; съ Христей это мнѣ не мѣшало, а съ той—могло помѣшать; почему—не знаю, но могло.

Простился я съ Христей; всплакнула она немного, просила писать ей, хотѣла извѣстить, когда забеременеетъ и тайный адресокъ дала. Вскорѣ послѣ разлуки написалъ я ей—отвѣтила хорошимъ письмомъ; еще написалъ—молчать. И уже года черезъ полтора, въ Задонѣ, получилъ я ея письмо—долго оно лежало на почтѣ. Въ томъ письмѣ извѣщала она, что родился у нея ребенокъ, сынъ, Матвѣй, веселъ и здоровъ, и что живетъ она у тетки, а дядя померъ, опился. Теперь, пишетъ, я сама себѣ госпожа, и коли ты придешь—былъ бы принять съ радостью. Захотѣлось мнѣ сына увидеть и случайную жену мою, но въ то время выходилъ я на вѣрную дорогу и—отказалъ ей: не могу,—моль,—послѣ приду.

А послѣ она замужъ за торговца книгами и картинами вышла, и въ Рыбинскъ уѣхала жить.

Первый разъ въ Христинѣ увидалъ я человѣка, который не носитъ страха въ своей душѣ и готовъ бороться за себя всей силой. Но тогда не оцѣнилъ этой черты по великой цѣнѣ ея.

Послѣ случая съ Христиной пробовалъ я работать въ городѣ, да не по недугу оказалось это мнѣ, тѣсно и душно. Народъ мастеровой не нравится наготово души своей и открытой манерой отдавать себя во власть хозяину: каждый всѣмъ своимъ поведеніемъ какъ бы кричитъ:

— На-те, вотъ, жрите тѣло мое, пейте кровь, некуда мнѣ дѣваться на землѣ!

Тоскливо съ ними: пьютъ они, ругаются между собою зря, поютъ заунывные пѣсни, горятъ въ работѣ день и ночь, а хозяева грѣютъ свой жиръ около нихъ. Въ пекарнѣ тѣсно, грязно, спятъ люди, какъ собаки; водка да развратъ—вся радость для нихъ. Заговорю я о неустройствѣ жизни—ничего, слушаютъ, грустятъ,

соглашаются; скажу: Бога,—моль,—надо намъ искать!—вдыхаютъ они, но не прочно пристають къ нимъ мои слова. Иногда вдругъ начнутъ издѣваться надо мной, непонятно, почему. А издѣваются зло.

Городовъ я не любилъ. Жадный шумъ ихъ и эта безшабашная торговля всѣмъ—несносны были мнѣ; обалдѣвшіе отъ суеты люди города—чужды. Кабаковъ—избытокъ, церкви—лишнія, построены горы домовъ, а жить тѣсно; людей много и всѣ—не для себя: каждый привязанъ къ дѣлу и, видимо, всю жизнь бѣгаетъ по одной линіи, какъ песь на цѣпи.

Во всѣхъ звукахъ — утомленіе слышу; даже звонъ колокольный безнадежно звучить, и всею душой моею чувствую я—не такъ все сдѣлано, не то!

Иной разъ самъ надъ собой смѣюсь: ишь, какой уставщикъ живетъ! Но хоть и смѣшно, да не радостно: вижу я только ошибку во всемъ, недоступна она разуму моему и тѣмъ больше тяготитъ. Иду ко дну.

По ночамъ вспоминаю свою вольную жизнь и особенно четко—ночлеги въ поляхъ.

Въ поляхъ земля кругла, понятна, любезна сердцу. Лежишь, бывало, на ней, какъ на ладони, малъ и простъ, словно ребенокъ, теплымъ сумракомъ одѣтый, звѣзднымъ небомъ покрытъ, и плывешь вмѣстѣ съ ней мимо звѣздъ.

Насыщается усталое тѣло крѣпкимъ дыханіемъ травъ и цвѣтовъ; кажется тебѣ, что ты въ люлькѣ лежишь, и невидимая рука тихо качаетъ ее, усыпляя тебя...

Тѣни плаваютъ, задѣваютъ стебли травъ; шорохъ и шопотъ вокругъ; гдѣ-то сусликъ вылѣзъ изъ норы и тихо свиститъ. Далеко на краю земли кто-то темный встанетъ, — можетъ, лошадь въ ночномъ,—постоять и растаетъ въ морѣ теплой тьмы. И снова возникаетъ, уже въ иномъ мѣстѣ, иной формы... Такъ всю ночь безшумно двигаются по полямъ нѣмые сторожа зем-

ного сна, ласковыя тѣни лѣтнихъ ночей. Чувствуешь, что около тебя на всемъ кругѣ земномъ притаилась жизнь, отдыхая въ чуткомъ полуснѣ, и совѣстно, что тѣломъ твоимъ ты примялъ траву.

Ночная птица безшумно летитъ, ожилъ, оторвался кусокъ земли и, окрыленъ своимъ желаніемъ, несется исполнить его.

Мыши шуршать... Иной разъ по рукѣ у тебя быстро перекатится маленькій мягкій комокъ,—вздрогнешь и еще глубже чувствуешь обиліе живого, и сама земля оживетъ подъ тобой, сочная, близкая, родная тебѣ.

И слышишь, какъ она дышитъ, хочешь догадаться, какой сонъ видится ей, и какія силы тайно зрѣютъ въ глубинѣ ея, какъ она завтра взглянетъ на солнце, чѣмъ обрадуетъ его, красавица, любимая имъ.

Словно таешь, прислонясь ко груди ея, и растешь твое тѣло, питаешь теплымъ и пахучимъ сокомъ милой матери твоей; видишь себя неотрывно, навѣки, земнымъ и благодарно думаешь:

— Родная моя!

Струится отъ земли невидимый потокъ добрыхъ силъ, текутъ по воздуху ручьи пряныхъ запаховъ—земля подобна кадилу въ небесахъ, а ты уголь и ладанъ кадила.

Торопливо горятъ звѣзды, чтобы до восхода солнца показать всю красоту свою; опьяняетъ, ласкаетъ тебя любовь и сонъ, и сквозь душу твою жарко проходить свѣтлый лучъ надежды: гдѣ-то есть прекрасный Богъ!

— „Ищите и обрящете“—хорошо это сказано, и не надо забывать этихъ словъ, ибо это слова поистинѣ достойныя разума человѣческаго.

Какъ только заглянула въ городъ весна, ушелъ я, рѣшивъ сходить въ Сибирь,—хвалили мнѣ этотъ край,—а по дорогѣ туда остановилъ меня человѣкъ, на всю жизнь окрылившій душу мою, указавъ мнѣ вѣрный къ Богу путь.

Встрѣтилъ я его на пути изъ Перми въ Верхотурье.

Лежу у опушки лѣсной, костеръ развелъ, воду для чая кипячу. Полдень, жара, воздухъ, смолами древесными напоенный, маслянь и густъ—дышать тяжело. Даже птицамъ жарко—забились въ глубь лѣса и поютъ тамъ, весело строя жизнь свою. На опушкѣ тихо. Кажется, что скоро растаетъ все подъ солнцемъ и разноцвѣтно потекутъ по землѣ густыми потоками деревья, камни, обомлѣвшее тѣло мое.

Вдругъ съ Пермской стороны идетъ человѣкъ и поетъ высокимъ дрожащимъ голосомъ. Приподнялъ я голову, слушаю, и вижу: странникъ шагаетъ, маленькій, въ бѣломъ подрясникѣ, чайникъ у пояса, за спиною ранецъ изъ телячьей кожи и котелокъ. Идетъ онъ бойко, еще издали киваетъ мнѣ головой, ухмыляется. Самый обыкновенный странникъ, много такихъ, и вредный это народъ: странничество для нихъ сытое ремесло, невѣжды они, невѣгласы, врутъ всегда свирѣпо, пьяницы, и украсть не прочь. Не любилъ я ихъ на всю силу души.

Подошелъ, снялъ скуфейку, тряхнулъ головой, косичка у него смѣшно подпрыгнула—и заболталъ, какъ скворецъ:

— Миръ ти, человѣче! Вотъ такъ жара—на двадцать два градуса жарче, чѣмъ въ аду!

— Давно ли оттуда?—спрашиваю.

— Шестьсотъ лѣтъ прошло!

Голосъ у него бодрый, веселый, головка маленькая, лобъ высокій; лицо, какъ паутиной, тонкими морщинами покрыто; борода чистая такая, сѣденькая, а каріе глазки, словно у молодого, золотомъ сверкають.

— Вотъ,—думаю,—забавная жулябія!

А онъ все говорить:

— Ну, Уралъ!.. Эка красота! Великъ мастеръ Господь

по украшенію земли: лѣса, рѣки, горы хорошо положились!

Снимаетъ съ себя дорожный приборъ, вертится живо, козловато; увидалъ, что мой чайникъ вскипѣлъ, сейчасъ снялъ его и спрашиваетъ, какъ старый товарищъ:

— Своего чаю засыпать, али твой будемъ пить?

Я не успѣлъ отвѣтить, а онъ уже рѣшилъ:

— Давай моего попьемъ,—хорошій чай у меня, купчиха одна подарила, дорогой чай!

Усмѣхнулся я:

— А и козловать же,—моль,—ты!

— Это что!—говорить.—Меня жарой разморило, а вотъ, погоди, отдохну, такъ я те морщины-то выглажу!

Есть въ немъ что-то, напоминающее Савелку, и хочется мнѣ съ нимъ шутить.

Но, можетъ быть, уже черезъ пять минутъ, я уже слушаю, разиня ротъ, его рѣчь, странно-знакомую и неслышанную мной, слушаю—и какъ будто не онъ, а сердце мое радости солнечныхъ дней поетъ.

— Гляди... Это ли не праздникъ и не рай? Торжественно вадываются горы къ солнцу и восходятъ лѣса на вершины горъ; малая былинка изъ-подъ ногъ твоихъ открыленно возносится къ свѣту жизни, и все поетъ псалмы радости, а ты, человѣкъ, ты—хозяинъ земли, чего угрюмъ сидишь?

— Что за невѣдомая птица?—спрашиваю я себя и говорю ему испытующе:

— А если думы одолѣли нерадостныя?

Указываетъ онъ на землю;

— Это что?

— Земля.

— Нѣтъ! Выше гляди!

— Трава, что ли?

— Еще выше!

— Ну, тѣнь моя!

— Тѣнь тѣла твоего, — говоритъ, — а думы — тѣнь твоей души! Чего боишься?

— Я ничего не боюсь.

— Врешь! Кабы не боялся, были бы думы твои бодры. Печаль рождается страхомъ, а страхъ отъ мало-вѣрія. Такъ-то! Пей чай!

Наливаетъ чай по кружкамъ и непрерывно говорить:

— Будто видѣлъ я тебя уже, а? Ты на Валаамъ былъ?

— Былъ.

— Когда? Значить—не тамъ! А мнѣ показалось, что тамъ видѣлъ я тебя, рыжаго. Примѣтное лицо. Да!.. Это я въ Соловкахъ видѣлъ тебя!

— А въ Соловкахъ не былъ я.

— Не былъ? Напрасно! Древенъ монастырь и великой красоты. Сходи!

— Значить, не видалъ ты меня!—говорю, и почему-то обидно мнѣ, что это такъ.

— Эка важность!—воскликаетъ онъ.—Раньше не видалъ—теперь вижу! А тогда, значить, былъ другой, но похожъ на тебя. Не все ли равно?

Засмѣялся я.

— Какъ же,—молъ,—все равно?

— А почему нѣтъ?

— Да вѣдь я—это я, а другой—другой!

— А ты его лучше?

— Не знаю.

— И я не знаю!

Смотрю я на него и овладѣваетъ мною нетерпѣніе: хочется, чтобы онъ говорилъ и говорилъ безъ конца. Онъ же, прихлебывая чай, торопливо вспоминаетъ:

— Да, вѣдь тотъ былъ кривой, чѣмъ и смущался весьма. Всѣ эти кривые, хромые,—снаружи и внутри,—самолюбны неестественны! Я, дескать, кривъ, али тамъ, я-де хромъ, но вы, люди, не смѣйте замѣчать это за

мною. Вотъ и этотъ таковъ. Говорить онъ мнѣ: „всѣ люди сволочи; видятъ они, что у меня одинъ глазъ и говорятъ мнѣ: ты кривой. А потому они—мерзавцы!“ Я ему говорю: ты, миленькій, самъ сволочь и мерзавецъ, коли не дуракъ—выбирай, что слаще! Ты, молъ, пойми: не то важно, какъ люди на тебя смотрятъ, а то, какъ ты самъ видишь ихъ. Оттого мы, другъ, и кривы, и слѣпы, что все на людей смотримъ, темнаго въ нихъ ищемъ, да въ чужой тѣмъ и гасимъ свой свѣтъ. А ты своимъ свѣтомъ освѣти чужую тьму—и все тебѣ будетъ пріятно. Не видитъ человѣкъ добра ни въ комъ, кромѣ себя, и потому весь міръ горестная пустыня для него.

Посмѣивается онъ, глядя на меня, а я слушаю его, точно заплутавшійся ночью въ лѣсудальній благовѣсть, и боюсь ошибиться—не сова ли кричитъ вдали? Понимаю, что много онъ видѣлъ, многое помирилъ въ себѣ, но, кажется мнѣ, отрицаетъ онъ меня, непонятно шутя надо мною, смѣются его молодые глаза. Послѣ встрѣчи съ Антоніемъ трудно было вѣрить улыбкѣ человѣка.

Спросилъ я его, кто онъ.

— Зовутъ,—говорить,—Іегудилъ, людямъ веселый скоморохъ, а себѣ самому—милый другъ!

— Изъ духовныхъ?

— Былъ попомъ недолго, да разстригли и въ Суудаль-монастырѣ шесть лѣтъ сидѣлъ! За что, спрашиваешь? А говорилъ я въ церкви народушкѣ проповѣди, онъ же, по простотѣ души, круто понялъ меня. Его за это пороть, меня—судить, тѣмъ дѣло и кончилось. О чемъ проповѣди? Ужъ не помню. Было это давненько, восемнадцать лѣтъ тому назадъ—можно и забыть. Разными мыслями я жилъ, и всѣ онѣ не ко двору приходились.

Смѣется—въ каждой морщинѣ лица его смѣхъ играетъ, а смотреть онъ вокругъ такъ словно всѣ горы и лѣса имъ устроены.

Когда посвѣжѣло, пошли мы съ нимъ дальше и дорогой спрашиваетъ онъ меня:

— А ты—изъ какихъ?

Снова, какъ тогда предъ Антоніемъ, захотѣлось мнѣ поставить всѣ прошлые дни въ рядъ предъ глазами моими, и посмотрѣть еще разъ на пестрые лица ихъ. Говорю я о дѣтствѣ своемъ, о Ларіонѣ и Савельѣ,—хочетъ старикъ и кричить:

— Ахъ, милые люди! Ай, шуты Божіи, а? Это, милый, настоящіе, это—русской земли цвѣты. Ахъ, боголюбь.

Не понимаю я этихъ похвалъ, и странно мнѣ видѣть радость его, а онъ—отъ смѣха даже идти не можетъ; остановится, голову вверхъ закинетъ и звенить, покрикиваетъ прямо въ небо, словно у него тамъ добрый другъ живетъ и онъ дѣлится съ нимъ радостью своей.

Ласково говорю:

— Ты нѣсколько похожъ на Савелку.

— Похожъ?—кричитъ.—Это, братъ, весьма хорошо, коли похожъ! Охъ, милый, кабы нашего брата, живого человѣка, да не извела въ давнее время православная церковь—не то бы теперь было въ русской землѣ!

Темна его рѣчь.

Про Титова говорю, а онъ какъ будто видитъ тестя моего, издѣвается надъ нимъ.

— Ишь ты! Видалъ я такихъ, видалъ! Жаденъ клопикъ, глупъ и трусливъ...

А когда выслушалъ мой разсказъ объ Антоніи, задумался немного, потомъ говорить:

— Та-акъ! Оома. Ну—не всякъ Оома отъ большого ума, иной Оома просто глупость сама!

И, отмахиваясь отъ шмеля, убѣждаетъ его:

— Пошелъ, пошелъ прочь! Экій неуклюжій—лѣзетъ прямо въ глаза... ну тебя!

Ловлю я его слова внимательно, ничего не пропускаю: кажется мнѣ, что всѣ они большой мысли дѣти

Говорю, какъ на исповѣди; только иногда, Бога коснувшись, запнусь: страшновато мнѣ, да и жалко чего-то. Потускнѣлъ за это время ликъ Божій въ душѣ моей, хочу я очистить его отъ копоты дней, но вижу, что стираю до пустого мѣста, и сердце жутко вздрагиваетъ.

А старикъ, кивая головой, ободряетъ:

— Ничего, не бойся! Умолчишь—себѣ солжешь, а не мнѣ. Говори, говори! Своего не жалѣй: изломаешь—новое сдѣлаешь!

На всѣ мои рѣчи откликается онъ чуткимъ эхомъ, и все легче мнѣ съ нимъ.

Застигла насъ ночь.

— Стой!—говоритъ онъ.—Давай мѣсто искать для отдыха.

Нашли пріютъ подъ большимъ камнемъ, оторваннымъ отъ родной горы; кусты на немъ раскинулись, свѣшиваясь внизъ темнымъ пологомъ, и легли мы въ теплой ихъ тѣни. Костеръ зажгли, чай кипятимъ.

Спрашиваю я:

— Что же ты мнѣ скажешь, отецъ?

Улыбается.

— А что знаю—все скажу! Только ты не ищи въ словахъ моихъ утвержденія: я не учить хочу, а рассказывать. Утверждаютъ тѣ, для кого ходъ жизни опасенъ, ростъ правды вреденъ. Видятъ они, что правда все ярче горитъ—потому все больше людей зажигаютъ пламя ея въ сердцахъ своемъ,—видятъ они это и пугаются! Наскоро схватятъ правды, сколько имъ выгодно, стиснутъ ее въ малый колобокъ и кричатъ на весь міръ: вотъ истина, чистая духовная пища, вотъ—это такъ! и—навѣки неизблемо! И садятся, окаянные, на лицо истины и душатъ ее, за горло взявъ, и мѣшаютъ росту силы ея всячески, враги наши и всего сущаго! А я могу сказать одно: на сей день—это такъ, а какъ будетъ завтра—не вѣдаю! Ибо, видишь ли, въ жизни

нѣтъ настоящаго, законнаго хозяина; не пришелъ еще онъ, и неизвѣстно мнѣ, какъ распорядится, когда придетъ: какіе планы утвердить, какіе порушить и какіе храмы станеть возводить? Павелъ апостоль однажды сказалъ: „все содѣйствуетъ ко благу“—многіе утвердились на сихъ словахъ, и всѣ утвердившіеся обезсились, ибо встали на мѣстѣ! Камень сей безсиленъ, почему?—по неподвижности своей, брате! И нельзя говорить человѣку: стой на семъ! но,—отсюда иди далѣе!

Первый разъ слышу такую рѣчь и чуждо мнѣ звучитъ она,—ею отрицаетъ человѣкъ самъ себя, а я ищу самоутвержденія.

— Кто же,—моль,—этотъ хозяинъ—Господь?

Улыбается старикъ.

— Нѣтъ,—говорить,—ближе къ намъ! Не хочется мнѣ назвать его—лучше бы ты самъ догадался. Ибо во Христа прежде и крѣпче всѣхъ тѣ увѣровали, кто до встрѣчи съ Нимъ зналъ уже Его въ сердцѣ своемъ, и это силою ихъ вѣры поднять Онъ былъ на высоту божества.

Какъ передъ дверью держать онъ меня, а не отворяетъ ее, не называетъ, что за нею спрятано имъ. Растетъ во мнѣ нетерпѣніе и нѣкая досада. Рѣчи старика кажутся темными и хотя порой сверкаютъ какія-то жуткія искры въ словахъ его, но онъ только ослѣпляютъ меня, не освѣщая тьму въ душѣ. Ночь—лунная, окружаютъ насъ черныя тѣни, лѣсъ надъ нами молча въ гору идетъ, и надъ вершиною горъ—межъ вѣтвей деревъ—звѣзды блестятъ, точно птицы огненныя. Гдѣ-то близко ручей журчитъ, въ лѣсу изрѣдка филинъ гукаетъ, и надо всѣмъ въ ночи тихо живетъ старикова рѣчь. Чуденъ старикъ! Вотъ, снялъ онъ со щеки какую-то букашку, держать на ладони и спрашиваетъ ее:

— Ты куда, баловень? Ай? Бѣги-ка въ траву, существо!

Это нравится мнѣ: я тоже букановъ всякихъ очень

люблю, и всегда мнѣ занята ихъ тайная жизнь среди травъ и цвѣтовъ.

Ставлю я разные вопросы старику; хочется мнѣ, чтобъ онъ проще и короче говорилъ, но, замѣчаю, что обходить онъ задачи мои, словно прыгая черезъ нихъ. Приятно мнѣ это живое лицо—ласково глядятъ его красные отсвѣты огня въ кострѣ, и все оно трепещетъ мирной радостью, желанной мнѣ. Завидно: вдвое и болѣе, чѣмъ я, прожилъ этотъ человѣкъ, но душа его, видимо, ясна.

Говорю:

— Одинъ человѣкъ сказалъ мнѣ, что вѣра—выдумка, а ты что скажешь?

— Скажу,—отвѣчаетъ,—что не знаю человѣкъ, о чемъ говорить, ибо вѣра—великое чувство и созидющее! А родится она отъ избытка въ человѣкѣ жизненной силы его; сила эта—огромна суть и всегда тревожитъ юный разумъ человѣческій, побуждая его къ дѣянію. Но связанъ и стѣсненъ человѣкъ въ дѣяніяхъ своихъ, извнѣ препятствуютъ ему всячески,—все хотятъ, чтобы онъ хлѣбъ и желѣзо добывалъ, а не живыя сокровища изъ нѣдръ духа своего. И не привыкъ еще, не умѣетъ онъ пользоваться всѣми своими, пугается мятежей духа своего, создаетъ чудовищъ и боится отраженій нестройной души своей—не понимая сущности ея; поклоняется формамъ вѣры своей—тѣни своей, говорю!

Не скажу, чтобъ въ ту минуту понялъ я его, но почему-то сильно разсердился и думаю:

— Ну, теперь съ этого мѣста я тебя никуда не пущу, доколѣ ты не отвѣтишь мнѣ на коренной вопросъ!

И строго спрашиваю:

— А почему ты Бога обходишь?

Смотритъ онъ на меня, поднявъ брови, и говорить:

— Да я, милый, все время о Немъ толкую! Развѣ ты не чувствуешь?

Всталъ на колѣни и, освѣщенный огнемъ, протянулъ руку мнѣ, говоря тихо и внушительно:

— Кто есть Богъ, творяй чудеса? Отецъ ли нашъ, или же—сынъ духа нашего?

Вздрыгнувъ, помню, и оглянувшись я, ибо—жутко мнѣ стало: вижу въ старикѣ нѣчто безумное. И эти черныя тѣни лежатъ вокругъ, прислушиваясь; шорохи лѣсные отовсюду ползутъ, заглушая слабый трескъ углей, тихій звонъ ручья. Мнѣ тоже захотѣлось на колѣни встать. Онъ уже громко говоритъ, какъ бы споря:

— Не безсиліемъ людей созданъ Богъ, нѣтъ, но—отъ избытка силъ. И не внѣ насъ живетъ Онъ, брате, но внутри! Извлекли же Его извнутри насъ въ испугѣ предъ вопросами духа и наставили надъ нами, желая умѣрить гордость нашу, всегда несогласную съ ограничениями волю нашу. Говорю: силу обратили въ слабость, задержавъ насильно ростъ ея! Образы совершенства—поспѣшно дѣлаются; это—вредъ намъ и горе. Но люди дѣлятся на два племени: одни—вѣчные богостроители, другіе—навсегда рабы плѣннаго стремленія ко власти надъ первыми и надо всею землею. Захватили они эту власть и ею утверждаютъ бытіе Бога внѣ человѣка, Бога—врага людей, судію и господина земли. Исазили они лицо души Христа, отвергли Его заповѣди, ибо Христосъ живой—противъ ихъ, противъ власти человѣка надъ ближнимъ своимъ!

Говорить онъ—и словно больной зубъ въ душѣ моей пошатывается, хочетъ выдернуть; больно мнѣ и хочется кричать:

— Не то!

А у него—лицо праздничное и весь онъ пьянъ и боуень радостью; вижу я безуміе рѣчи его, но люблю старикомъ сквозь боль и тоску души, жадно слушаю рѣчь его:

— Но живы и безсмертны богостроители; нынѣ они снова тайно и усердно творятъ Бога новаго, того, именно, о которомъ ты мыслишь—Бога красоты и разума, справедливости и любви!

Потрясаетъ онъ меня рѣчью своей, поднимаетъ на ноги и какъ бы оружіе въ руки даетъ, трепещетъ вокругъ меня легкая тѣнь, задѣвая крыльями лицо мое—страшно мнѣ, кружится земля подо мной, и думаю я:

— А если вѣрно, что дьяволъ искушаетъ людей прелестными рѣчами и это его хитрыя петли плететъ старикъ, дабы запутать меня въ сѣть величайшаго грѣха?

— Слушай,—говорю,—кто—богостроители? Кто—хозяинъ, коего ждешь?

Засмѣялся онъ ласково, какъ женщина, и отвѣтилъ:

— Богостроитель—это суть—народушко! Неисчислимый міровой народъ! Великомученикъ велій, чѣмъ всѣ, церковью прославленные—сей бо еси Богъ, творяй чудеса! Народушко безсмертный, его-же духу вѣрую, его силу исповѣдаю; онъ есть начало жизни единое и несомнѣнное; онъ отецъ всѣхъ боговъ бывшихъ и будущихъ!

— Безумень старикъ,—думаю я.

До сей поры казалось мнѣ, что, хотя и медленно, но иду я въ гору; не однажды слова его касались души моей огненнымъ перстомъ, и чувствовалъ я жгучіе, но цѣлебные ожоги и уколы, а теперь вдругъ отяжелѣло сердце, и остановился я на пути горько удивленный. Горятъ въ груди моей разные огни—тоскливо мнѣ и непонятно радостно, боюсь обмана и смущенья.

— Неужели ты,—спрашиваю,—про мужиковъ говоришь?

Онъ громко и съ важностью отвѣчаетъ:

— Да, про весь рабочій народъ земли, про всю ея силу, единственный и вѣчный источникъ боготворчества! Вотъ просыпается воля народа. соединяется ва-

ликое, насильно разобщенное, уже многіе ищутъ возможности, какъ слить всѣ силы земныя въ единую, изъ нея же образуется свѣтель и прекрасенъ всеобъемлющій Богъ земли!

Говорить онъ такъ громко, словно не одинъ я,—но и горы, и лѣса, и все живое, бодрствующее въ ночи, должно слышать его; говоритъ и трепещетъ, какъ птица, готовая улѣтъ, а мнѣ кажется, что все это—сонъ, и сонъ этотъ унижаетъ меня.

Вызываю въ памяти моей образъ Бога моего, ставлю предъ Его лицомъ темные ряды робкихъ, растерянныхъ людей—эти Бога творять? Вспоминаю мелкую злобу ихъ, трусливую жадность, тѣла, согбенныя униженіемъ и трудомъ, тусклые отъ печалей глаза, духовное косноязычіе и нѣмоту мысли и всяческія суевѣрія ихъ—они, эти насѣкомыя, могутъ Бога новаго создать?

Гнѣвъ и горькій смѣхъ возникаетъ въ сердцѣ моемъ. Понимаю, что старикъ нѣчто уже отнялъ у меня. И говорю ему:

— Охъ, отецъ! Наблудилъ ты въ душѣ у меня, словно козелъ въ огородѣ, вотъ и вся суть твоихъ рѣчей! Но неужели со всѣми рѣшаешься ты такъ говорить? Великій это грѣхъ, по-моему, и нѣтъ въ тебѣ жалости къ людямъ! Вѣдь утѣшеній, а не сомнѣній, ищутъ они, а ты сомнѣнія сѣешь!

Онъ—улыбается.

— Быть,—говорить,—тебѣ на пути моемъ!

Обидна мнѣ эта улыбка.

— Врешь!—моль.—Никогда не поставлю человѣка рядомъ съ Богомъ!

— И не надо,—говорить,—и не ставь, а то господина поставишь надъ собой! Я тебѣ не о человѣкѣ говорю, а о всей силѣ духа земли, о народѣ!

Разозлился я; противенъ мнѣ сталъ боготворецъ въ лаптяхъ, вшивый весь, всегда пьяный, битый и поротый.

онъ важенъ и даже суровъ, голосъ его осѣлъ, углубился, говоритъ онъ плавно и пѣвуче, точно Апостолъ читаетъ, лицо къ небу обратилъ, и глаза у него округлились. Стоитъ онъ на колѣняхъ, но ростомъ словно больше сталъ. Началъ я слушать рѣчь его съ улыбкой и недовѣріемъ, но вскорѣ вспомнилъ книгу Антонія—русскую исторію—и какъ бы снова раскрылась она предо мною. Онъ мнѣ свою сказку чудесную поетъ, а я за этой сказкой по книгѣ слѣжу—все идетъ вѣрно, только смыслъ другой.

Дошелъ онъ до распада Кіевской Руси, спрашиваетъ:

— Слышалъ?

— Спасибо,—говорю.

— Ну, такъ знай теперь: такихъ богатырей не было, это народъ свои подвиги въ лицахъ воплощалъ, такъ запоминалъ онъ великую работу построения русской земли!

И продолжаетъ о Суздальской землѣ.

Помню, гдѣ-то за горою уже солнце всходило; ночь пряталась въ лѣсахъ и будила птицъ; розовыми стаями облака надъ нами, а мы прижались у камня на росистой травѣ, и одинъ воскрешаетъ старину, а другой удивленно исчисляетъ несчетные труды людей и не вѣрить сказкѣ о завоеваніи враждебной лѣсной земли.

Старикъ будто самъ все видѣлъ: стучать тяжелые топоры въ крѣпкихъ рукахъ, сушатъ люди болота, возводятъ города, монастыри, идутъ все дальше по теченіямъ холодныхъ рѣкъ во глубины густыхъ лѣсовъ, одолѣваютъ дикую землю, становится она благоуобразна. А князья, владыки народа, рѣжутъ, крошатъ ее на малые куски, дерутся другъ съ другомъ кулаками народа и грабятъ его. И вотъ со степи татары подошли, но не нашлось въ князьяхъ воителей за свободу народную, не нашлось ни чести, ни силы, ни ума; предали они народъ ордѣ, торговали имъ съ ханами, какъ скотомъ, покупая за мужичью кровь княжью власть надъ нимъ

же, мужикомъ. А потомъ, какъ научились у татаръ царствовать, начали и другъ-друга ханамъ на зарѣзъ посылать.

Ночь вокругъ ласкова, какъ умная старшая наша сестра.

Отъ усталости осѣкается голосъ у старика, уже солнце видить его, а онъ все ходитъ въ прошлыхъ быляхъ, освѣщая мнѣ истину пламенными словами.

— Видишь ли,—спрашиваетъ,— что сдѣлано народомъ и какъ измывались надъ нимъ до поры, пока ты не явился обругать его глупыми словами? Это я сказывалъ больше о томъ, что онъ по чужой волѣ дѣлалъ, а отдохну—разскажу, чѣмъ душа его жила, какъ онъ Бога искалъ!

Свернулся въ комокъ и заснулъ, какъ малое дитя.

А я—спать не могу и сижу, какъ угольями обложенъ. Да и утро уже—солнце высоко, распѣлась птица на всѣ голоса, умылся лѣсъ росой и шумить, ласково зеленый, встрѣчу дню.

По дорогѣ люди пошли—люди самые ежедневные; идутъ, опушта головы, новаго я въ нихъ не вижу ничего, никакъ они не выросли въ моихъ глазахъ.

Спать мой учитель, похрапываетъ, я—около его замеръ въ думѣ моей; люди проходятъ одинъ за другимъ, искоса взглянуть на насъ—и головой не кивнуть въ отвѣтъ на поклонъ.

— Неужто,—думаю,—это дѣти тѣхъ праведниковъ, строителей земли, о которыхъ я слышалъ сейчасъ?

Спутались въ усталой головѣ сонъ и явь, понимаю я, что эта встрѣча—роковой для меня поворотъ. Стариковы слова о Богѣ, сынѣ духа народнаго, беспокоятъ меня, не могу помириться съ ними, не знаю духа иного, кромѣ живущаго во мнѣ. И обыскиваю въ памяти моей всѣхъ мужиковъ, всѣхъ людей, кого зналъ; ошариваю ихъ, вспоминая рѣчи ихъ: поговорокъ много, а мыслями бѣдно. А съ другой стороны вижу темную ка-

торгу жизни, неизбывный трудъ хлѣба ради, голодныя зимы, безысходную тоску пустыхъ дней и всякое униженіе человѣка, оплеваніе его души.

— Гдѣ Богъ въ этой жизни, гдѣ Ему мѣсто въ ней?

Спитъ старикъ. Хочется мнѣ тряхнуть его, закричать:

— Говори!

Скоро онъ самъ проснулся, щурить глаза, улыбается.

— Эге,—говорить,—солнце-то къ полудню идетъ!

Надо бы и мнѣ идти!

— Куда,—моль,—по жарѣ такой? Хлѣбъ, чай, сахаръ есть у насъ. Да и не могу я отпустить тебя — отдай обѣщанное!

Смѣется:

— Я отъ тебя, злыдень, самъ не отстану!

Потомъ задумчиво говорить:

— Ты, Матвѣй, брось-ка шляться; это и поздно, и рано тебѣ! Учиться надо; вотъ это—въ пору!

— А не поздно?

— Гляди на меня,—говорить,—пятьдесятъ три года имѣю, а у ребятъ грамотѣ учусь и по сей день!

— У какихъ это ребятъ?—спрашиваю.

— Есть такіе! Вотъ бы тебѣ съ ними и пожить годокъ-другой. Иди-ка ты на заводъ одинъ, недалеко, верстъ за сто отсюда, тамъ у меня есть добрые дружки!

— Ты,—моль,—сначала Расскажи-ка, что хотѣлъ, а потомъ я подумаю, куда идти.

Шагаемъ мы съ нимъ по тропѣ вдоль дороги и снова я слышу звонкій голосъ его, странные слова:

— Христось, первый истинно-народный Богъ, возникъ изъ духа народа, яко птица фениксъ изъ пламени.

И тотчасъ же самъ вспыхнулъ весь, помахиваетъ маленькой рукою предъ лицомъ своимъ, точно ловить въ воздухъ новыя слова и поетъ:

— Долго поднималъ народъ на плечахъ своихъ

отдѣльныхъ людей, безсчетно давалъ имъ трудъ свой и волю свою; возвышалъ ихъ надъ собою и покорно ждалъ, что увидятъ они съ высотъ заемныхъ пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступнаго, пьянѣли и, развращаясь видомъ власти своей, оставались на верхахъ, забывая о томъ, кто ихъ возвелъ, становясь не радостнымъ облегченіемъ, но тяжкимъ гнетомъ земли. Когда видѣлъ народъ, что дѣти, вспоенныя кровью его, — враги ему, терялъ онъ вѣру въ нихъ, то-есть не питалъ ихъ волею своею, оставлялъ владыкъ одинокими, и падали они, разрушалось величіе и сила ихъ царствъ. Понялъ народъ, что законъ жизни не въ томъ, чтобы возвысить одного изъ семьи и, питая его волею своею, — его разумомъ жить, но въ томъ истинный законъ, чтобы всѣмъ подняться къ высотѣ, каждому своими глазами осмотрѣть пути жизни, — день сознанія народомъ необходимости равенства людей и былъ днемъ рождества Христова! Многіе народы разнo пытались воплотить свои мечты о справедливости въ живое лицо, создать Господа для всѣхъ равнаго, и не однажды отдѣльные люди, подчиняясь напору этой мысли народной, старались оковать ее крѣпкими словами, дабы жила она вѣчно. И когда всѣ эти мысли были сплочены — возникъ изъ нихъ живой Богъ, любезное дитя народа—Иисусъ Христосъ!

То, что онъ говорилъ о Христѣ, юномъ Богѣ, было близко мнѣ, но народа, Христа рождающаго, — не могу понять.

Говорю это ему, а онъ отвѣчаетъ:

— Хочешь знать — поймешь, хочешь вѣрить — будешь знать!

Трое сутокъ шагали мы съ нимъ, не торопясь, и все время поучалъ онъ меня, показывая прошлое.

Разсказалъ всю исторію жизни народа вплоть до того дня; говорилъ о смутномъ времени и о томъ, какъ церковь воздвигла гоненія на скомороховъ, веселыхъ

людей, которые будили память народа и шутками своими сѣяли правду въ немъ.

— Понимаешь,—говорить,—кто Савелка твой?

— Вижу,—молъ.

— То-то! Помни: маленькое отъ великаго, а великое сложено изъ малыхъ частей!

Дошли мы до Стефана Верхотурскаго, сказалъ мнѣ старикъ:

— Отсюда я—въ сторону, а тебѣ со мной нѣтъ пути.

Не хочется отходить отъ него, а вижу—надо, ибо—одолѣваютъ меня мысли его, разбудить онъ меня до глубины и какъ плугомъ вспахалъ душу мнѣ.

— Что задумался?—спрашиваетъ.—Иди-ка на заводъ, да работай тамъ и съ дружками моими толкуй; не проиграешь, повѣрь! Народъ—ясный, вотъ—я у нихъ учился, и, видишь, не глупъ, а?

Написалъ какую-то записку, сунулъ мнѣ.

— Ей-ей—иди туда! Не худа желаю тебѣ, увидишь! Народъ новорожденный и живой! Не вѣришь?

— Много,—молъ,—видятъ небольшіе глаза, да есть-ли то, что имъ кажется?

— Ты,—кричить,—всѣмъ составомъ гляди! Сердцемъ, духомъ! Развѣ я тебѣ говорю: вѣрь? Я говорю—учись, узнавай!

Поцѣловались мы, и пошелъ онъ. Легко идетъ, точно двадцать лѣтъ ему и впереди ждуть однѣ радости. Скучно мнѣ стало глядѣть вслѣдъ этой птицѣ, улетающей отъ меня неизвѣстно куда, чтобы снова пѣть тамъ свою пѣснь. Въ головѣ у меня — неладно, возятся тамъ мысли, какъ хохлы раннимъ утромъ на ярмаркѣ: сонно, неуклюже, медленно и никакъ не могутъ разложиться въ порядкѣ. Все странно спуталось: у моей мысли чужой конецъ, у чужой—мое начало. И досадно мнѣ, и смѣшно—весь я точно измать внутри.

Еще какъ вышелъ я изъ Верхотурья и спросилъ, куда дорога, мнѣ отвѣтили:

— На Исетскій заводъ.

Туда и посылалъ меня старикъ, а потому я сейчасъ же свернулъ въ сторону. Не хочу туда.

Хожу по деревнямъ, посматриваю. Угрюмъ и дерзокъ народъ, не хочется ни съ кѣмъ говорить. Смотрятъ всѣ подозрительно, видимо опасаются, не украдутъ ли чего.

— Богостроители, — думаю я, поглядывая на корявыхъ мужичковъ. Спрошу: куда дорога?

— На Исетскій заводъ.

— Что тутъ—всѣ дороги на этотъ заводъ?—думаю, и кружусь по деревнямъ, по лѣсамъ, ползаю, словно жукъ въ травѣ, вижу издали эти заводы. Дымятъ они, но не манятъ меня. Кажется, что потерялъ я половину себя и не могу понять, чего хочу. Плохо мнѣ. Сѣрая лѣтняя досада колеблется въ душѣ, искрами вспыхиваетъ злой смѣшокъ, и хочется мнѣ обижать всѣхъ людей и себя самого.

И вдругъ незамѣтно для себя рѣшилъ: пойду на заводъ, чортъ съ нимъ.

Вотъ пришелъ я въ нѣкій грязный адъ: въ лощинѣ, между горъ, покрытыхъ изрубленнымъ лѣсомъ, припали на землѣ корпуса; надъ крышами у нихъ пламя кверху рвется, высунулись въ небо длинныя трубы, отовсюду сочится паръ и дымъ, земля сажей испачкана, молотъ гулко ухаетъ; грохотъ, визгъ и дикій скрипъ сотрясаютъ дымный воздухъ. Всюду желѣзо, дрова, кирпичъ, дымъ, паръ и вонь, и въ этой яминѣ, полной всякой тяжелой всячины, мелькаютъ люди, черные, какъ головни.

— Спасибо, старичокъ!—думаю.—Направилъ ты меня хорошо!

Первый разъ близко вижу заводъ, глохну съ непривычки и дышать тяжело.

Хожу по улицамъ, ищу слесаря Петра Ягихъ. Кого

ни спрошу—огрызаются, точно утромъ всё передрались между собой и еще не успѣли успокоиться.

Восклицаю про себя:

— Богостроители!

Идетъ встрѣчу мужчина, подобный медвѣдю, и чумазый весь съ ногъ до головы; блеститъ на солнцѣ жирной грязью своей одежды,—спрашиваю я, не знаетъ ли онъ слесаря Петра Ягихъ.

— Чего?

— Петръ Ягихъ.

— На что?

— Нужно.

— Это, вотъ я!

— Здравствуйте!

— Ну, здравствуй! А еще что?

— Записка вамъ.

Мужчина ростомъ выше меня, широкобородый, плечистый, тяжелый, лицо — въ сажѣ, маленькіе, сѣрые глазки едва видны изъ-подъ густыхъ бровей, шапка на затылкѣ, волосы гладко острижены. Похожъ и непохожъ на мужика.

Читаешь, видимо, съ трудомъ, лицо у него все сморщилось, усы дрожатъ. И вдругъ—растаяло лицо, блеснули бѣлые зубы, открылись добрые дѣтскіе глаза, кожа на щекахъ лоснится.

— Ага,—кричитъ, — живъ онъ, Божій пѣтушокъ! Добро. Иди, малый, въ конецъ улицы, свороти налѣво къ лѣсу, подъ горой домъ съ зелеными ставнями, спроси учителя, зовутъ — Михайла, мой племяшъ. Покажи ему записку; я скоро приду, айда!

Говоритъ, какъ солдатъ на трубѣ сигналъ играетъ, сказалъ, махнулъ рукой и пошелъ прочь.

— На первый разъ,—думаю я,—и это забавно!

Дома встрѣтилъ меня угловатый парень въ ситцевой рубахѣ и фартукѣ, рукава засучены, руки—бѣлыя и тонкія. Прочитавъ записку, спрашиваетъ:

— Какъ здоровъ отецъ Іона?

— Слава Богу.

— Не общалъ ли къ намъ зайти?

— Не говорилъ. А развѣ его Іоной зовутъ?

Парень подозрительно взглянулъ на меня, еще разъ прочиталъ записку.

— А какъ же?—говорить.

— Онъ себя Іегудиломъ назвалъ.

Улыбается парень.

— Это—прозвище, это я его такъ зову.

— Ишь ты,—думаю.

Волосы у него прямые, длинные, какъ у дьякона, лицо блѣдное, глаза водянисто-голубые, и весь онъ какой-то нездѣшній, видно не этого грязнаго куска земли. Ходить по комнатѣ и мѣрять меня глазами, какъ сукно; мнѣ это не нравится.

— Вы,—говорить,—давно знаете Іону?

— Четверо сутокъ.

— Четверо сутокъ?—повторяетъ онъ. Это—хорошо.

— Почему хорошо?—спрашиваю.

— Такъ ужъ!—говорить, пожимая плечами.

— А почему вы въ фартукъ?

— Книги,—говорить,—переплеталъ!—Скоро дядя придетъ, будемъ ужинать; можетъ быть, вы съ дороги помоеетесь?

Хочется мнѣ дерзить ему, — больно онъ солиденъ, не по лѣтамъ это.

— Развѣ,—молъ,—здѣсь умываются?

Поднялъ брови.

— А какъ же?

— Не видалъ я умытыхъ-то!—говорю.

Онъ прищурилъ глаза, поглядѣлъ на меня и, спокойно таково, говоритъ:

— Здѣсь люди не бездѣльничаютъ, а работаютъ; часто умываться времени нѣтъ.

Виджу, налетѣлъ я съ ковшомъ на брагу, хочу ему

мнѣ предъ ними, что принижая себя ложью. Въ душѣ у меня странная прозрачность, безтолково и тревожно, какъ испуганный рой пчелъ, кружатся мысли, и стать я раздраженно изгонять ихъ—хочу опустошить себя. Долго говорилъ, не заботясь о связности рѣчи и, пожалуй, нарочно путалъ ее: коли они умники, то должны все разобрать. Усталъ и задорно спрашиваю:

— Чѣмъ же и какъ полѣчите вы больную душу?

Михайла, тихо и не глядя на меня, говорить:

— Не считаю я васъ больнымъ...

Дядя опять хохочетъ—гремитъ, словно чортъ съ полатей свалился.

— Болѣанъ,—продолжаетъ Михайла,—это когда человѣкъ не чувствуетъ себя, а знаетъ только свою боль, да ею и живетъ! Но вы, какъ видно, себя не потеряли: вотъ вы ищете радостей жизни,—это доступно только здоровому.

— А отчего же у меня душа такъ ноетъ?

— Оттого,—говорить,—что вамъ это пріятно!

Я даже зубами скрипнулъ—невыносимо для меня его спокойствіе.

— Навѣрно,—молъ,—знаете, что пріятно?

Смотритъ онъ прямо въ глаза и не торопясь заклачиваетъ гвозди въ грудь мою.

— Какъ искренній человѣкъ, вы,—говорить,—должны сознаться, что эта боль вашей души необходима вамъ,—она васъ ставитъ выше людей; вы и бережете ее, какъ нѣкоторое отличіе ваше отъ другихъ; не такъ ли?

Постное лицо его высохло, вытянулось, глаза потемнѣли, гладитъ онъ щеку свою рукой и чиститъ меня, какъ мѣдъ пескомъ.

— Видимо, боитесь вы смѣшать себя съ людьми и потому,—можетъ быть, безотчетно,—думаете: хоть болячки, да мои! И такихъ болячекъ—ни у кого нѣтъ, кромѣ меня!

Хочу возражать ему, но не нахожу словъ. Моложе

онъ меня и слабѣе, не вѣрится мнѣ, что я глупѣй его. Дядя гогочетъ, какъ попъ въ банѣ на полкѣ.

— Но это васъ отъ людей не отличаетъ, вы ошибаетесь,—говорить Михайла.—Всѣ такъ думаютъ. Оттого и безсильна, оттого и уродлива жизнь. Каждый старается отойти отъ жизни вбокъ, выкопать въ землѣ свою норку и изъ нея одиноко разсматривать міръ; изъ норы жизнь кажется низкой, ничтожной; видѣть ее такою—выгодно уединенному! Это я говорю про тѣхъ людей, которые почему-нибудь не въ силахъ сѣсть верхомъ на ближняго и подѣхать на спинахъ его туда, гдѣ вкуснѣе кормить.

Злать меня его рѣчи и обидны онѣ.

— Началась,—говорить,—эта дрянная и недостойная разума человѣческаго жизнь съ того дня, какъ первая человѣческая личность оторвалась отъ чудотворной силы народа, отъ массы, матери своей, и сжалась со страха передъ одиночествомъ и безсильемъ своимъ въ ничтожный и злой комокъ мелкихъ желаній, комокъ, который нареченъ былъ—„я“. Вотъ это самое „я“ и есть злѣйшій врагъ человѣка! На дѣло самозащиты своей и утвержденія своего среди земли оно бесполезно убило всѣ силы духа, всѣ великія способности къ созданію духовныхъ благъ.

Кажется мнѣ, слышу я рѣчь уже знакомую и слова, которыхъ давно и тайно ждалъ.

— Нищее духомъ, оно безсильно въ творествѣ. Глухо оно къ жизни, слѣпо и нѣмотно, цѣль его—самозащита, покой и уютъ. Все новое, истинно-человѣческое, создается имъ по необходимости, послѣ множества толчковъ извнѣ, съ величайшимъ трудомъ, и не только не цѣнится другими „я“, но и ненавистно имъ и гонимо. Враждебно потому, что, памятуя свое родство съ цѣлымъ, отколотое отъ него „я“ стремится объединить разбитое и разрозненное снова въ цѣлое и величественное.

Слушаю и удивляюсь: все это понятно мнѣ и не только понятно, но кажется близкимъ, вѣрнымъ. Какъ будто я и самъ давно уже думалъ такъ, но—безъ словъ, а теперь наплыли слова и стройно ложатся предо мною, какъ ступени лѣстницы вдаль и вверхъ. Вспоминаю Юнины рѣчи, оживаютъ онѣ для меня ярко и красочно. Но, въ то же время, безпокойно и неловко мнѣ, какъ будто стою на рыхлой льдинѣ рѣки весной. Дядя незамѣтно ушелъ, мы вдвоемъ сидимъ, огня въ комнатѣ нѣтъ, ночь лунная, и въ душѣ у меня тоже лунная мгла.

О полночь кончилъ Михайла свои рѣчи, повелъ меня спать на дворъ, въ сарай; легли мы тамъ на сѣнѣ, и скоро онъ заснулъ, а я вышелъ за ворота, сѣлъ на какія-то бревна, смотрю...

Луна и двѣ звѣзды большія сторожами въ небесахъ идутъ. Надъ горой въ синемъ небѣ четко видно зубчатую стѣну лѣса, а на горѣ весь лѣсъ изрубленъ, изрѣзанъ, земля изранена черными ямами. Внизу—заводъ жадно оскалилъ красные зубы: гудитъ, дымитъ, по-надъ крышами его мечется огонь, рвется кверху, не можетъ оторваться, растекается дымомъ. Пахнетъ гарью, душно мнѣ.

Размышляю о горестномъ одиночествѣ человѣка. Интересно говорить Михайла, мыслямъ своимъ вѣруеть, вижу я ихъ правду, но—почему холодно мнѣ? Не сливается моя душа съ душою этого человѣка, стоитъ она одиноко, какъ среди пустыни...

И вдругъ вижу, что я думаю словами Юны и Михайла, и что ихъ мысли уже властно живутъ во мнѣ, хотя и сверхъ всего, хотя и шевелится въ глубинѣ враждебное имъ и наблюдающее.

Гдѣ же —я, и что—мое? Кружусь въ недоумѣніяхъ моихъ, какъ волчокъ, и все быстрѣе, такъ что въ ухахъ у меня шумъ, тихій вихрь.

На заводѣ свистокъ занялъ, сначала тонко и жа-

лобно, потомъ разревѣлся густо и повелительно. Съ горь—утро сонно смотреть; ночь, спускаясь внизъ, тихо снимаетъ съ деревьевъ тонкое покрывало свое, свертываетъ его, прячетъ въ лощинахъ и ямахъ. Обнажается ограбленная земля—выщипано все вокругъ и обглодано, точно по лощинѣ нѣкій великанъ-озорникъ прыгаль, вырывая полосы лѣса, нанося землѣ глубокия раны. Въ котловинѣ развалился заводъ этотъ,—грязный, жирный, окутанъ дымомъ и сопить. Тянутся къ нему со всѣхъ сторонъ темные люди, онъ ихъ глотаетъ одного за другимъ.

— Богостроители!—думаю.—Настроили!

Дядя вышелъ за ворота, растрепанный, чешется, аѣвается, скулы у него хрустятъ, улыбается мнѣ.

— Ага,—кричитъ,—ты всталъ?

Но тотчасъ же ласково спрашиваетъ:

— Али не ложился? Ну, ничего, днемъ поспишь! Айда-ко, выпьемъ чай!

За чаемъ онъ говорить:

— И я, братокъ, ночей не спалъ, было время и всѣхъ по рожамъ бить хотѣлъ! Я еще до солдатчины былъ духомъ смущенъ, а тамъ оглушили меня—ударилъ ротный по уху—не слышу на правое-то. Мнѣ фершалъ одинъ помогъ, дай ему...

Хотѣлъ, видимо, помянуть имя Божіе, но остановился, подергалъ себя за бороду, ухмыляется. Показалось мнѣ въ этомъ нѣчто ребячье, да и глаза его подѣтски свѣтятъ: просто, довѣрчиво.

— Очень хорошей человѣкъ! Углядѣлъ онъ меня—что такое? Я говорю: развѣ же это человѣческая жизнь? Вѣрно, отвѣчаетъ, все надо передѣлать! Давай-ка, говорить, Петръ Васильевъ, я тебя буду политической экономіи учить! И—началъ. Сначала я не понималъ ничего, а потомъ—сразу уразумѣлъ все это безобразіе ежедневное и вѣчное. Такъ почти съ ума сошелъ отъ радости,—ахъ вы, сволочь, кричу! Это вѣдь

сразу откупается. Бумага-то сначала склеивает один только носик слеза. Потом прожить минута такая— все вдруг склеится и обратится въ сѣбѣ! И эта минута—настоящее раженіе чуждымъ—унизительна!

Лицо у него стало радостнымъ, глаза мягко улыбаются, извѣсть суженой горюхъ и говорить:

— Это тебя ждѣть!

Пріятно смѣяться на него—увлечивается въ немъ дѣтское. И немощно заводитъ.

— Дѣй грѣхъ жизни провалъ я, какъ лошадь—обидно! Ну, ничего, нагоню сколько можно! Только не прытокъ я умомъ. Умъ, какъ рука, тоже требуетъ упражненія. А у меня руки умѣе головы.

Смотрю я на него и думаю:

— Почему эти люди не боятся говорить обо всемъ?

— Зато,—продолжаетъ онъ.—у Мишки на двоихъ разума! Начетчикъ! Ты когда-то себя развернешь! Его заводскій постъ ересаруха называлъ. Жаль, съ Богомъ у него путаница въ головѣ! Это—отъ матери. Сестра моя знаменитая была женщина по божественной части,—изъ православія въ расколъ ушла, а изъ раскола ее вышибли.

Говоря, собирается онъ на работу, суется изъ угла въ уголокъ, и все вокругъ его трещить. Стулья падаютъ, полъ ходуномъ ходить. Смѣшно мнѣ и мило видѣть его такимъ.

— Что это за люди?—думаю.

— Мнѣ дня три можно у васъ прожить?

— Валий, — говорить, — хоть три мѣсяца! Чудакъ! Мы—не стѣсняемся, слава Богу!

Почесать голову и, ухмыляясь, объявить:

— Нѣтъ-нѣтъ, а все Бога вспоманешь! Привычка!

Снова загудѣлъ заводъ, и дядя ушелъ. А я направился въ сарай. Лежить тамъ Михаила, брови строго хмуриль, руки на груди, лицо румяное. Безбородый, зусый, скуластый, весь—одна кость крѣпкая.

— Что это за люди?..

Съ этимъ я и уснулъ.

А проснулся—шумъ, свистъ, гамъ, какъ на соборѣ всѣхъ чертей. Смотрю въ дверь—полонъ дворъ мальчишекъ, а Михайла въ бѣлой рубахѣ среди нихъ, какъ парусная лодка между малыхъ челноковъ. Стоитъ и хохочетъ. Голову закинулъ, ротъ раскрытъ, глаза прищурены, и совсѣмъ не похожъ на вчерашняго, постнаго человѣка. Ребята въ синемъ, красномъ, въ розовомъ—горятъ на солнцѣ, прыгаютъ, орутъ. Потянуло меня къ нимъ, вылѣзъ изъ сарая, одинъ увидалъ меня и кричить:

— Гляди, братцы, мона-ахъ!

И словно стружки сухія поджегъ—вспыхнули дѣти, завертѣлись, галдятъ, сверкаютъ...

— Ка-кой рыжай!

— Волосищи-то!

— Онъ-те дастъ тютю!

— Эхъ, язви его, здоровъ же!

— Не монахъ, а колоколья!

— Михайлъ Иванычъ—это кто?

Учитель нѣсколько сконфузился, а они хохочутъ, черти. Ужъ не знаю, чѣмъ я былъ смѣшонъ имъ, но и меня заразили—смѣюсь и кричу:

— Брысь, мыши!

А тутъ солнце, цвѣтной шумъ въ воздухѣ—и точно все вокругъ, вдрагивая радостно и буйно, мчится куда-то пестрымъ вихремъ и несетъ меня съ собой, ослѣпляя свѣтомъ, кутая тепломъ. Михайла здороваётся, руку жметъ.

— Мы,—говорить,—въ лѣсъ идемъ, не хотите ли съ нами?

Очень хорошо все: какой-то пузатый чертенокъ поддѣлъ мою скуфейку, напялилъ на голову себѣ и мотылькомъ летаетъ по двору.

Пошелъ я съ этой ватагой безумныхъ въ лѣсъ; день тотъ былъ для меня весьма памятенъ.

Высыпались ребята на улицу и легко, какъ перья по вѣтру, несутся въ гору, а я иду рядомъ съ ихъ пастыремъ и кажется мнѣ, что впервые вижу такихъ пріятныхъ дѣтей. Мы съ Михайлой идемъ сзади ихъ, онъ командуетъ, покрикиваетъ, дѣтишки не слушаютъ его—толкаются, борются, лукають другъ въ друга сосновыми шишками, спорять. А когда устали, окружили насъ, вертятся подъ ногами, какъ жуки, дергаютъ за руки учителя своего, спрашиваютъ что-то о травахъ и цвѣтахъ. Всѣмъ онъ говоритъ дружески, какъ равный имъ, и возвышается надъ ними, словно бѣлый парусъ. Всѣ дѣтишки бойкіе, но иные изъ нихъ—не по возрасту солидны и задумчивы, держатся около учителя и молчать.

Потомъ дѣти снова нѣсколько разсѣялись, и Михайла тихо сказалъ мнѣ:

— Развѣ они созданы только для работы и пьянства? Каждый изъ нихъ—вмѣстилище духа живого и могли бы они ускорить ростъ мысли, освобождающей насъ изъ плѣна недоумѣній нашихъ. А войдутъ они въ то же темное и тѣсное русло, въ которомъ мутно протекають дни жизни ихъ отцовъ. Прикажутъ имъ работать и запретятъ думать. Многие изъ нихъ—а, можетъ быть, и всѣ—подчинятся мертвой силѣ и послужатъ ей. Вотъ источникъ горя земли: нѣтъ свободы росту духа человѣческаго!

Онъ говоритъ, а рядомъ идутъ нѣсколько мальчишекъ и слушаютъ его; забавно это вниманіе! Что могутъ понять юные ростки жизни въ его рѣчахъ? Вспоминаю я своего учителя,—билъ онъ дѣтей линейкой по головамъ и часто бывалъ выпивши.

— Жизнь наполнена страхомъ,—говоритъ Михайла,—силы духа человѣческаго поѣдаетъ взаимная ненависть. Безобразна жизнь! Но—дайте дѣтямъ время ра-

сти свободно, не превращайте ихъ въ рабочій скотъ, и—свободные, бодрые—они освѣтятъ всю жизнь внутри и внѣ васъ прекраснымъ огнемъ юной дерзости духа своего, великой красотой непрерывнаго дѣянiя!

Вокругъ вездѣ желтыя головки, голубые глаза, румяныя лица, какъ живые цвѣты въ темной зелени хвои. Смѣхъ и звонкіе голоса веселыхъ птицъ, вѣстниковъ новой жизни.

И вся эта живая красота будетъ потоптана жадностью. Какой тутъ смыслъ? Рождается милый ребенокъ, радуясь, растетъ прекрасное дитя, и вотъ—пакостно ругается и горько стонетъ человѣкъ, бьетъ жену свою, гаситъ тоску водкой.

И, какъ бы отвѣчая думамъ моимъ, говоритъ Михайла:

— Разрушаютъ народъ, едино-истинный храмъ Бога живого, и сами разрушители гибнутъ въ хаосъ обломковъ, видятъ подлую работу свою и говорятъ: страшно! Мечутся и воютъ: гдѣ Богъ? А сами умертвили его.

Я вспоминаю рѣчи Іоны о дробленіи русскаго народа, и думы мои легко и славно тонутъ въ словахъ Михайлы. Но, не понимаю я, почему онъ говоритъ тихо, безъ гнѣва, какъ будто вся эта тяжкая жизнь уже прошлое для него?

Тепло и ласково дышитъ земля пьяными запахами смоль и цвѣтовъ. Звения, порхаютъ птицы.

Вьются дѣти, побѣдители тишины лѣсной, и мнѣ все болѣе ясно, что до этого дня не понималъ я ихъ силы, не видѣлъ красоты.

Хорошъ этотъ Михайла среди нихъ со спокойной улыбкой на лицѣ.

Говорю ему, улыбаясь:

— Уйду отъ васъ въ сторонку, надо мнѣ подумать!

Смотритъ онъ на меня, глаза его лучатся, рѣсницы дрожать, и сердце мое отвѣтно задрагиваетъ.

Ласку я рѣдко видѣлъ, цѣнить ее умѣю, и говорю ему:

— Хорошій вы человѣкъ!

Сконфузился онъ, опустилъ глаза и этимъ очень смутилъ меня. Постояли мы другъ противъ друга молча, разошлись. Потомъ онъ кричитъ мнѣ:

— Не заходите далеко, заплутаетесь!

— Спасибо!

Свернулъ я въ лѣсъ, выбралъ мѣсто, сѣлъ. Удаляются голоса дѣтей, тонетъ смѣхъ въ густой зелени лѣса, вдыхаетъ лѣсъ. Бѣлки скрипятъ надо мной, щуръ поетъ. Хочу обнять душой все, что знаю и слышалъ за послѣдніе дни, а оно слилось въ радугу, обнимаетъ меня и влечетъ въ свое тихое волненіе, наполняетъ душу; безгранично растетъ она, и забывъ я, потерялъ себя въ легкомъ облакѣ безгласныхъ думъ.

Къ ночи пришелъ домой и сказалъ Михаилъ, что мнѣ надо пожить съ ними до поры, пока я не узнаю ихъ вѣру, и чтобы дядя Петръ искалъ мнѣ работы на заводѣ.

— Вы бы,—говорить,—не торопились; отдохните и надо вамъ книги почитать!

У меня къ нему довѣріе.

— Давайте ваши книги!

— Берите.

— Я,—моль,—свѣтскихъ не читывалъ, дайте сами, что нужнѣе для меня, на примѣръ—исторію русскую?

— Человѣку—все нужно знать!—говорить онъ, и змотрить на книги такъ же ласково, какъ на дѣтей.

И вотъ—углубился я въ чтеніе; цѣлыми днями читалъ. Трудно мнѣ и досадно: книги со мной не спорятъ, онѣ просто знаютъ меня не хотятъ. Одна книга—замучила: говорилось въ ней о развитіи міра и человѣческой жизни, противъ библіи было написано. Все очень просто, понятно и необходимо, но нѣтъ мнѣ мѣста въ этой простотѣ, встаетъ вокругъ меня рядъ

разныхъ силъ, а я среди нихъ, какъ мышь въ западнѣ. Читалъ я ее раза два; читаю и молчу, желая самъ найти въ ней прорѣху, черезъ которую могъ бы я вылѣзти на свободу. Но не нахожу.

Спрашиваю учителя моего:

— Какъ же такъ? Гдѣ же—человѣкъ?

— Мнѣ,—говорить онъ,—тоже кажется, что это не вѣрно, а въ чемъ ошибка—объяснить не могу! Однако, какъ догадка о планѣ міра, это очень красиво!

Нравилось мнѣ, когда онъ отвѣчалъ „не знаю“ „не могу сказать“, и сильно приближало это меня къ нему, видна была тутъ его честность. Коли учитель разрѣшаетъ себѣ сознаваться въ незнаніи—стало быть, онъ знаетъ нѣчто! Много онъ зналъ неизвѣстнаго мнѣ, и обо всемъ рассказывалъ удивительно просто. Говорить, бывало, о томъ, какъ создались солнце, звѣзды и земля—и точно самъ онъ видѣлъ огненную работу невѣдомой и мудрой руки!

Бога не понималъ я у него; но это меня не беспокоило: главной силой міра онъ называлъ нѣкое вещество, а я мысленно ставилъ на мѣсто вещества Бога—и все шло хорошо.

— Богъ еще не созданъ!—говорилъ онъ, улыбаясь.

Вопросъ о Богѣ былъ постоянною причиною споровъ Михайлы съ дядей своимъ. Какъ только Михайла скажетъ „Богъ“—дядя Петръ сердится.

— Началъ! Ты въ это не вѣрь, Матвѣй! Это онъ отъ матери заразился!

— Погоди, дядя! Богъ для Матвѣя—коренной вопросъ!

— Не ври, Мишка! Ты пошли его къ чорту, Матвѣй! Никакихъ боговъ! Это—темный лѣсъ: религія, церковь и все подобное; темный лѣсъ, и въ немъ—разбойники наши! Обманъ!

Михайла упорно твердить:

— Богъ, о которомъ я говорю,—былъ, когда люди

единодушно творили его изъ вещества своей мысли, дабы освѣтить тьму бытія; но когда народъ разбился на рабовъ и владыкъ, на части и куски, когда онъ разорвалъ свою мысль и волю—Богъ погибъ, Богъ—разрушился!

— Слышишь, Матвѣй?—кричитъ дядя Петръ радостно.—Вѣчная память!

А племянникъ смотритъ прямо въ лицо ему и, понижая голосъ, продолжаетъ:

— Главное преступленіе владыкъ жизни въ томъ, что они разрушили творческую силу народа. Будетъ время—вся воля народа вновь сольется въ одной точкѣ; тогда въ ней должна возникнуть необоримая и чудесная сила, и—воскреснетъ Богъ! Онъ-то и есть тотъ, котораго вы, Матвѣй, ищете!

Дядя Петръ махаетъ руками, какъ дровосѣкъ.

— Не вѣрь ему, Матвѣй, вретъ онъ!

И, обращаясь къ племяннику, громитъ его:

— Ты, Мишка, нахватался церковныхъ мыслей, какъ огурцовъ съ чужого огорода навороваль, и смущаешь людей! Коли говоришь, что рабочій народъ вызванъ жизнь обновлять—обновляй, а не подбирай то, что полами до дыръ заносено, да и брошено!

Интересно мнѣ слушать этихъ людей и удивляютъ они меня равенствомъ уваженія своего другъ ко другу; спорять горячо, но не обижаютъ себя ни злобой, ни руганью. Дядя Петръ, бывало, кровью весь нальется и дрожить, а Михайла понижаетъ голосъ свой и точно къ землѣ гнетъ большого мужика. Состязаются предомной два человѣка и оба они, отрицая Бога, полны искренней вѣры.

— А какова моя вѣра?—спрашиваю я себя—и не умѣю отвѣтить.

Во время жизни съ Михайлой, думы мои о мѣстѣ Господа среди людей завяли, лишились силы, выпало изъ нихъ бывшее упрямство, вытѣсненное множествомъ

другихъ думъ. И на мѣсто вопроса: гдѣ Богъ?—всталъ другой: кто я и зачѣмъ? Для того, чтобы Бога искать?

Понимаю, что это бессмысленно.

По вечерамъ къ Михайлѣ рабочіе приходили, и тогда заводился интересный разговоръ: учитель говорилъ имъ о жизни, обнажая ея злые законы,—удивительно хорошо зналъ онъ ихъ и показывалъ ясно. Рабочіе—народъ молодой, огнемъ высушенный, въ кожу имъ копотъ въѣлась, лица у всѣхъ темныя, глаза—озабоченные. Всѣ до серьезнаго жадны, слушаютъ молча, хмуро; сначала они казались мнѣ невеселыми и робкими, но потомъ увидалъ я, что въ жизни эти люди и попѣть, и поплясать, и съ дѣвцами пошутить горазды.

Разговоры Михайлы и дяди его всегда касались однихъ предметовъ: власть денегъ, униженіе рабочихъ, жадность хозяевъ, необходимость уничтожить раздѣленіе людей на сословія. Но я не рабочій, не хозяинъ, денегъ не имѣю и не ищу—мнѣ эти разговоры душу не задѣвали. Казалось мнѣ, что слишкомъ большую силу придаютъ люди капиталамъ и этимъ унижаютъ себя. Началъ я вступать въ споры съ Михайлой,—доказываю, что сначала человѣкъ долженъ найти духовную родину, тогда онъ и увидитъ мѣсто свое на землѣ, тогда найдетъ свободу. Говорилъ я помногу и горячо, рабочіе слушали рѣчь мою добродушно и внимательно, какъ честные судьи, а которые постарше, тѣ даже соглашались со мной.

Но кончу я—заговорить Михайла со своей спокойной улыбкой—и сотретъ мои слова.

— Правъ ты, Матвѣй, когда говоришь, что въ тайнахъ живетъ человѣкъ и не знаетъ, другъ или врагъ ему Богъ, духъ его, но не правъ, утверждая, что невольники, окованные тяжкими цѣпями повседневнаго труда, можемъ мы освободиться изъ плѣна жадности, не разрушивъ вещественной тюрьмы... Прежде всего

должны мы узнать силу ближайшаго врага, изучить его хитрости,—для этого необходимо намъ найти друга друга, открыть въ каждомъ единое со всѣми, и это единое—наша неодолимая, скажу,—чудотворная, сила! У рабовъ никогда не было Бога, они обоготворяли человѣческій законъ, извнѣ внушенный имъ, и вовѣки не будетъ Бога у рабовъ, ибо Онъ возникаетъ въ пламени сладкаго сознанія духовнаго родства cadaго со всѣми! Не изъ дресвы и обломковъ строятся храмы, но изъ крѣпкихъ цѣльныхъ камней. Одиночество—суть отломленность твоя отъ родного цѣлаго, знакъ безсилія духа и слѣпота его; въ цѣломъ ты найдешь безсмертіе, въ одиночествѣ же—неизбѣжное рабство и тьма, безутѣшная тоска и смерть.

И когда онъ такъ говоритъ, то мнѣ кажется, что глаза его видятъ вдали великій свѣтъ, вовлекаетъ онъ меня въ свой кругъ, и всѣ забываютъ обо мнѣ, а на него смотреть радостно.

На первыхъ порахъ это обижало меня; думалъ я, что плохо принимаютъ мои мысли и никто не хочетъ углубиться въ нихъ такъ охотно, какъ въ мысли Михайлы.

Бывало, уйду незамѣтно отъ нихъ, сяду гдѣ-нибудь въ уголъ и тихонько бесѣдную съ гордостью своей.

Подружился я со школьниками; по праздникамъ окружали они меня и дядю Петра, какъ воробы снопъ хлѣба, онъ имъ что-нибудь мастерить, а меня дѣти разспрашиваютъ о Кіевѣ, Москвѣ, обо всемъ, что видѣлъ. Но часто, бывало, вдругъ кто-нибудь изъ нихъ такое спросить, что я только глазами хлопаю, удивленный.

Былъ тамъ Федя Сачковъ—тихий и серьезный ребенокъ. Однажды иду я съ нимъ лѣсомъ, говорю ему о Христѣ, и вдругъ онъ высказываетъ, солидно таково:

— Не догадался Христосъ на всю жизнь маленькимъ остаться, въ моихъ, примѣрно, лѣтахъ! Остался

бы такъ, да и жилъ, обличалъ бы богатыхъ, помогаль бѣднымъ—и не распяли бы его, потому—маленькій! Пожалѣли бы! А такъ, какъ онъ сдѣлалъ—будто и не было его...

Лѣтъ одиннадцать Федѣ, личико у него было блѣдное и прозрачное, а глаза недовѣрчивые.

Другой—Маркъ Лобовъ, старшаго класса ученикъ, худой, вихрастый и острый парвишко, былъ великій озорникъ и всеобщій гонитель: насвистываетъ тихонько и щиплетъ, колотить, толкаетъ ребятъ, словно молодой подпасокъ овецъ. Какъ-то, вижу я, донимаетъ онъ одного смирнаго мальчика, и уже скоро заплачетъ мальчикъ.

— Маркъ,—говорю я,—а если онъ тебѣ сдачи дастъ?

Взглянулъ на меня этотъ Маркъ и, усмѣхаясь, отвѣчаетъ:

— Не дастъ! Онъ смиренный, добрый онъ.

— Такъ зачѣмъ же ты его обижаешь?

— Да такъ,—говорить.

И, посвистѣвъ, прибавилъ:

— Смиренный онъ!

— Ну, такъ что?—спрашиваю.

— А для чего же смиренные-то живутъ?

Сказалъ онъ это удивительно спокойно, — видимо человѣкъ уже въ двѣнадцать лѣтъ увѣренъ былъ, что смиренные люди даны для обидъ.

Каждый изъ дѣтей по-своему мудрецъ, все больше они занимаютъ меня, все чаще я думаю о ихъ судьбѣ. Чѣмъ заслужили дѣти тяжелую обидную жизнь, которая ихъ ждетъ.

Вспоминаю Христа и сына моего вспоминаю, и возникаетъ въ душѣ злая мысль:

— Не потому ли запрещаете вы женщинѣ свободно родить дѣтей, что боитесь какъ бы не родился нѣкто опасный и враждебный вамъ? Не потому ли насилуется вами воля женщины, что страшенъ вамъ свободный

сынъ ея, несвязанный съ вами никакими узами? Воспитывая и обучая дѣлу жизни своихъ дѣтей, вы имѣете время и право ослѣплять ихъ, но боитесь, что ничей ребенокъ, растущій въ сторонѣ отъ надзора вашего, — вырастетъ непримиримымъ вамъ врагомъ!

Былъ на заводѣ и такой ничей человекъ — звали его Степа, — черный какъ жукъ, рябой, безъ бровей, съ прищуренными глазами, ловкій на всѣ руки, веселый паренекъ.

Знакомство наше началось съ того, что однажды въ праздникъ подошелъ онъ ко мнѣ и спрашиваетъ:

— Монахъ! Ты, слышь, незаконный? Ну вотъ, и я тоже!

И пошелъ со мной рядомъ. Было ему лѣтъ тринадцать, уже школу кончилъ и на заводѣ работалъ. Идетъ, прищуривъ глаза, и разспрашиваетъ:

— Велика земля-то?

Объяснилъ, какъ умѣлъ.

— А тебѣ, — молъ, — на что?

— Надо! Чего я на одномъ мѣстѣ буду торчать? Не дерево. Вотъ, какъ научусь слесарить — пойду въ Россію, въ Москву и — еще куда тамъ? — вездѣ пойду?

Говорить онъ такъ, какъ будто грозитъ кому-то:

— Я — приду!

Сталъ я послѣ этой встрѣчи наблюдать за нимъ; вижу — мальчика тянетъ къ серьезному: гдѣ Михайловы товарищи ведутъ свой разговоръ, тамъ и онъ трется, слушаетъ и щуритъ глаза, какъ бы прицѣливаясь, куда себя направить.

И озорничаетъ особенно: старается что-нибудь испортить тѣмъ людямъ, которые къ начальству стоятъ ближе, — инструментъ спрячетъ, сломаетъ что-нибудь, песку подсыпаетъ въ станки.

Однажды, во время обѣда, говоритъ мнѣ:

— Скучно, монахъ, здѣсь!

— Почему?

— Не знаю. Жидковато люди живутъ! Работа да забота! Скорѣе бы научиться мнѣ — отчалилъ бы я отсюда прочь!

И когда онъ говорилъ о будущемъ походѣ своемъ, то глаза его, открываясь, смѣло глядѣли впередъ, а видъ онъ имѣлъ завоевателя, который ни во что, кромѣ своей силы, не вѣритъ. Нравилось мнѣ это существо и въ рѣчахъ его чувствовалъ я зрѣлость.

— Этотъ—не пропадетъ!—думаю, бывало, поглядывая на него. И душа заноситъ о сынишкѣ моемъ: каковъ онъ и чѣмъ будетъ на землѣ?

Сталъ я замѣчать въ себѣ тихій трепетъ новыхъ чувствъ, какъ будто отъ cadaго человѣка исходитъ ко мнѣ острый и тонкій лучъ, невидимо касается меня, неощутимо трогаетъ сердце, и все болѣе чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочіе и какъ бы надышатъ горячее облако мысли, окутаетъ оно меня и странно приподниметъ. Вдругъ всѣ начнутъ съ полуслова понимать меня, стою въ кругу людей, и они какъ бы тѣло мое, а я ихъ душа и воля, на этотъ часъ. И рѣчь моя—ихъ голосъ. Бывало, что самъ живешь, какъ часть чьего-то тѣла, слышишь крикъ души своей изъ другихъ устъ и пока слышишь его—хорошо тебѣ, а минетъ время, замолкнетъ онъ, и—снова ты одинъ, для себя.

Вспоминаю бывшее единеніе съ Богомъ въ молитвахъ моихъ: хорошо было, когда я исчезалъ изъ памяти своей, переставалъ быть! Но въ сліянніи съ людьми не уходилъ я отъ себя, но какъ бы выросталъ, возвышался надъ собою, и увеличивалась сила духа моего во много разъ. И тутъ было самозабвеніе, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькія мысли мои и тревогу за мое одиночество.

Догадка эта пришла ко мнѣ безплотной и неясной: чувствую, что растеть въ душѣ новое зерно, но понять

его не могу; только замѣчаю, что влечетъ меня къ людямъ все болѣе настойчиво.

Въ тѣ дни работалъ я на заводѣ за сорокъ копеекъ поденно, таскалъ на плечахъ и возилъ тачкой разныя тяжести,—чугунъ, шлакъ, кирпичъ—и ненавидѣлъ это адово мѣсто со всей его грязью, ревомъ, гомономъ и мучительной тѣлу жарой.

Вцѣпилъ заводъ въ землю, придавилъ ее и, ненасытно-алчный, сосетъ дни и ночи, задыхаясь отъ жадности, воетъ, выплевывая изъ раскаленныхъ пастей огненную кровь земли. Остынетъ она, почернѣетъ,—онъ снова плавить, гудить, гремѣть, расплющивая красное желѣзо, брызжетъ искрами и, весь вздрагивая, тянетъ длинныя живыя полосы, словно жилы изъ тѣла земного.

Вижу въ этой дикой работѣ нѣчто страшное, доведенное до безумія. Воющее чудовище, опустошая нѣдра земли, копаешь пропасть подъ собой и, зная, что когда-то провалится въ нее, озлобленно визжитъ тысячью голосовъ:

— Скорѣй, скорѣй, скорѣй!

Въ огнѣ и громѣ, въ дождѣ огненныхъ искръ, работаютъ почернѣвшіе люди,—кажется, что нѣтъ имъ мѣста здѣсь, ибо все вокругъ грозитъ испепелить пламенной смертью, задавить тяжкимъ желѣзомъ; все оглушаетъ и слѣпѣетъ, сушитъ кровь нестерпимая жара, а они спокойно дѣлаютъ свое дѣло, возятся хозяйски-увѣренно, какъ черти въ аду, ничего не боясь, все зная.

Ворочаютъ крѣпкими руками малые рычаги и всюду—вокругъ людей, надъ головами у нихъ—покорно и страшно двигаются челюсти и лапы огромныхъ машинъ, пережевывая желѣзо... Трудно понять, чей умъ, чья воля главенствуютъ здѣсь! Иной разъ кажется, что человѣкъ взнуздалъ заводъ и править имъ, какъ желаетъ, а иногда видишь, что и люди, и весь заводъ повинуются дьяволу, а онъ—торжественно и пакостно

хохочеть, видя безмыслицу тяжелой возни, руководимой жадностью.

Говорятъ рабочіе другъ другу:

— Пора на работу вставать, эй!

Но люди на ней стоятъ, или она ихъ гнететъ и давить — не понимаю! Тяжела работа и властна, но остеръ и ловокъ человѣческій разумъ!

Порою въ этомъ адскомъ шумѣ и вознѣ машинъ вдругъ побѣдительно и беззаботно вспыхнетъ веселая пѣсня, — улыбаюсь я въ душѣ, вспоминая Иванушку-дурачка на китѣ, по дорогѣ въ небеса за чудесной жарь-птицей.

Народъ на заводѣ—по недугу мнѣ: все этакіе рѣзкіе люди, смѣлые, и хотя матерщинники, похабники и часто пьяницы, но свободный, безстрашный народъ. Не похожъ онъ на странниковъ и холоповъ земли, которые обижали меня своей робостью, растерянной душой, безнадежной печалью, мелкой жуликоватостью въ дѣлахъ съ Богомъ и промежъ себя.

Эти люди въ мысляхъ дерзкіе, и хотя озлоблены каторжнымъ трудомъ,—ссорятся, даже дерутся другъ съ другомъ,—но ежели начальство нарушаетъ справедливость, всѣ они встаютъ противъ его, почти какъ одинъ.

А тѣ парни, которые къ Михайлѣ ходятъ, всегда впереди, говорятъ громче всѣхъ и совершенно ничего не боятся. Раньше, когда я о народѣ не думалъ, то и людей не замѣчалъ, а теперь смотрю на нихъ и все хочу разнообразіе открыть, чтобы каждый предо мной отдѣльно стоялъ. И добиваюсь этого и нѣтъ: рѣчи разныя и у каждого свое лицо, но вѣра у всѣхъ одна и намѣреніе едино,—не торопясь, но дружно и усердно, строить они нѣчто.

Каждый изъ нихъ среди людей—свѣтель и пріятель, какъ поляна въ густомъ лѣсу для заплутавшагося; каждый тянетъ къ себѣ рабочихъ, которые посмышле-

нѣе, и всѣ Михайловы ребята въ одномъ планѣ держатся, образуя на заводѣ нѣкій духовный кругъ и костеръ свѣтло-горящихъ мыслей.

Сначала—неласково приняли меня, покрикиваютъ, посмѣиваются:

— Эй ты, рыжая муха! Священный клопъ! Дармоѣдъ! Захребетникъ!

Иной разъ и толкнетъ кто-нибудь, но этого я терпѣть не могъ и въ такихъ случаяхъ кулака не жалѣлъ. Но хотя людямъ сила и нравится, а кулакомъ ни уваженія, ни вниманія къ себѣ не выколотишь, и быть бы мнѣ сильно битому, если-бъ въ одну изъ моихъ ссоръ не вмѣшался Михайловъ дружокъ Гаврило Костинъ, молодой литейщикъ, весьма красивый парень и очень замѣтный на заводѣ.

Лѣзло на меня человѣкъ шесть и не добромъ они грозили бокамъ моимъ, но онъ всталъ рядомъ со мной и говоритъ:

— Зачѣмъ же, товарищи, дразнить человѣка? Развѣ онъ не такой же рабочій, какъ и всѣ мы? Несправедливо дѣйствуете, товарищи, и противъ себя! Наша сила—въ тѣсной дружбѣ...

Сказалъ онъ немного, но какъ-то особенно хорошо и просто, точно дѣтямъ говорилъ: всѣ дружки Михайлы каждымъ случаемъ пользовались, чтобы посѣять его мысли. Смутилъ Костинъ противниковъ моихъ, да и меня за сердце задѣлъ,—началъ я тоже рѣчь говорить:

— Я, — молъ, — не потому въ монахи пошелъ, что сытно ѣсть хотѣлъ, а потому, что душа голодна! Жить и вижу, вездѣ работа вѣчная и голодъ ежедневный, жульничество и разбой, горе и слезы, звѣрство и всякая тьма души. Кѣмъ же все это установлено, гдѣ нашъ справедливый и мудрый Богъ, видитъ ли Онъ изначальную, безконечную муку людей своихъ?

Собралось довольно много народа, слушаютъ серьез-

но; кончилъ я—молчать. Потомъ старый модельщикъ Крюковъ говорить Костину:

— Монахъ-то, пожалуй, глубже видитъ, чѣмъ ты съ товарищами! Онъ—съ корня беретъ; видалъ?

Мнѣ пріятно слышать такія слова, а Крюковъ хлопнулъ меня по плечу и сказалъ:

— Ты, братъ, говори, это хорошо! А волосищи-то, все-таки, срѣжь хоть на аршинъ: грязно съ этокой копной, да и людямъ смѣшно.

Кто-то, веселый, кричить:

— И въ дракѣ неловко, гляди!

Шутятъ, значить, злоба погасла. Гдѣ смѣхъ, тамъ и человѣкъ; скотина не смѣется.

Костинъ въ сторону отвелъ меня.

— Ты,—говорить,—Матвѣй, съ такими словами острожно, за нихъ въ острогъ сажаютъ, случается!

Удивился я.

— Чего?

— Въ острогъ... Знаешь?—Смѣется.

— За что?

— Да вотъ—за осужденіе!

— Путишь?

— Спроси,—говорить,—Михайлу, а мнѣ надо на работу вставать.

Ушелъ. Остался я очень удивленъ его словами, не вѣрится мнѣ, но вечеромъ Михайла все подтвердилъ. Цѣлый вечеръ рассказывалъ онъ мнѣ о жестокихъ гоненіяхъ людей; оказалось, что за такія рѣчи, какъ я говорилъ, и смертью казнили, и тысячи народа костями легли въ Сибири, въ каторгѣ, но Иродово избіеніе не прекращается, и вѣрующіе тайно растутъ.

Тогда въ душѣ моей все возвысилось и освѣтилось иначе, всѣ рѣчи Михайловы и товарищей его приняли иной смыслъ. Прежде всего—если человѣкъ за вѣру свою готовъ потерять свободу и жизнь, значить—онъ

вѣруетъ искренно и подобенъ первомученикамъ за Христовъ законъ.

Всѣ слова Михайловы соприкоснулись другъ-другу, расцвѣли и приобщились душѣ моей въ тотъ часъ.

Не хочу сказать, что сразу принялъ я ихъ и тогда же понялъ до глубины, но впервые тѣмъ вечеромъ почувствовалъ я ихъ родственную близость моей душѣ и показала мнѣ тогда вся земля Виелеемомъ, дѣтской кровью насыщенной. Понятно стало горячее желаніе Богородицы, коя, видя адъ, просила Михаила Архангела:

— Архангеле! Допусти меня помучиться въ огнѣ! Пусть и я раздѣлю великія муки эти!

Только здѣсь не грѣшныхъ, а праведниковъ видѣлъ я: желаютъ они разрушить адъ на землѣ, чего ради и готовы спокойно пріять всѣ муки.

— Можетъ быть,—говорю я Михайлѣ,—потому и нѣтъ теперь святыхъ отшельниковъ, что не отъ міра, а въ міръ пошелъ человѣкъ?

— Истинная вѣра, — отвѣчаетъ онъ, — необходимо является источникомъ дѣянія!

— Приобщите,—прошу,—и меня къ этому дѣлу!

Горить во мнѣ все.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ.—Подождите и подумайте, рано вамъ! Если вы, съ вашимъ характеромъ, попадете теперь же въ петлю врага, то надолго и бесполезно затянете ее. Напротивъ, послѣ этой вашей рѣчи надо вамъ уйти отсюда. Есть у васъ много нерѣшеннаго и для нашей работы—не свободны вы! Охватила, увлекаетъ васъ красота и величіе ея, но,—передъ вами развернулась она во всей силѣ,—вы теперь какъ бы на площади стоите, и виденъ вамъ посреди ея весь создаваемый храмъ во всей необъятности и красотѣ, но онъ строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общій планъ, возьметесь за нее—исчезнуть для васъ очертанія храма, разсѣется видѣніе не укрѣ-

пленное въ душѣ, и трудъ покажется вамъ ниже вашихъ силъ.

— Зачѣмъ,—съ тоской спрашиваю его,—вы меня гасите? Я себѣ мѣсто нашель, я — радъ видѣть себя силой нужной...

А онъ спокойно и печально говоритъ:

— Не считаю васъ способнымъ жить по плану, не ясному вамъ; вижу, что еще не возникло въ духѣ вашемъ сознаніе связи его съ духомъ рабочаго народа. Вы для меня уже и теперь отточенная треніемъ жизни, выдвинутая впередъ, мысль народа, но сами вы не такъ смотрите на себя; вамъ еще кажется, что вы—герой, готовый милостиво подать отъ избытка силъ помощь безсильному. Вы нѣчто особенное, для самого себя существующее; вы для себя—начало и конецъ, а не продолженіе прекраснаго и великаго безконечнаго!

Начинаю я понимать, зачѣмъ онъ пригибаетъ меня къ землѣ, чувствую неясную мнѣ правду въ словахъ его.

— Вамъ снова,—говоритъ,—надо тронуться въ путь, чтобы новыми глазами видѣть жизнь народа. Книгу вы не принимаете, чтеніе мало вамъ даетъ, вы все еще не вѣрите, что въ книгахъ не человѣческій разумъ заключенъ, а безконечно-разнообразно выражается единое стремленіе духа народнаго къ свободѣ; книга не ищетъ власти надъ вами, но даетъ вамъ оружіе къ самоосвобожденію, а вы—еще не умѣете взять въ руки это оружіе!

Вѣрно онъ говоритъ: чужда мнѣ была книга въ то время. Привыкшій къ церковному писанію, свѣтскому мыслъ понималъ я съ великимъ трудомъ,—живое слово давало мнѣ больше, чѣмъ печатное. Тѣ же мысли, которыя я понималъ изъ книгъ,—ложились поверхъ души и быстро исчезали, таяли въ огнѣ ея. Не отвѣчали онѣ на главный мой вопросъ: какимъ законамъ подчиняется Богъ, чего ради, создавъ по образу

и подобію своему, унижаетъ вопреки волѣ моей, коя есть Его же воля?

И рядомъ съ этимъ—не борясь—другой вопросъ живетъ: съ неба ли на землю низшелъ Господь, или съ земли на небеса вознесенъ силою людей? И тутъ же горитъ мысль о богостроительствѣ, какъ вѣчномъ дѣлѣ всего народа.

Разрывается душа моя надвое: хочу оставаться съ этими людьми, тянетъ меня идти провѣрять новыя мысли мои, искать неизвѣстнаго, который похитилъ свободу мою и смутилъ духъ мой.

Дядя Петръ тоже уговариваетъ:

— Надо тебѣ, Матвѣй, уйти на время, а то о рѣчахъ твоихъ пошелъ опасный разговоръ...

И скоро все рѣшилось какъ бы помимо моей воли: откуда-то съ другого завода прискакалъ ночью верховой и объявилъ, что у нихъ на заводѣ жандармы обыски дѣлають и что намѣрены они сюда явиться.

— Эхъ, рано!—говоритъ Михайла, огорченный.

Началась нѣкоторая суматоха, а дядя Петръ кричитъ мнѣ:

— Айда, Матвѣй, айда! Нечего тебѣ дѣлать здѣсь, не ты кашу заварилъ, не присаживайся!

И Михайла настойчиво совѣтуетъ, глядя прямо въ лицо мнѣ:

— Лучше вамъ уйти. Пользы отъ вашего присутствія мало, а вредъ можетъ быть!

Понимаю я, что хочется имъ спровадить меня и это—обидно. Но, въ то же время, чувствую я, что боюсь жандармовъ; еще не вижу, а уже боюсь! Знаю, что нехорошо уходитъ отъ людей въ часъ бѣды, и подчиняюсь ихъ волѣ.

Вытурили меня. Иду въ гору къ лѣсу по зарослямъ между пней, спотыкаюсь, словно меня за пятки хватають, а сзади молчаливый паренекъ Иванъ Быковъ спѣ-

шить, съ большой поноской на спинѣ—посланъ прятать въ лѣсу книги.

Добѣжали мы съ нимъ до опушки, нашель онъ свой тайникъ, укладываетъ въ него ношу свою. Спокоенъ. А мнѣ жутко. Спрашиваю его:

— А они сюда не придутъ?

— Кто ихъ знаетъ!—говорить.—Можетъ, и сюда придутъ. Надо—скорѣе!

Парень онъ неуклюжій, какъ изъ дубовой колоды топоромъ вырубленъ, голова—большая, одно плечо выше другого, руки непомѣрно длинны, и голосъ угрюмъ.

— Ты—боишься?—говорю.

— Чего?

— А что придутъ и заберутъ?

— Лишь бы спрятаннаго не нашли, а то—пускай!

Аккуратно уложилъ все въ яму, зарылъ, заровнялъ ее, набросалъ сверху хвороста, сѣлъ на землю и говорить, видя, что я собираюсь идти:

— Сейчасъ тебѣ записку должно принести, погоди.

— Какую?

— Не знаю я.

Поглядываю я изъ-за деревьевъ въ лощину—хрипѣть заводъ, словно сильнаго человѣка душить кто-то. Кажется, что по улицамъ поселка во тѣмѣ люди другъ за другомъ гонятся, борются, храпятъ со зла, одинъ другому кости ломаютъ. А Иванъ, не торопясь, спускается внизъ.

— Ты куда?

— Домой!

— А схватятъ?

— Я недавно въ дѣлѣ, меня, навѣрно, не знаютъ, а и схватятъ—не бѣда. Изъ тюрьмы люди умнѣе выходятъ.

Вдругъ кто-то громко и ясно спросилъ меня:

— Какъ же это ты, Матвѣй, Бога не боишься, а жандармовъ боишься?

Гляжу я на Ивана—стоитъ онъ и задумчиво смотритъ внизъ.

— Ты,—моль,—что сказалъ?

— Въ тюрьмѣ—много читають книгъ...

— Больше ничего?

— А развѣ этого мало?

Тлѣетъ внутри меня нѣкая ложь, и колючими искрами вспыхивають стыдные вопросы. Ночь прохладная, а мнѣ жарко.

— Я тоже съ тобой пойду!

— Не велѣно тебѣ!—строго говоритъ Иванъ.—Тебя же обязательно заберутъ,—вѣдь изъ-за твоихъ рѣчей суматоха-то начата!

— Какъ?

— Попъ донесъ въ Верхотурье.

Сѣлъ я на землю, а самъ говорю:

— Тогда—надо мнѣ идти!

Но страхъ мой держитъ меня.

— Бѣжить кто-то сюда!—тихо шепчетъ Иванъ.

Смотрю подъ гору—вверхъ по ней тѣни густо ползутъ, небо облачно, мѣсяцъ на ущербѣ то появится, то исчезнетъ въ облакахъ, вся земля вокругъ движется, и отъ этого безшумнаго движенія еще болѣе тошно и боязно мнѣ. Слѣжу, какъ льются по землѣ потоки тѣней, покрывая заросли и душу мою черными покровами. Мелькаетъ въ кустахъ чья-то голова, прыгая между вѣтвей, какъ мячъ.

Иванъ тихонько посвистываетъ и говоритъ:

— Это—Костя!

Знаю Костю,—мальчикъ лѣтъ пятнадцати, голубоглазый и бѣловолосый, слабосильный. Два года тому назадъ кончилъ въ школѣ учиться. Михайла готовитъ его въ помощники себѣ, тоже въ учителя.

И понимаю, что нарочно думаю объ этомъ: хочу посторонними мыслями свой стыдъ и страхъ заглушить.

Выскочилъ Костя, запыхался, голосъ рвется.

— Приѣхали! Тебя спрашиваютъ, монахъ! На... Дядя Петръ записку написалъ и велѣлъ мнѣ проводить тебя въ Лобановскій скитъ, идемъ!

Всталъ я, говорю Ивану:

— Прощай, братъ, кланяйся всѣмъ; скажи, чтобы простили меня!

А Костя толкаетъ и строго командуетъ:

— Ты—иди! Кому кланяться? Всѣхъ, навѣрно, заберутъ, какъ курятъ на базаръ!

Пошли. Костя впереди идетъ, тихонько рассказывая, что онъ видѣлъ тамъ, внизу; я шагаю за нимъ, и со всѣхъ сторонъ меня дергаетъ за полы, за рукава, словно спрашиваетъ кто-то:

— Куда? Запуталъ людей, а самъ уходишь?

Разсуждаю вслухъ, какъ бы самъ съ собой:

— Значить, это за меня люди попали...

Мальчикъ отвѣчаетъ:

— Не за тебя, а за правду! Ты развѣ правда? Ишь, какой хватъ!

Забавны его слова, и самъ онъ малъ, но чѣмъ-то задѣваетъ меня. Хочется мнѣ оправдать себя предъ нимъ, и началъ было я выкладывать мысли мои, какъ нищій кусочки изъ сумы.

— Да,—молъ,—видно, что великая неправда живетъ во мнѣ...

А онъ ворчитъ, возражая на каждое слово мое, какъ совѣсть:

— Ну ужъ и великая! Все бы тебѣ больше другихъ!

— Это—чужія слова,—думаю я.

— Недаромъ—говорить,—Костинъ тебя колокольной называлъ; не такой, которая въ свое время къ обѣднѣ зоветъ, а которая звонитъ сама себѣ, оттого, что криво строена и колокола на ней плохо привязаны...

Помолчалъ, и вдругъ объявляетъ:

— Не люблю я тебя, монахъ, какой-то ты—чужой...

— Какой?

— Не знаю... Не русскій, что ли, ты? Нехорошій...

Въ другое время я разсердился бы на него, а тутъ—молчу. И какъ-то обезсилѣлъ вдругъ, усталъ до смерти.

Ночь вокругъ и лѣсъ. Между деревьевъ густо налилась сырая тьма и застыла, и не видно, что—дерево и что—ночь. Блеснетъ сверху лунный лучъ, переломится во плоти тьмы—и исчезнетъ. Тихо. Только подъ ногами вѣтки хрустятъ и поскрипываютъ сухая хвоя.

Не боится мальчикъ правду сказать. Всѣ люди этой линіи, начиная съ Іоны, не носятъ страха въ себѣ. У однихъ много гнѣва, другіе—всегда веселы; больше всего среди нихъ скромно-спокойныхъ людей, которые какъ бы стыдятся показать доброе свое.

А Костя шагаетъ по тропѣ, тихо свѣтитъ мнѣ его бѣлая голова. Вспоминаю житіе отрока Вареоламея, Алексѣя-Божія человѣка, и другихъ. Не то... Думы мои словно кулики по болоту съ кочки на кочку прыгаютъ.

Спрашиваю мальчика:

— Ты читалъ житія святыхъ?

— Маленькій былъ—читалъ. Мать заставляла. А что?

— Нравятся тебѣ Божіи угодники?

— Не знаю... Пантелеймонъ—нравится, Егорій тоже. Со змѣею дрался. Не знаю я—какая людямъ радость, коли десятеро изъ нихъ святы стали?

Растетъ Костя на моихъ глазахъ.

— Ежели,—говорить,—царская или богатаго дочь во Христа повѣритъ, да замучаютъ ее—вѣдь ни царь, ни богачъ добре къ людямъ отъ этого не бывали. Въ житіяхъ не сказано, что исправлялись цари-то, мучители!

Потомъ, помолчавъ, говорить:

— Не знаю тоже, на что Христу муки нужны были. Пришелъ онъ горе побѣдить, а вышло...

Подумалъ и добавилъ:

— Ничего и не вышло!

Обнять захотѣлось мнѣ его: жалко Костю, и Христа жалко, и тѣхъ людей, что остались въ поселкѣ—весь человѣческій міръ. И себя. Гдѣ мое мѣсто? Куда иду?

Рѣдѣть тѣма короткой лѣтней ночи, сквозь вѣтви сосенъ ручьями льется сверху тихій свѣтъ.

— Ты не усталъ, Костя?

— Я?—говоритъ мальчикъ бодро.—Нѣтъ. Я люблю ночью ходить, будто сквозь нее проходишь, какъ особенную страну. Я—сказки люблю.

На разсвѣтѣ мы съ нимъ легли спать. Костя въ сонѣ какъ въ рѣчку нырнулъ, а я въ мысляхъ моихъ хожу, какъ нищій татаринъ вокругъ церкви зимой. На улицѣ—вьюжно и холодно, а во храмъ войти—Магометъ не велить.

Къ утру что-то надумалъ, и, когда мальчикъ проснулся, говорю ему:

— Ты прости, что зря шагаль со мной—не пойду я въ скитъ, не хочу прятаться!

Онъ же серьезно взглянулъ и замѣчаетъ:

— Да ты ужъ спрятался!

И, помахивая вѣткой, не смотритъ на меня.

— Ну, прощай, голубь!

Кивнулъ головой:

— Прощай!

Пошелъ я прочь. Оглянувшись—стоитъ онъ межъ деревьевъ, провожаетъ меня.

— Эй!—кричить.—Прощай!

И мнѣ стало пріятно, что повторилъ онъ слово это ласковѣе.

Много дней шелъ я, какъ больной, полонъ скуки тяжелой. Въ душѣ моей—тихій поземокъ-пожаръ, выгораетъ душа, какъ лѣсная поляна, и думы вмѣстѣ съ тѣнью моей то впереди меня ползутъ, то сзади тащатся ѣдкимъ дымомъ. Стыдно ли было мнѣ, или что другое,—не помню и не могу сказать. Родилась одна

черная мысль и гдѣ-то снаружи вьется вокругъ меня, какъ летучая мышь.

— Безбожники, а не богостроители...

Но тяжелѣе и шире всѣхъ думъ была во мнѣ, помню, нѣкая глухая тишина, лѣнивый и глубокий, какъ мутный омутъ, покой, и въ немъ, въ густой его глубинѣ, тяжело и трудно плаваютъ нѣмыя мысли, подобныя боязливымъ рыбамъ, извиваются и не могутъ вынырнуть изъ душевой глубины къ свѣту, наверхъ.

Иванѣ мало доходило до меня; какъ сквозь сонъ помню встрѣчи съ людьми.

Гдѣ-то около Омска на сельскую ярмарку попалъ и тамъ проснулся...

Сидить у дороги въ пыли слѣпой и тянетъ пѣсню, а поводиры, стоя на колѣняхъ около него, на гармоніи подыгрываютъ. Старикъ смотритъ въ небо пустыми глазами и отдаленнымъ ржавымъ голосомъ выводитъ пѣвучія слова, воскрешая старину:

— При царѣ ли Иванѣ Васильевѣ...

А гармонія глуховато подтягиваетъ:

— У-у-у...

Опустился я на землю рядомъ со слѣпымъ, протянулъ онъ мнѣ руку, подержалъ, опустилъ и, не переставая, поетъ:

— А и жилъ-былъ Ермакъ, Тимоѣевъ сынъ...

— А а-а...—вторитъ гармонія, и вокругъ пѣсни потихоньку собирается задумчивый народъ и серьезно слушаетъ старину, наклоняя головы къ землѣ.

Вѣетъ на меня сухимъ тепломъ, вижу лучи любопытныхъ глазъ и кто-то спрашиваетъ:

— А этотъ не поетъ?

— Онъ послѣ, погоди!

Разбойныя пѣсни я часто слыхалъ, но не зналъ, изъ чѣихъ словъ онѣ сложены, чья душа свѣтитъ въ нихъ, а на сей разъ понялъ это: говорить мнѣ пѣсня тысячами устъ древняго народа:

— Я тебѣ, человѣкъ, и за малую твою услугу великъ грѣхъ противъ меня прощу!

Народъ все любопытнѣе глядитъ на меня, поджигая мнѣ душу.

Кончили старикъ пѣсню, всталъ я и говорю:

Православные! Вотъ, жилъ разбойникъ, обижалъ народъ, грабилъ его... Смутился совѣстью, пошелъ душу спасать,—захотѣлъ послужить народу буйной силою своей и—послужилъ...

Сгустились люди вокругъ меня, точно обняли, растить ихъ вниманіе силу слова моего, даетъ ему звукъ и красоту, тону я въ своей рѣчи и—все забылъ; чувствую только, что укрѣпляюсь на землѣ и въ людяхъ,—поднимаютъ они меня надъ собою, молча внушая:

— Говори! Говори всю правду, какъ видишь!

Конечно, явился полицейскій, кричитъ: „разойдись!“ спрашиваетъ, о чемъ крикъ, требуетъ паспортъ. Народъ тихонько таетъ, какъ облако на солнцѣ; полицейскій интересуется, что я говорилъ. Иные отвѣчаютъ:

— Про Бога...

— Такъ себѣ, разное...

— Про Бога больше...

А какой-то чернорабочій человѣкъ стоитъ въ сторонѣ у телѣги, пристально смотритъ на меня и ласково улыбается. Полицейскій, однако, за шиворотъ меня схватилъ; хочется мнѣ стряхнуть его, но, вижу, люди смотрятъ на меня искоса, вполглаза, словно спрашиваютъ:

— А теперь что ты скажешь?

И отъ ихъ недовѣрія бѣднѣю я.

Однако, во-время справился, отвелъ руку начальства, говорю ему:

— Хочешь знать, что я сказалъ?

И снова началъ рассказывать о несправедливой жизни, — снова сгрудился базарный народъ большой толпой, полицейскій теряется въ ней, затираетъ его.

Вспоминаю Костю и заводскихъ ребятъ, чувствую гордость въ себѣ и великую радость—снова я силенъ, и какъ во снѣ... Свиститъ полицейскій, мелькаютъ разныя лица, горитъ множество глазъ, качаются люди жаркой волной, подталкиваютъ меня, и легко я среди нихъ. Кто-то за плечо схватилъ, шепчетъ мнѣ въ ухо:

— Иди, довольно, иди!

И толкаютъ, толкаютъ меня... Вотъ очутился я уже на какомъ-то дворѣ, чернобородый мужчина со мной рядомъ и одинъ молодецъ безъ шапки на головѣ. Черный говоритъ:

— Лѣзь черезъ плетень!

Лѣзу, потомъ—черезъ другой; забавно и пріятно мнѣ.

— Ага!—думаю,—вотъ вы какъ?

А чернобородый торопитъ:

— Живо, товарищъ, живо!

На ходу спрашиваю его:

— Вы—изъ какихъ?

— Изъ этакихъ!—говоритъ.

Парень безъ шапки слѣдомъ идетъ и молчитъ. Прогнали огороды, опустили въ оврагъ,—по дну его ручей бѣжитъ, въ кустахъ тропа вьется. Взялъ меня черный за руку, смотритъ въ глаза и, смѣясь, говоритъ:

— Ну, благополучнаго пути! Вотъ, Федюкъ тебя проводитъ до хорошей дороги, иди!

Парень говоритъ ему:

— А ты самъ скорѣй уходи...

Черный согнулся и полѣзъ въ гору, а я и Федюкъ пошли вдоль ручья.

— Что это за человѣкъ?—спрашиваю.

— Ссылный, кузнецъ. Тоже за политику.

— Этакихъ,—моль,—я знаю!

Весело мнѣ. А онъ—молчитъ.

Вглянувъ я на парня: лицо круглое, курносое, точно изъ камня высѣчено, а сѣрые глаза далеко впе-

редь ушли. Говорить—глухо, идетъ безъ шума и вытянулся весь, словно прислушивается или большая сила кверху тянетъ его. Руки за спиной держать, какъ, бывало, мой тестъ.

— Ты самъ—здѣшній?

— Поповъ батракъ.

— А гдѣ у тебя шапка-то?

Пощупалъ голову, поглядѣлъ на меня и спрашиваетъ:

— Тебѣ она на что?

— Такъ. Вечеръ, холодно будетъ...

Помолчалъ онъ, потомъ неохотно ворчить:

— Песъ съ ней, съ шапкой,—была бы голова!

Оврагъ все глубже, ручей звенить слышнѣе, вечеръ встаетъ изъ кустовъ.

Въ душѣ у меня неясно, а пріятно, и хочется мнѣ говорить съ человѣкомъ.

— Одинъ,—спрашиваю,—ссылный-то у васъ?

Тутъ паренъ точно шубу распахнулъ, весь открылся и медленно, глухо забубнилъ:

— Четверо. Баринъ изъ Москвы, трое рабочихъ съ Дона. Двое—смирные, даже водку пьютъ, а баринъ и этотъ, Ратьковъ, они—говорятъ! Тайно. Кое съ кѣмъ. А при всемъ народѣ—не рѣшались, покамѣсть. Ихъ тутъ много. Они—кругомъ. Самъ я—бирскій, Митьковъ Ѳедоръ. Пятый годъ здѣсь. За это время ихъ тутъ было одиннадцать. Въ Олежиномъ—восемь, въ Шиковой—трое...

Считалъ онъ долго, десятковъ до шести дошелъ; кончивъ—подумалъ, и снова говорить, шевеля пальцами:

— Даже нѣкоторые мужики между ними. Всѣ говорятъ одно: не годится такая жизнь! Стѣсняетъ. Покуда я этого не слыхалъ—жилъ спокойно. А теперь—вижу, ростомъ я не выросъ, а приходится голову нагибать, значитъ, вѣрно, стѣсняетъ!

Бесѣдуетъ парень трудно, выдергиваетъ каждое слово точно изъ-подъ ногъ. Идетъ впереди, на меня не оглядывается, широкий, крѣпкій. Спрашиваю:

— Грамотенъ?

— Зналъ, да позабылъ. Теперь съ начала обучаюсь. Ничего, могу. Надо, ну и можешь. А надо... Ежели бы только господа говорили о стѣсненіи жизни, такъ и песь съ ними, у нихъ всегда другая вѣра была! Но если свой братъ, бѣдный рабочій человѣкъ, началъ, то ужъ, значить, вѣрно! И потомъ — стало такъ, что иной человѣкъ изъ простыхъ уже дальше барина прозрѣваетъ. Значить, это общее, человѣчье началось. Они такъ и говорятъ: общее, человѣчье. А я — человѣкъ. Стало быть и мнѣ дорога съ ними. Вотъ я и думаю...

Слушаю я его и говорю самъ себѣ:

— Учись, Матвѣй...

А потомъ говорю ему:

— Что же, — молъ, — думать? — Это дѣло — Божье!

Онъ всталъ, — коломъ воткнулся въ землю, такъ что я его въ спину толкнулъ, — повернулъ ко мнѣ лицо и строго спрашиваетъ:

— То-то, Божье ли? Вотъ я и думаю. Потому что указано — чтѣ отца! И власти онѣ, тоже сказано, отъ Бога. Это подтверждено знаменіями. Значить, ежели старый законъ измѣняется — тоже должны быть даны знаменія! А гдѣ они? Въ сторону новыхъ законовъ — нѣтъ чудесъ! Никакихъ. Все по-старому. Вонъ въ Нижнемъ мощи открыли — и даны чудеса; говорятъ: не тѣ мощи, борода, дескать, у Серафима сѣдая была, а показываютъ — рыжую. Да дѣло-то не въ бородѣ, а въ чудѣ. Были чудеса? Были! Они этого не признаютъ. Считаютъ обманомъ всѣ признаки. Или говорятъ — это вѣра творить чудеса. И бываетъ такъ, что хочется мнѣ перебить ихъ, чтобы не смущали.

Снова стоитъ онъ и вокругъ его — ночь поднимается

съ земли. Круче падаетъ тропинка, торопливѣе бѣжитъ ручей и, тихо качаясь, шелестятъ кусты.

Я тихонько говорю человѣку:

— Иди, братъ!

Пошелъ онъ. И во тьмѣ не спотыкался, а я то и дѣло тыкаюсь въ спину ему.

Катится онъ внизъ, подобно камню, и въ тишинѣ гудятъ жуткія слова:

— Вѣдь ежели я повѣрю—тогда шабашъ! Я—не милостивъ, нѣтъ! У меня братъ въ солдатахъ былъ—удавился; сестра у кумысниковъ подъ Бирскомъ въ прислугахъ жила—ребенокъ у нея отъ нихъ кривоногій: четыре года, а не ходитъ. Значить, пропала дѣвка изъ-за баловства. Куда ее теперь? Отецъ—пьяница, а старшой братъ всю землю захватилъ. Весь я тутъ...

Вертимся мы съ нимъ среди кустовъ въ сырой тьмѣ; ручей то уходитъ отъ насъ въ глубину, то снова подыги подкатится. Надъ головами—безшумно пролетаютъ ночныя птицы, выше ихъ—звѣзды. Хочется мнѣ скорѣе идти, а человѣкъ впереди меня не спѣшитъ и непрерывно бормочетъ, какъ-бы считая мысли свои, взвѣшивая ихъ тяжесть.

— Этотъ черный, Ратьковъ, хорошій человѣкъ! Живетъ уже по новому закону. За обиженнаго—вступается. Меня урядникъ палкой билъ—сейчасъ онъ урядника обь землю. Посадили его на пятнадцать дней. Первое наше знакомство. Вышелъ онъ, я его спрашиваю: „ты какъ это можешь выступать противъ начальства?“ Онъ мнѣ сейчасъ рассказалъ свой законъ. Я къ попу. А попу говорить: „ага! ты вотъ какія мысли крутишь!“ Ратькова въ городъ отвезли въ тюрьму, три мѣсяца сидѣлъ, а я—девятнадцать днѣй. Спрашиваютъ тамъ меня: „онъ что говорилъ?“ „Ничего“. „Чему училъ?“ „Ничему не училъ“. Я тоже не дуракъ! Воротился Ратьковъ. Я говорю: „прости меня, дуракъ я былъ“. Онъ—только смѣется. „Ерунда“,—говоритъ!

Помолчалъ мой путеводитель, и тише, новымъ голосомъ, продолжаетъ:

— У него—все ерунда! Кровью харкаетъ—ерунда! Ъсть нечего—ерунда!

Вдругъ выругался по-матерному, обернулся грудью ко мнѣ и сквозь зубы свистить:

— Я все могу понять. Братъ пропалъ—это бываетъ въ солдатахъ. И сестрино дѣло—не рѣдкое. А зачѣмъ этого человѣка до крови замучили, этого не могу понять. Я за нимъ, какъ собака, побѣгу, куда велить. Онъ меня зоветъ „земля“... „Земля“,—говорить,—и смѣется. И что его всегда мучаютъ, это мнѣ—ножъ!

И снова похабно выругался, точно пьяный монахъ.

Раскрылся оврагъ, развернулъ свои стѣны по полю и, наклонивъ ихъ, слилъ съ темнотою.

— Ну,—говорить мнѣ провожатый,—прощай теперь!

Разказалъ дорогу на Омскъ, повернулъ назадъ и скрылся во тьмѣ. Безъ шапки.

Какъ погасли въ тишинѣ его тяжелые шаги, сѣлъ я, не хочу дальше идти!

Плотно легла на землю ночь и спить, свѣжая, густая, какъ масло. Въ небѣ ни звѣздъ, ни луны, и ни одного огня вокругъ, но тепло и свѣтло мнѣ. Гудятъ въ моей памяти тяжелыя слова провожатаго, и похожъ онъ на колоколъ, который долго въ землѣ лежалъ, весь покрытъ ею, изъѣденъ ржавчиной, и хотя глухо звонить, а по-новому.

Стоить предо мною сельскій народъ, серьезно и чутко слушая мою рѣчь, мелькаютъ озабоченныя лица, оттирая меня въ сторону отъ начальства.

— Вотъ какъ?—удивленно думаю я, и трудно повѣрить, что это было.

И снова думаю:

— Парень этотъ ищетъ знаменій,—онъ самъ чудо, коли могъ сохранить въ ужасахъ жизни любовь къ человѣку! И толпа, которая слушала меня—чудо, ибо

вотъ—не оглохла она и не ослѣпла, хотя долго и усердно оглушали, ослѣпляли ее. И еще большее чудо—Михайла съ товарищами!

Спокойно и плавно текутъ мои мысли, необычно это для меня и неожиданно. Осторожно разглядываю себя, тихонько обыскиваю сердце—хочу найти въ немъ тревоги и спорныя недоумѣнія. Улыбаюсь въ безгласной темнотѣ и боюсь пошевелиться, чтобы не расплескать незнакомую радость, коей сердце по-краю полно. Вѣрю и не вѣрю этой удивительной полнотѣ души, неожиданной находкѣ для меня.

Словно нѣкая бѣлая птица, давно уже рожденная, дремала въ сумракѣ души моей, а я этого не зналъ и не чувствовалъ. Но вотъ нечаянно коснулся ея, пробудилась она и тихо поетъ на утрѣ—трепещутъ въ сердцѣ легкія крылья, и отъ горячѣй пѣсни таетъ ледъ моего невѣрія, превращаясь въ благодарныя слезы. Хочется мнѣ говорить какія-то слова, встать, идти и пѣть пѣсню, да человѣка встрѣтить бы и жадно обнять его!

Вижу предъ собой лучистое лицо Іоны, милые глаза Михайлы, строгую усмѣшку Кости: всѣ знакомые, милые и новые люди ожили, сошлись въ моей груди и расширяютъ ее—до боли хорошо!

Такъ я, бывало, въ заутреню на Пасху Бога, себя и людей любилъ. Сижу и, вздрагивая, думаю:

— Господи, не Ты ли это? Не Ты ли это, красота красота, радость моя и счастье?

Кругомъ—тьма и въ ней свѣтлыя лица вѣрующихъ, тихо кругомъ, только мое сердце немолчно поетъ.

И глажу я землю руками, глупо похлопываю ладонями по ней, точно она конь мой и чувствуетъ ласку.

Не могу сидѣть, всталъ и пошелъ, —сквозь ночь, вспоминая Костины слова, видя предъ собою дѣтскую строгость его глазъ,—пошелъ и, опьяненный радостью, до поздней осени ходилъ по міру, собирая душой щедрія и новыя даянія его.

Въ Омскѣ на вокзалѣ переселенцевъ видѣлъ, хохловъ; много земли покрыли они тѣломъ своимъ, великая дружина трудовой силы. Ходилъ между ними, слушая ихъ мягкую рѣчь, спрашивалъ:

— Не боитесь такъ далеко забросить себя?

Одинъ изъ нихъ, сѣдой и согнутый работой, отвѣтилъ:

— Лишь бы была подъ ногами земля, а на ней — все недалеко! Тѣсно на землѣ, человѣкъ, тому, кто своимъ трудомъ долженъ жить; тѣсно, эхъ!

Раньше слова горя и печали пепломъ ложились на сердце мнѣ, а теперь какъ острая искра зажигаютъ его, ибо всякое горе нынѣ — мое горе, и недостатокъ свободы народу утѣшаетъ меня.

Нѣтъ людямъ мѣста и времени духовно расти—и это горько, это опасно опередившему ихъ, ибо остается онъ одинъ впереди, не видятъ люди его, не могутъ подкрѣпить силою своей, и, одинокій, бесполезно истлѣваетъ онъ въ огнѣ желаній своихъ.

Говорю я хохламъ, зная ихъ ласковый языкъ:

— Вѣка ходитъ народъ по землѣ туда и сюда, ищетъ мѣста, гдѣ бы могъ свободно приложить силу свою для строенія справедливой жизни; вѣка ходите по землѣ вы, законные хозяева ея,—отчего? Кто не даетъ мѣста народу, царю земли, на тронѣ его, кто развѣнчалъ народъ, согналъ его съ престола и гонитъ изъ края въ край, творца всѣхъ трудовъ, прекраснаго садовника, возрадившаго всѣ красоты земли?

Разгораются очи людей, свѣтитъ изъ нихъ пробудившаяся человѣческая душа, и мое зрѣніе тоже становится широко и чутко: видишь на лицѣ человѣка вопросъ и тотчасъ отвѣчаешь на него; видишь недовѣріе—борешься съ нимъ. Черпаешь силу изъ открытыхъ передъ тобою сердецъ и этой же силою объединяешь ихъ въ одно сердце.

Если, говоря людямъ, задѣнешь словомъ своимъ

общее всеѣмъ, тайно и глубоко погруженное въ душѣ каждого истинно-человѣческое, то изъ глазъ людей истекаетъ лучистая сила, насыщаетъ тебя и возноситъ выше ихъ. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрыленъ ты скрещеніемъ въ душѣ твоей всѣхъ силъ, извнѣ обнявшихъ тебя, крѣпокъ силою, кою люди воплотили въ тебѣ на сей часъ; разойдутся они, разрушится ихъ духъ, и снова ты—равенъ каждому.

Такъ началъ я скромный свой благовѣстъ, призывая людей къ новой службѣ, во имя новой жизни, но еще не зная Бога новаго моего.

Въ Златоустѣ, въ день какого-то праздника, на площади говорилъ, и опять полиція вмѣшалась, ловили меня, а народъ—снова скрылъ.

Познакомился я тамъ съ великолѣпными людьми; одинъ изъ нихъ, Яша Владыкинъ, студентъ изъ духовнаго званія, и теперь мой крѣпкій другъ, и на всю жизнь такимъ будетъ! Въ Бога не вѣруя, церковную музыку любить онъ до слезъ: играетъ на фисгармоніи псалмы и плачетъ, милѣйшій чуждакъ.

Я его спрашиваю, смѣясь:

— Отчего же ты реवेशь, еретикъ, аеистъ?

Кричитъ мнѣ, потрясая руками:

— Отъ радости, отъ предчувствія великихъ красотъ, кои будутъ сотворены! Ибо—если даже въ такой суетной и грязной жизни, ничтожными силами единицъ уже создана столь великая красота,—что же будетъ создано на землѣ, когда весь духовно-освобожденный міръ начнетъ выражать горѣніе своей великой души въ псалмахъ и въ музыкѣ?

Начнетъ онъ говорить о будущемъ, ослѣпительно ясномъ для него, и самъ удивляется видѣніямъ своимъ! Многимъ я обязанъ этому другу своему, равно какъ и Михайлѣ.

Десятки видѣлъ я удивительныхъ людей—одинъ до другого посылали они меня изъ города въ городъ, —

иду я, какъ по огненнымъ вѣхамъ,—и всѣ онѣ зажжены пламенемъ одной вѣры. Невозможно исчислить разнообразіе людей и выразить радость при видѣ духовнаго единства всѣхъ ихъ.

Великъ народъ русскій, и неописуемо прекрасна жизнь!

Въ Казанской губерніи пережилъ я послѣдній ударъ въ сердце, тотъ ударъ, который завершаетъ строеніе храма.

Было это въ Седмѣозерной пустыни, за крестнымъ ходомъ съ чудотворной иконой Божіей Матери: въ тотъ день ждали возвращенія иконы въ обитель изъ города,—день торжественный.

Стоялъ я на пригоркѣ надъ озеромъ и смотрѣлъ: все вокругъ залито народомъ, и течетъ темными волнами тѣло народное къ воротамъ обители, бьется, плещется о стѣны ея — нисходитъ солнце и ярко-красны его осенніе лучи. Колокола трепещутъ, какъ птицы, готовые летѣть вслѣдъ за рѣснью своей, и вездѣ—обнаженные головы людей краснѣютъ въ лучахъ солнца, подобно махровымъ макамъ.

У воротъ обители—чуда ждутъ: въ небольшой теплѣжкѣ молодая дѣвица лежитъ неподвижно; лицо ея застыло, какъ бѣлый воскъ, сѣрые глаза полуоткрыты, и вся жизнь ея—въ тихомъ трепетѣ длинныхъ рѣсницъ.

Рядомъ съ нею отецъ, высокій мужчина, лысый и сѣдобородный, съ большимъ носомъ, и мать — полная, круглолицая; подняла она брови, открыла широко глаза, смотритъ впередъ, шевеля пальцами, и кажется, что сейчасъ закричитъ она, пронзительно и страстно.

Подходятъ люди, смотрятъ больной въ лицо, а отецъ мѣрнымъ голосомъ говоритъ, тряся бородой:

— Пожалѣйте, православные, помолитесь за несчастную, безъ рукъ, безъ ногъ лежитъ четвертый годъ; попросите Богородицу о помощи, возмѣстится вамъ Господомъ за святые молитвы ваши, помогите отцу-матери горе избыть.

Видимо, давно возить онъ дочь свою по монастырямъ и уже потерялъ надежду на излѣченіе; выпѣваетъ неустанно одни и тѣ же слова, а звучать они въ его устахъ мертво. Люди слушаютъ прошеніе его, вздыхая крестятся, а рѣсницы дѣвушки все дрожать, открывая тоскливые глаза.

Можетъ быть, двадцать разслабленныхъ дѣвицъ видѣлъ я, десятки кликушъ и другихъ немощныхъ, и всегда мнѣ было совѣстно, обидно за нихъ,—жалко бѣдныя, лишенныя силы, тѣла, жалко ихъ безплоднаго ожиданія чуда. Но никогда еще не чувствовалъ я жалость съ такой силой, какъ въ этотъ разъ.

Великая нѣмая жалоба застыла на бѣломъ, полумертвомъ, лицѣ дочери, и безгласная тоска туго охватила мать. Тяжело стало мнѣ, отошелъ я, а забыть не могу

Тысячи глазъ смотря въ даль, и вокругъ меня плыветъ, точно облако, теплый и густой шопоть:

— Несутъ, несутъ!

Тяжело и медленно поднимается въ гору народъ, словно темный валъ морской, красной пѣной горитъ надъ нимъ золото хоругвей, брызгая снопами яркихъ искръ, и плавно качается, рѣветъ, подобно огненной птицѣ, осіянная лучами солнца, икона Богоматери.

Изъ тѣла народа поднимается его могучій вздохъ—тысячеголосое пѣніе:

— Заступница усердная, Мати Господа Вышняго!

Рубятъ пѣніе глухіе крики:

— Шагу! Прибавъ шагу! Шагу!

Въ рамѣ синяго лѣса свѣтло улыбается озеро, таетъ красное солнце, утопая въ лѣсу, весель мѣдннй гулъ колоколовъ. А вокругъ—скорбныя лица, тихій и печальный шопоть молитвы, отуманенные слезами глаза, и мелькають руки, творя крестное знаменіе.

Одиноко мнѣ. Все это для меня—заблужденіе безрадостное, полное безсильнаго отчаянія, усталаго ожиданія милости.

Подходятъ снизу люди; лица ихъ покрыты пылью, ручьи пота текутъ по щекамъ, дышать тяжело, смотрятъ странно, какъ бы не видя ничего, и толкаются, пошатываясь на ногахъ. Жалко ихъ, жалко силу вѣры, распыленную въ воздухъ.

Нѣтъ конца теченію народа!

Возбужденно, но мрачно и какъ бы укорая, несется по воздуху мощный крикъ:

— Радуйся, Всеблагая, радуйся!

И снова:

— Шагу! Шагу!

Въ цѣломъ облакѣ пыли сотни черныхъ лицъ, тысячи глазъ, точно звѣзды млечнаго пути. Вижу я: всѣ эти очи—какъ огненные искры одной души, жадно ожидающей невѣдомой радости.

Идутъ люди, какъ одно тѣло, плотно прижались другъ къ другу, взялись за руки и идутъ такъ быстро, какъ будто страшно далека ихъ путь, но готовы они сейчасъ же неустанно идти до конца его.

Душа моя дрожить великой дрожью непонятной тревоги; какъ молнія вспыхнуло въ памяти великое слово Юнино:

— Богостроитель народъ!?

Рванулся я, опрокинулся встрѣчу народу, бросился въ него съ горы и пошелъ съ нимъ, и заплѣлъ во всю грудь:

— Радуйся, благодатная сила всѣхъ силъ!

Схватили меня, обняли—и поплылъ человекъ, тая во множествѣ горячихъ дыханій. Не было земли подъ ногами моими, и не было меня и времени не было тогда, но только—радость, необъятная, какъ небеса. Былъ я раскаленнымъ углемъ пламенной вѣры, былъ незамѣтенъ и великъ, подобно всѣмъ, окружавшимъ меня во время общаго полета нашего.

— Шагу!

И неудержимо летитъ надъ землею народъ, готовый

перешагнуть всѣ преграды и пропасти, всѣ недоумѣнія и темные страхи свои.

Помню—остановилось все около меня, возникло смятеніе, очутился я около телѣжки съ больной, помню крики и ропотъ:

— Молебенъ, молебенъ!

Было великое возбужденіе: толкали телѣжку, и голова дѣвицы немощно, безсильно качалась, большіе глаза ея смотрѣли со страхомъ. Десятки очей обливали больную лучами, на разслабленномъ тѣлѣ ея скрестились сотни силъ, вызванныхъ къ жизни повелительнымъ желаніемъ видѣть больную возставшей съ одра, и я тоже смотрѣлъ въ глубину ея взгляда и невыразимо хотѣлось мнѣ вмѣстѣ со всѣми, чтобы встала она, не себя ради и не для нея, но для чего-то иного, предъ чѣмъ и она, и я—только перья птицы въ огнѣ пожара.

Какъ дождь землю влагою живой, насыщалъ народъ изсохшее тѣло дѣвицы этой силою своей, шепталъ онъ и кричалъ мнѣ и ей:

— Ты—встань, милая, вставай! Подними руки-то, не бойся! Ты вставай, вставай безъ страха! Болѣзненная, вставай! Милая! Подними ручки-то!

Сотни звѣздъ вспыхнули въ душѣ ея, и розовыя тѣни загорѣлись на мертвомъ лицѣ; еще больше раскрылись удивленные и радостные глаза, и, медленно шевеля плечами, она покорно подняла дрожація руки и послушно протянула ихъ впередъ—уста ея были открыты и была она подобна птенцу, впервые вылетающему изъ гнѣзда своего.

Тогда все вокругъ охнуло,—словно земля мѣдный! колоколъ и нѣкій Святогоръ ударилъ въ него со всей силой своей,—вадрогнуль, пошатнулся народъ и смѣшанно закричалъ:

— На ноги! Помогай ей! Вставай, дѣвушка, на ноги Поднимайте ее!

Мы схватили дѣвицу, приподняли ее, поставили на землю и держимъ легонько, а она сгибается, какъ колосъ на вѣтру, и вскрикиваетъ:

— Милые! Господи! О, Владычица! Милые!

— Иди,—кричитъ народъ,—иди!

Помню пыльное лицо въ поту и слезахъ, а сквозь влагу слезъ повелительно сверкаетъ чудотворная сила—вѣра во власть свою творить чудеса.

Тихо идетъ среди насъ исцѣленная, довѣрчиво жмется ожившимъ тѣломъ своимъ къ тѣлу народа, улыбается, бѣлая вся, какъ цвѣтокъ, и говорить:

— Пустите, я—одна!

Остановилась, покачнулась—идетъ. Идетъ, точно по ножамъ, разрѣзающимъ пальцы ногъ ея, но идетъ одна, боится и смѣется, какъ малое дитя, и народъ вокругъ ея тоже радостенъ и ласковъ, подобно ребенку. Волнуется, трепещетъ тѣло ея, а руки она простерла впередъ, опираясь ими о воздухъ, насыщенный силою народа, и отовсюду поддерживаютъ ее сотни свѣтлыхъ лучей.

У воротъ обители пересталъ я видѣть ее и немного опаматовался, смотрю вокругъ: всюду праздникъ и праздничный гулъ, звонъ колокольный и властный говоръ народа, въ небѣ ярко пылаетъ заря, и озеро одѣлось багрянцемъ ея отраженій.

Идетъ мимо меня нѣкій человекъ, улыбается и спрашиваетъ:

— Видѣлъ?

Обнялъ я его и поцѣловалъ, какъ брата послѣ долгой разлуки, и больше ни слова не нашлось у насъ сказать другъ другу; улыбаясь, молча разошлись.

...Ночью я сидѣлъ въ лѣсу надъ озеромъ, снова одинъ, но уже навсегда и неразрывно связанный душою съ народомъ, владыкой и чудотворцемъ земли.

Сидѣлъ и слушалъ, какъ все, что видѣлъ и позналъ я, растетъ во мнѣ и горитъ единымъ огнемъ, я же

отражаю этотъ свѣтъ снова въ міръ, и все въ немъ пламенѣетъ великой значительностью, одѣвается въ чудесное, окрыляетъ духъ мой стремленіемъ поглотить міръ, какъ онъ поглотилъ меня.

Нѣтъ у меня словъ, чтобы передать восторгъ этой ночи, когда одинъ во тьмѣ я обнялъ всю землю любовью моею, всталъ на вершину пережитаго мной и увидѣлъ міръ подобнымъ огненному потоку живыхъ силъ, бурно текущихъ къ сліянію во единую, цѣль которой—недоступна мнѣ.

Но я радостно понялъ, что недоступность цѣли есть источникъ безконечнаго роста духа моего и великихъ красотъ мірскихъ, а въ безконечности этой — безчисленность восторговъ для живой души человѣческой.

Наутро и солнце явилось для меня съ другимъ лицомъ: видѣлъ я, какъ лучи его осторожно и ласково плавили тьму, сожгли ее, обнажили землю отъ покрововъ ночи, и вотъ встала она предо мной въ цвѣтномъ и пышномъ уборѣ осени—изумрудное поле великихъ игръ людей и боя за свободу игръ, святое мѣсто крестнаго хода къ празднику красоты и правды.

Видѣлъ я ее, мать мою, въ пространствѣ между звѣздъ, и какъ гордо смотритъ она очами океановъ своихъ въ дали и глубины; видѣлъ ее, какъ полную чашу ярко-красной, неустанно-кипящей, живой крови человѣческой, и видѣлъ владыку ея—всесильный, безсмертный народъ.

Окрыляетъ онъ жизнь ея величіемъ дѣяній и чаяній ея, и я молился:

— Ты еси мой Богъ и творецъ всѣхъ боговъ, соткавшій ихъ изъ красотъ духа своего въ трудѣ и мятежѣ исканій Твоихъ!

— Да не будутъ міру бози иныя развѣ Тебе, ибо Ты еси единъ Богъ, творяй чудеса!

— Тако вѣрую и исповѣдую!

...И—по семъ, возвращаюсь туда, гдѣ люди освобождаютъ души ближнихъ своихъ изъ плѣна тьмы и суевѣрій, собираютъ народъ во едино, освѣщаютъ предъ нимъ тайное лицо его, помогаютъ ему осознать силу воли своей, указываютъ людямъ единый и вѣрный путь ко всеобщему слиянію ради великаго дѣла—всемирнаго богостроительства ради!

С. ГУСЕВЪ-ОРЕНБУРГСКІЙ.

СКАЗКИ ЗЕМЛИ.

*Посвящаю
Екатеринѣ Павловнѣ
Пшковой.*

... Съ воплемъ счастья слились въ поцѣлуѣ два угасшихъ міра. Серебряно-льדיстыя планеты полопались, какъ спѣлыя почки, на днѣ бездны, гдѣ два тусклыхъ солнца слились въ порывѣ страсти, какъ два усталыхъ сердца. И страсть зажгла ихъ снова. Въ черный мракъ вселенной безшумно метнулись бушующіе вихри распавшихся атомовъ. И несъ эфиръ въ безконечность ихъ содроганье, какъ блескъ свадебныхъ свѣчей. Въ буйномъ весельи они наслаждались свободой, кипя, носились, не сталкиваясь, въ бѣшеномъ танцѣ,—долго-долго,—пока радостное чувство распада не смѣнилось жаждой общенья... Изъ кипящаго хаоса возникъ новый міръ.

Ничто не могло остановить его роста, ничто!

Его родила Необходимость.

Она разсѣкла кипящую туманность на огненные вихри. Бросила огненные вихри, какъ шары, на ихъ орбиты. Охлаждая, сжимала ихъ въ твердые комки. Рисовала на нихъ узоры горъ и голубыя моря.

Такъ родилась Земля,—дочь и наслѣдница невѣдомыхъ міровъ.

Ничто не могло остановить ея роста, ничто!

Ее родила Необходимость.

... Земля была неустроена и пуста.

Бродили слѣпыя напряженныя силы въ царствѣ пляшущихъ атомовъ,—любовь и ненависть порождали въ нихъ. Изъ любви атомовъ родилась первая клѣточка. Хрупкою и нѣжною родилась она.

Лучъ солища зажегъ въ ней душу.

Новая въ этомъ мірѣ, среди невѣдомыхъ опасностей искала она себѣ подобныхъ, чтобы въ дружескомъ обществѣ отстоять существованье. И подобно атомамъ, въ механическомъ общеніи и механической борьбѣ создававшимъ груды скалъ, волны моря, порывы бурь,— всю эту сѣрую еще и печальную землю,—она, повинувшись памяти и инстинкту, создала коммуны, породившую организмы. И покрыла она горы лѣсами, степи травами и цвѣтами, дно морское кораллами, взбороздила рыбьей морской рябь, побѣждала по землѣ животнымъ, влетѣла ввысь на крыльяхъ птицы и, какъ насѣкомое, припала жаломъ къ сладкой влагѣ цвѣтовъ. Въ жадныхъ поискахъ совершенства, растя отъ формы къ формѣ подъ ударами борьбы за счастье жить, утончала она свои инстинкты, свои способности, пока въ самыхъ тонкихъ и благородныхъ клѣточкахъ,—клѣточкахъ мозга,—не вспыхнуло сознаніе.

И изъ сознанія медленно выросъ Разумъ.

И Разумъ сказалъ о себѣ:

— Я.

Такъ Природа противопоставила себя себѣ самой, точно заглянула въ туманное и тусклое зеркало.

... Человѣкъ — это растущій разумъ на основѣ животнаго. Это—Природа, познающая себя, какъ Истину, и наслаждающаяся собой, какъ Красотой.

Разумъ поднялъ въ глубь чернаго неба свой багровый факелъ и, взмахнувъ имъ, освѣтилъ бездну съ безстрашнымъ вопросомъ:

— Кто ты?

И бездна отвѣчала ему эхомъ:

... ты ...

Но онъ не узналъ себя.

Не понялъ себя!

До сихъ поръ Природа была мощной Волей. Теперь она стала Идеей. Идея, сливаясь съ волей, должна

была творить великую, несказанную Красоту, превращая эту милую землю въ прекрасный рай для прекраснаго существа. Но для этого Идея должна отражать Сущее. А Разумъ... создалъ Химеры. Какъ Природа, творя Разумъ, шла ощупью по пути безчисленныхъ опытовъ, такъ Разумъ, познавая Природу, шелъ въ туманѣ впечатлѣній обманчивыхъ и невѣрныхъ. Въ жадномъ исканіи Истины онъ понялъ силы природы, какъ боговъ, владѣвшихъ міромъ. Онъ сдѣлалъ вселенную жилищемъ этихъ боговъ. Онъ создалъ религію—культъ этихъ боговъ. Онъ создалъ мораль—волю этихъ боговъ.

И пришли хитрые и наглые и сказали:

— Вѣрь и повинуйся!

И волею боговъ стала воля хитрыхъ и наглыхъ.

Подъ священнымъ покровомъ небесъ они жадными руками захватили землю и осквернили вольный просторъ ея... Закрѣпили власть свою законами. Поставили троны... Было много троновъ, были они жадны, было имъ тѣсно. Поили они землю кровью въ военномъ разбоѣ. И въ черной тѣни враждующихъ троновъ стали хитрые и наглые господами земли. Подъ шумъ сраженій и льющейся крови обманутыхъ химерами рабовъ, подѣлили они богатства земныя между собой и загнали человѣчество въ загоны. На мрачныхъ скрижаляхъ исторіи вѣками чертили они кровавыя слова:

— Вѣрь и повинуйся!

Вѣками бить звучалъ и плетъ свистѣла надъ мыслью и волей человѣка.

Рабство пропитало жизнь.

Рабство пропитало клѣточки мозга.

Водопадъ бурной матеріи,—съ бушующей страстью, жадно искавшій черезъ человѣка невѣдомаго лучезарнаго совершенства,—перегородили шлюзы, и на шлюзахъ повисли крѣпкіе затворы. Красивое желанье,—дѣтя мощной воли и инстинктивныхъ исканій совершенства,—это великое „хочу“ Природы, порождавшее

всю многогранную прелесть жизни, было заключено въ оковы пошлаго разсудка и брошено въ темницу долга. Здоровые и сильныя инстинкты были сбиты съ пути химерами. И на землѣ появилось то, чего не знала природа:

Пошлость извращеннаго инстинкта.

Порокъ!

И самый наглый изъ пороковъ — добродѣтель, — маска разбойниковъ и лжецовъ, вольныхъ или невольныхъ.

Человѣкъ сталъ маленькій, жалкій, кровожадный, слабый, подлый, рабъ передъ сильными, деспотъ надъ слабыми.

И земля стала тюрьмой для него.

Черной гробницей неслась она въ пустыняхъ міра и дымилась кровью и слезами...

...Разумъ росъ!

Ничто не могло остановить его побѣдоноснаго роста! Ничто!

Ибо онъ — сынъ Необходимости.

Среди клѣточекъ химеръ, этихъ гіенъ и шакаловъ мозга, тупыхъ и наглыхъ, упорно вспыхивали, какъ яркія солнца, живыя, бодрія, жизнерадостныя клѣтки, жадно искавшія откровеній Природы. Онѣ видѣли стѣны земной тюрьмы и съ шумомъ бури обрушивались на нихъ. Трепеща въ пасти гіенъ и шакаловъ, звонкими голосами онѣ кричали глухому и нѣмому человѣчеству объ идеалѣ человѣка, о Великомъ Освобожденіи. Онѣ гордыми взмахами орлиныхъ крыльевъ вздымались въ самую глубь вселенной и сталкивали тамъ одинъ за другимъ сусальные престолы Химеръ.

Онѣ кричали:

— Знай!

Это была работа вѣковъ.

Внизу, въ долинахъ рабства, глухо шумѣло человѣческое море, вѣками слышалось непрерывное шуршанье миллионовъ ногъ, невѣрныхъ и жалкихъ...

...И звонъ цѣпей... и стоны...

И крики кровавой вражды... и пѣсни скорби...

И вопль недоумѣнья.

А одиночки, носители Истины,—эти яркія клѣточки въ темномъ мозгу человѣчества, — точно на скалахъ все перекликались, какъ часовые у выходовъ изъ огромныхъ тюремъ:

— Слу-ша-а-а-й! — звали они изъ вѣка въ вѣкъ. И вѣтеръ столѣтій разносилъ ихъ голосъ:

— Слу-у-ша-а-а-й....

.....

И пришла пора!

Бурно заволновалось человѣческое море и гордые волны его ударились съ ревомъ въ берега Химеръ. Великая Идея стала достояніемъ массъ, наплатала ихъ до боли въ груди, до страстной жажды мірового взрыва... великая идея Торжествующаго Разума: о блаженномъ существѣ на прекрасной, какъ рай, землѣ.

...Земля!..

Колыбель моя... мое единственное отечество!

Гражданинъ вселенной разумомъ, я сынъ твой моимъ тѣломъ, моими чувствами, моимъ жарко-бьющимся сердцемъ, моей жаждой Красоты и Истины. Много усилий употребила Природа, чтобы ликующая пѣснь вселенной проникла въ мое, рожденное тобою, сознанье. Я понялъ тебя... понялъ путь твой... черезъ тебя пойму вселенную, какъ Истину, и отражу ее тебѣ, какъ Красоту.

Ничто не остановитъ моего роста, ничто!

Меня родила Необходимость.

И когда придетъ часъ твой, Земля моя, и ты, усталая, упадешь въ сладкія объятія какой-нибудь тоскующей планеты, чтобы породить новый міръ въ багрянцѣхъ страсти, каждый твой атомъ будетъ проникнуть слѣдами моей жажды, моей мысли, моего упорства...

...Мы не умремъ, Земля моя!..

СКАЗКИ ЗЕМЛИ.

I.

О Д И Н Ъ.

I.

Было такъ знойно, что степь курилась.

Золотисто-желтая, она сухими объятьями сжимала село, дышала на него [палящимъ жаромъ. Призраки жажды,—крутились по ней вихри, простирая просящія руки въ золотую пыль раскаленного неба.

Хаты припадали къ землѣ съ тусклымъ взглядомъ, изсохшія отъ зноя. На пустынныхъ дворахъ колыбался бурьянъ и пахучая полынь. Заброшеннымъ кладбищемъ казалась сельская улица, а крестный ходъ—похоронной процессіей. Горячій вѣтеръ приносилъ со степи пыль, слѣпилъ глаза, рвалъ изъ рукъ темныя иконы. Хлопалъ хоругвями, мѣшалъ идти, раздувая полы одежду... казалось: люди борются съ бурей, склоняя впередъ тѣла, сгибая головы. Бабы, задыхаясь, часто мѣнялись иконами. У воротъ апатично крестились и вяло кланялись мужики, косматые отъ вѣтра.

Надъ высохшимъ ручьемъ долго просили Бога о дождѣ.

Просящія лица съ мольбой смотрѣли въ небо...

Съ неба сыпалась пыль.

А надъ ручьемъ безлистные деревья качались отъ вѣтра, и на нихъ долгимъ крикомъ, вторя унылому пѣнью, кричали галки, безсильно разѣвая клювы.

Бабы поднимали вверхъ худыя лица, и съ ихъ засохшихъ губъ срывался дрожащій крикъ:

— Да-ждь до-ждь...

Дьяконъ,—тусклый, пыльный,—шумно вздыхалъ:

— Да-ждь дождь...

О. Геннадій думалъ о сынѣ: что за гроза разразилась надъ его головой, тамъ, въ шумномъ городѣ? Его письмо пылало гнѣвомъ на неправды міра, жаждой невѣдомой правды. Но за словами что-то темное, тревожное было, какъ сонный крикъ. И тоскою звучало прощанье. О какомъ дальнемъ пути говорить онъ? Точно навѣки...

По сурово сжатымъ губамъ скользнула улыбка, какъ отблескъ пылающей степи.

— Тѣсенъ міръ его сыну... тѣсенъ міръ!

Хоругви бились, какъ красныя крылья.

Съ иконъ святые безучастно смотрѣли круглыми глазами. Пантелеймонъ застылъ съ ложечкою и ковчежцемъ, Георгій поражалъ дракона, Илья улетаѣ на огненныхъ коняхъ. Ликъ „казанской“ смотрѣлъ огромнымъ чернымъ пятномъ. Въ воздухѣ жила напряженная жажда огненныхъ молній, ударовъ грома, шумящихъ ливней.

Не пѣли, а кричали пѣвчіе:

— Да-ждь до-ждь....

Мрачная тѣнь легла на загорѣлое мѣдное лицо о. Геннадія, съ жесткой бѣловатой бородой, и внутрь ушелъ взглядъ темныхъ, почти мутныхъ, глазъ.

...Не Голгофа ли его жизнь?

Скитанья по приходамъ, взгляды вражды, шопотъ за спиной. Интриги и козни только потому, что привыкъ упорно и хмуро отстаивать свою правду. Но вотъ... и сыну чужда его правда! Что жъ дѣлать... Пусть идетъ своими путями, пусть смѣло идетъ! Развѣ не духъ отца горитъ въ немъ? Не всѣ ли мы на разныхъ поприщахъ жизни ищемъ живой воды, чтобы оросить жаждущую почву?.. А онъ, съ своей Юліей. издалека будетъ слѣдить за нимъ...

Мысль о женѣ всколыхнула въ немъ нѣжность.

И на мигъ небо улыбулось ему золотой улыбкой.
Засмѣялось солнце.

А вокругъ все стонало въ агоніи жажды:

— Да-ждь до-ждь...

Воспаленныя лица смотрѣли въ бездну неба:

— Да-ждь до-ждь...

Жаркія груди томились:

— Да-ждь до-ждь...

О. Геннадій въ смутномъ порывѣ поднялъ руки:

— Да-ждь до-ждь землѣ жа-ждущей, Спа-а-се!

Черный вихрь поднялъ лохматую голову. Потушилъ солнце. Упалъ тучей пыли на хоругви, плюнулъ въ иконы, больно ударилъ въ лица. Въ буйной ссорѣ крутились песчинки, металась пыль, сновали листья, неслись по кругу въ шумящей свалкѣ. И пришелъ другой вихрь и схватился съ этимъ. Хоругви пытались улетѣть. Иконы рвались изъ рукъ. Люди хрипящими голосами, ослѣпленные, догѣвали молебень.

Вихри распались.

Но еще жило ихъ безуміе въ возникшей ссорѣ.

Покрытый соромъ дьяконъ, получивъ за молебень деньги, со звономъ бросилъ на столъ мѣдныя монеты. И, взбрасывая руки, грозилъ о. Геннадію, поворачивая къ толпѣ багровое лицо:

— Люди добрые! Разсудите меня съ нимъ. За Іисуса Сладчайшаго—пятнадцать копеекъ! У меня брюхо... Разсудите меня съ нимъ!

Его обступали бабы съ молящими голосами:

— Дьяконъ! Дьяконъ!

Лаялъ щенокъ.

Крутились хоругви.

Мужики съ пыльными лицами окружили его. Дьяконъ метался въ ихъ толпѣ и кричалъ:

— За Илью пророка—гривенникъ! Пятакъ за „утоленіе печали“. Грошъ, грошъ... „всѣхъ скорбящихъ радости“. Братіе! Гдѣ то видано отъ начала вѣковъ? Мы святыхъ по дешевкѣ распродаемъ!

Точно таинственный, долго-жданный, лозунгъ бросалъ онъ въ толпу. И въ ней росло непонятное возбужденіе. Лица наливались кровью, въ воздухѣ металась грозящая руки:

— Дьяконъ правильно говоритъ!

— Такъ, такъ!..

— Отъ сего аукціона я и дѣти мои по міру пойдемъ!

— Вѣрно! А кому отъ того легче? Лучше взыщи... что положено. Какъ въ другихъ приходахъ. Взыщи! Не томи только!

Дьяконъ заглушалъ гомонъ голосовъ:

— Академикъ!.. Мой сынъ... Александръ... академикъ! Я родилъ... академика! Онъ прошелъ высшія науки. „Уставы предковъ священны“, — говоритъ мой сынъ... академикъ! Ибо, кто установилъ требы и даванія за нихъ? Сирѣчь таксу? Господь...

Мужики отзывались:

— Вѣрно!

Враждебною стѣною стояли противъ о. Геннадія и бросали въ лицо ему упреки:

— Не томи насъ наставленьями!

— Что въ томъ, что за требы не берешь, а за каждый шагъ преслѣдуешь?

— Кто безъ грѣха, что ты всякаго укоряешь грѣхомъ его?!

— Взыщи! Не томи только!..

Выталкивали изъ среды своей сѣдого, приземистаго, краснощекаго мужика.

— Вотъ Демьянъ! Говори ему, Демьянъ! Говори за всѣхъ, Демьянъ!

Демьянъ впивался въ лицо о. Геннадія острыми маленькими глазками.

— Моготы нашей больше нѣту,—говорилъ онъ.—
Что у насъ... Лавра? Хочешь живыми на небо втащить?
Мы сами туда дорогу найдемъ, коли понадобится...
вотъ что! Только пугаешь зря... вотъ что! У насъ дѣ-
вушки разучились пѣть пѣсни. Бабы, завидѣвъ тебя,
прячутся въ чуланы. Да скоро и мужикамъ въ пору
прятаться будетъ...

Кто-то угрюмо добавилъ:

— Точно въ каждомъ дьяволъ сидитъ!

Толпа возмущенно шумѣла:

— Взыщи!

— Каждый шагъ...

— Не томи!

Крутясь, какъ комокъ пыли, дьяконъ выбрасывалъ
къ о. Геннадію руки:

— Кто есть человѣкъ, который любитъ тебя?

Въ приступъ возмущенія грозилъ ему:

— Собственный сынъ ушелъ отъ тебя!..

Опираясь о столъ рукою, о. Геннадій спокойно стоялъ,
и сумрачно смотрѣлъ, не отрывая глазъ, на вихрь лицъ,
и точно о грудь его, остро-колющая, разбивалась буря
возмущенья.

Но при словахъ дьякона глаза его мрачно вспых-
нули.

— Безумцы!—протянулъ онъ руку.—Обличеньями ли
моими недовольны?

— Да! Да!—кричали ему въ отвѣтъ.—Да, да!

Обступали его съ безпорядочнымъ гомономъ:

— Запугивалъ все село!

— Не томи!

— Моготы нѣтъ!

Оглушали его криками.

Глаза его загорѣлись, и голосъ принялъ металличе-
скій тонъ:

— Жесткимъ жезломъ моего слова, какъ упорное
стадо, гоню васъ въ царство Отца Небеснаго. А вы...

каменные души! Вы отъ боли кричите, ибо нѣтъ въ васъ мѣста, чистаго отъ грѣха!

Онъ возвысилъ голосъ среди возмущеннаго шума.

— Съ гнойныхъ пастбищъ грѣха гоню васъ! Предъ вратами Ада сторожу васъ! Ибо я пастырь, а вы—овцы мои, безумныя овцы, забывшія Бога! Ночами въ слезахъ молюсь за ваши души,—за упорныя души блудниковъ, клятвопреступниковъ, лихоимцевъ, безбожниковъ, пьяницъ и татей. Я обличаю васъ? Да! Ибо я голосъ совѣсти вашей. Если бъ я не обличалъ васъ,—громъ небесный обличилъ бы васъ въ то время, когда вы, пьяные, валяетесь подъ заборами, когда вы крадетесь тайкомъ къ чужимъ женамъ и ваши жены дѣлають то же... когда вы предаетесь скотскимъ порокамъ... когда вы, какъ тати, стремитесь захватить чужое, ненасытные, какъ пѣвки! И когда вы тонете, беззаботные, въ черной пучинѣ грѣха, одинъ я стою на стражѣ, и за каждымъ шагомъ вашимъ слѣжу, дабы...

Кто-то изъ толпы дерзко и угрюмо сказалъ:

— За своей женой слѣдилъ бы лучше!

Точно получивъ ударъ, о. Геннадій вскинулъ голову и густо вспыхнулъ.

Наступила смущенная тишина.

Только дьяконъ веселился и радовался.

— Его жена!—повторялъ онъ.—Его жена!

Бабы моляще шептали ему:

— Дьяконъ! Дьяконъ!

Но онъ выбрасывалъ руки изъ толпы ихъ.

— Мы знаемъ... его жена!... Кто видитъ сучокъ въ глазу брата, не видитъ въ своемъ бревна! Его жена...

Точно посыпались искры съ лица о. Геннадія.

Онъ хотѣлъ что-то крикнуть, но задохнулся.

Сдѣлалъ впередъ шагъ.

И вдругъ съ силою ударилъ дьякона въ щеку.

— Святитель Николай... Арія... за Христа... а я за жену мою... за святую!

Между ними бросились.

Шумѣли, кричали, уговаривали.

О. Геннадій мутнымъ взглядомъ оглядѣлъ ихъ...

...Отхлынули.

Образовали кругъ, кого-то пропуская.

Двѣ бабы вели подъ руки костляваго старика.

Онъ былъ сухъ и пыленъ, какъ образъ Засухи.

Безцвѣтными глазами съ сѣраго лица смотрѣлъ онъ на о. Геннадія. Раскрывъ беззубый черный ротъ, задышался, палимый жаждой, и грудь его подъ холщевой рубашой работала, какъ мѣхи, а босыя ноги въ грязныхъ портахъ едва переступали.

— Засохъ!—шумно шепталъ онъ.—Только и облегченія, когда желѣзо сосу. А воды глотокъ... не доржится! Сейчасъ сонъ видѣлъ: нагнулся въ колодезь... упалъ. А тамъ горячія жабы облѣпили... пили мою кровь!

Бабы кланялись:

— Напутствуй его, батюшка!

О. Геннадій провелъ рукою по лицу, будто сонный.

— Сейчасъ,—сказалъ онъ, задыхаясь, — я сейчасъ.

Схожу домой... за святыми дарами.

Пошелъ.

Степь жарко дышала ему въ разгоряченное лицо.

По ней плясали вихри, какъ черные монахи.

...И гдѣ-то въ выпинѣ клеталъ степной орелъ...

II.

Солнце бросало отвѣсные лучи, точно ѣдкія стрѣлы.

Расплавленное золото степи, какъ море, колыхаясь, плескалось, вливая въ улицы волны горячихъ вздо-

ховъ и томныхъ поцѣлуевъ земли. Отъ травъ, — полу-засохшихъ, — отъ безводныхъ облаковъ, — прозрачно бѣлыхъ, отъ крика коршуновъ, отъ горизонтовъ, — мутно-желтыхъ, жадныхъ, отъ черныхъ вихрей, — сухихъ, безшумныхъ, шло напряженно-знойное томленье.

Мутныя волны влекли о. Геннадія быстро впередъ.

Солнце жгло бѣлыя стѣны дома.

Ставни были наглухо закрыты.

И казались ему темныя ставни комками грязи, брошенными враждой на бѣлыя стѣны.

Кровь кипѣла.

Онъ оттолкнетъ грязныя руки вражды... съ гнѣвомъ оттолкнетъ ихъ! Среди грѣховнаго мірового потопа его священный ковчегъ — семья его. Уже не разъ темные намеки, какъ ржавые гвозди, впивались въ его сердце...

— Онъ презираетъ ихъ... да, презираетъ!

...Развѣ ея милое сердце не раскрыто передъ нимъ, какъ страницы священной книги? Развѣ вынесъ бы онъ холодныя бури своего одинокаго пастырства безъ сладостнаго дуновенія ея кроткой и вѣрной души? Молчаливая, она умѣла всегда поддержать его взглядомъ, ободрить улыбкой. Не ея ли рука скользила по волосамъ его легкимъ прикосновеніемъ, отгоняя тяжелыя думы? Не казалось ли ему солнцемъ лицо ея, когда возвращался онъ усталый и измученный съ послушаній?

— Да! Солнце... она солнце жизни его... его Юлія!

Горячая нѣжность обняла его.

Прошелъ въ темныя сѣни съ тайною мыслью:

— Спать? Отъ жары разметалась... Осторожно пойду, не разбужу... перекрещу ее!

Безшумно проникъ въ душную залу...

Мебель стояла, нахохлившись отъ жары. Въ углу бѣлѣлъ гипсовый образъ Христа. Въ стекло съ громкимъ жужжаніемъ билась одинокая муха.

Онъ стоялъ среди залы съ бьющимся сердцемъ, и въ темнотѣ отъ улыбки бѣлѣли его зубы.

Смутно и странно прокричалъ кто-то?

Нѣтъ... слышалось?

Осторожно ступая, пошелъ.

Безшумно раздвинулъ темныя заставъски спальни.

Вставилъ лицо между ними.

...Заглянулъ...

...Въ безстыдствѣ обнаженныхъ членовъ... въ бѣшеное бѣгѣ ногъ и рукъ, дрожащихъ бѣдеръ, плечъ, какъ мировую ткань, ткалъ паутину грѣхъ, ткалъ паутину грѣхъ, нагой, безстыдный.

Въ чаду палящихъ вздоховъ, укусовъ, криковъ, алчныхъ поцѣлуевъ, бѣшено билось золотистое тѣло въ крѣпкихъ, черныхъ, настойчивыхъ объятіяхъ. Обвивалось змѣиными кольцами, пухлыми, бѣлыми. Разжималось и страстно вытягивалось, нагло безстыдное въ каждомъ движеніи, нагло прекрасное, знакомое... и чужое, невѣдомое тѣло... оно искало невѣроятнаго, оно торопилось, какъ воръ, оно дрожало, какъ преступникъ, оно жадно пило, какъ умирающій отъ жажды, послѣднія капли исчезающей влаги. Оно превращалось все въ золотистый поцѣлуй, пламенно лгнущій.

Млѣло и нѣмѣло.

Падало само и увлекало за собой сквозь сладко гаснущій міръ, сквозь бредъ и блаженный сонъ, въ адскія бездны кричащаго наслажденія,—падало и звало изъ бездонныхъ пропастей млѣющимъ шопотомъ бреда... ненасытное...

...Еще...

Въ сорокѣхъ, поспѣшно накинута, не скрывавшей ея пухлыхъ ногъ и пышной груди, быстро вышла, полная дикаго испуга. Запахнула за собою занавѣски и стояла, крѣпко держа ихъ. Золотисто-томное пылающее лицо ея, красиво-пухлое, съ сочными, влажными,

еще дрожащими отъ поцѣлуевъ губами, обвивали темныя космы спутанныхъ волосъ, змѣями падая на горящія щеки. Изъ глазъ, еще хранившихъ тухнущія искры, смотрѣлъ звѣриный ужасъ.

У иконы Христа стоялъ о. Геннадій.

Онъ стоялъ спиною и свертывалъ въ эпитрахиль дароносицу.

Обернулся.

Не взглянулъ на нее.

Пошелъ.

— Ганя!—позвала она беззвучно.

Онъ скорѣе почувствовалъ, чѣмъ услыхалъ ея зовъ.

Остановился, не обертываясь.

— Ты... зачѣмъ... приходилъ?

— Нужно причастить... умершаго, — сказалъ онъ.

И голосъ его былъ далекъ и пустъ.

— Умершаго... что?...

— Умиращаго,—поправился онъ.

Повинуясь сжимавшему душу сомнѣнью, она отдѣлилась отъ занавѣсокъ, безшумно ступая босыми ногами.

— Ганя!

Страхъ шепталъ ея губами:

— Что же ты... не поцѣлуешь меня?

Онъ рѣзко обернулся.

Со вспыхнувшаго лица готово было сорваться бьющее слово навстрѣчу ея косматой головѣ и нагому тѣлу:

— Блудница!

Сдержался. Отвернулся.

— Я со святыми дарами!—глухо сказалъ.

Ушелъ.

Пылала багровая заря.

За околицу въ степь, змѣистой дорогой, быстро шелъ о. Геннадій навстрѣчу зарѣ... по кровавому морю.

Золотисто-знойная, напряженная, солнечная кровь артерій дня точно отхлынула къ сердцу утомленной поцѣлuyами солнца, сладко отдыхающей, земли... воздухъ, дали, небо налились густой венозной кровью. Межъ сухого дрожащаго ковыля кровь плыла и уплывала. Гонимая дыханьемъ вѣтра по курганамъ, клубясь въ низинахъ, играя въ лентѣ рѣки, на горизонтахъ сгущаясь въ багровые сгустки, кровь плыла и уплывала. И какъ счастливая улыбка засыпающей земли, быстро угасала заря.

Шель...

А въ ухахъ его стоялъ шумъ погони... шумъ погони обнаженныхъ тѣлъ. Ускорялъ шагъ, весь подаваясь впередъ, съ полураскрытымъ ртомъ, съ невидящимъ взглядомъ. Но босыя ноги шуршали за нимъ, теплое дыханье обвивало его, плыли страстные вздохи.

...Падали... сплетались... извивались...

Ихъ страстнымъ лепетомъ проникалось небо.

Томленьемъ ихъ томились травы, звѣзды, дали.

...Вставали... бѣжали... нагоняли... безстыдные... косматые... нагіе...

Страшнымъ усиліемъ воли онъ погашалъ эти образы бреда.

Смотрѣлъ въ глубь неба.

Тамъ... за блѣдными звѣздами... Богъ!

Онъ бросалъ ему обрывки словъ.

— Ты... создавшій! Ты... бросившій человѣка на грязную землю, какъ похотливаго червя! Тайнственный! Непонятный! Зачѣмъ налилъ сердце человѣка мутной кровью? Жилы его—расплавленнымъ оловомъ страсти? Ты... сотворившій ангеловъ... Зачѣмъ? Зачѣмъ?!

Но слова были мертвы и пусты.

И Богъ былъ ему далекъ и чуждъ.

... На курганѣ, у чернаго креста, его уже встрѣтила ночь.

Но были нѣжныя руки ея пусты для него.

Темный покровъ ея легъ на него, какъ трауръ.

Ея задумчиво-спокойное лицо было для него лицомъ застывшаго отчаянія. Онъ озирался, какъ затравленный... міръ измѣнился, міръ сталъ чуждъ для него, міръ смотрѣлъ на него пустыми впадинами мертваго лица. Къ кому онъ протянетъ руки, кому крикнетъ про свою смертную муку?! Отъ горизонта до горизонта онъ одинъ. Пусть стучитъ онъ въ небо, какъ въ крышку гроба... оно будетъ глухо! Человѣкъ брошенъ съ своимъ страданьемъ на пустую землю... одинъ! Пусть бьется онъ съ крикомъ о земную грудь... онъ будетъ одинъ. Пусть протягиваетъ онъ руки къ звѣздамъ, кричитъ тучамъ, зоветъ вихри, бурѣ подставляетъ горящее лицо и въ ночную тьму бросаетъ слезы... онъ будетъ одинъ. Вѣчно... въ нѣмой тишинѣ, въ шумѣ урагана, среди крикливаго людского потока, во мглѣ долинъ...

Одинъ!

Воспаленнымъ взглядомъ онъ всматривался въ тьму.

...Міръ умираетъ!

Въ агоніи томится темное село.

Безмолвный боръ, припавъ къ землѣ, умираетъ. Умираютъ долины и въ нихъ засохшія травы, увядшіе цвѣты, усталыя птицы, задохнувшаяся отъ песковъ рѣка. Умираетъ небо съ дрожащими звѣздами... и бездна, пустая бездна тамъ, вверху, умираетъ.

Онъ одинъ среди этой пустой бездны... онъ одинъ!

Завтра потухнетъ солнце... а онъ будетъ одинъ!

Завтра погаснутъ звѣзды... а онъ будетъ одинъ.

Завтра земля содрогнется, и встанутъ моря съдой грядой, чтобы смыть горы съ ихъ основаній въ послѣдней гибели міра... а онъ будетъ одинъ.

Завтра Богъ сойдетъ въ огненной бурѣ для послѣдняго суда... а онъ будетъ одинъ.

И встанутъ мертвые... и найдутъ милыя лица, а онъ будетъ одинъ.

И по тропинкамъ рая будутъ ходить они, обнявшись,

счастливые въ радости встрѣчи... а онъ будетъ одинъ.

И кричало ему небо:

— Одинъ! Одинъ!

И смѣялся ему вѣтеръ:

— Одинъ... одинъ!

И звенѣли ему травы:

— Одинъ... одинъ!

И шептала ему ночь:

— Одинъ... одинъ...

Пришли изъ черной тьмы и овладѣли имъ, обезсиленнымъ, образы бреда.

Отъ равнодушныхъ звѣздъ, отъ далей, — нѣмныхъ и темныхъ, — отъ рѣки, какъ змѣя, извивной, отъ чернаго бора, отъ земли и неба тянулись къ нему липкія нити, сплетались передъ нимъ въ узоры бѣлыхъ тѣлъ... нагихъ, безстыдныхъ тѣлъ, — всюду, всюду, — какъ дикій сонъ наполняли степь, трепетали на горизонтахъ, извивались на курганахъ, дрожали во мглѣ низинъ.

Золотистымъ свѣтомъ ихъ наполнялась тьма.

Земля казалась ему измятымъ ложемъ ихъ грѣха, самое небо — ихъ сброшенной одеждой.

Онъ со стономъ закрывалъ глаза.

Прижималъ къ нимъ сжатые руки.

Напрасно!

...Кружились... сплетались... расплетались...

Страстный лепетъ ихъ проникалъ тьму, обвивалъ землю, вплетался въ звѣзды.

На мигъ ярость мутной волной поднялась со дна души его.

Какъ Іовъ, онъ хотѣлъ вызвать Бога на судъ.

Кричалъ ему:

— Значить, ты безсиленъ побѣдить зло? Не ты, — оно царить, оно править міромъ. Такъ гдѣ же ты?! Не вижу тебя!!

И въ молчащее небо онъ сталъ бросать проклятья.

Онъ проклиналъ жизнь, пропитанную грѣхомъ.

Онъ; проклиналъ младенцевъ въ утробахъ матерей ихъ, чтобы, родившись мертвыми, они не узнали зла, отравившаго землю.

...землю, травы, звѣзды...

Но сквозь проклятья плыль къ нему со степи сладостный лепетъ и дрожали передъ глазами извивы милаго тѣла.

И покатились звѣзды.

Обрушилось небо.

Закачалась степь, какъ гигантская чаша.

...Упалъ на землю; въ смертной тоскѣ, въ необъятномъ одиночествѣ прижимался къ ней, хватался руками за ея черную, еще горячую грудь, сонно дышавшую; извивался, какъ раздавленный червь, въ безпамятствѣ, съ хриплымъ стономъ, пропитываясь теплою пылью...

Утро пришло съ весельемъ солнечныхъ лучей.

На теплыхъ волнахъ со степи плыло стрекотанье кузнечиковъ, острый запахъ цвѣтовъ, звенящій шопотъ травъ. Жаркіе лучи заставляли кричать отъ счастья птицъ и черезъ золотыя окна врывались въ комнаты играющими стрѣлами, смѣющимися пятнами. Впиваясь въ слѣпящій бокъ самовара, отражались на бѣлой скатерти межъ посуды серебристыми искрами.

Юлія Львовна взглянула на мужа, и ложечка рѣзко завякнула у нея въ стаканѣ.

— Ганя!—вскричала она.—Что съ тобой?

— Что?—спросилъ онъ, не поворачивая лица.

— У тебя въ вискахъ... сѣдые... волосы!

— Да?—равнодушно сказалъ онъ.

Всталъ, взглянулъ въ зеркало.

Постарѣвшее, осунувшееся лицо, точно чужое, смотрѣло на него.

— Въ самомъ дѣлѣ,—тускло улынулся онъ,—сѣдые, да! Это отъ заботъ.

Сѣлъ къ столу, равнодушно повторяя:

— Это отъ заботъ.

Она смотрѣла въ лицо ему съ насторожившеюся боязнью. И видѣла: механически размѣшивая чай, онъ думаетъ о чемъ-то упорномъ и тяжеломъ.

Темное подозрѣніе возникло въ ней.

— Неужели...

Тихо спросила, испытывая:

— Ганя! А ты меня и... и не поцѣловалъ сегодня? Снова, какъ вчера, глаза его вспыхнули.

Взгляды ихъ встрѣтились, и что-то прошло между ними, отчего она похолодѣла, сжалась, и на лицѣ появилось побитое выраженіе.

Но уже взглядъ его сталъ мутенъ и пустъ.

И онъ равнодушно повторилъ, не слѣдя за словами:

— Это отъ заботъ...

Сидѣли молча.

Тягучая тишина обнимала домъ.

Тогда, страпась тишины, въ мучительномъ сомнѣніи, она заговорила.

Она говорила о тысячѣ мелкихъ домашнихъ заботъ, о больной овцѣ, о скисшемъ молокѣ, о всемъ, что приходило на умъ по случайнымъ ассоціаціямъ, — а сама пытливо смотрѣла на мужа.

— И если и нынѣшній годъ не уродится хлѣба, ужъ и не знай, какъ жить будемъ... ужъ и не знай...

И пока она говорила, онъ медленно повернулъ къ ней лицо и остановилъ на ней мутный, точно мертвый взглядъ.

Но не отвѣчалъ ей.

Онъ не слышалъ ея, нѣтъ,—она это видѣла.

Жуткое чувство охватило ее, и она вскричала, откинувшись на стулѣ:

— Ганя!

Онъ вздрогнулъ:

— Что?—спросилъ, какъ сонный.

— О чемъ ты думаешь?

Онъ не отвѣчалъ и продолжалъ смотрѣть на нее мертвымъ взглядомъ.

Что-то напряженное, какъ угроза, протянуло въ воздухъ нити.

Руки ея стали дрожать.

...Хлопнула калитка.

Юлія Львовна вскрикнула.

О. Геннадій всталъ и настороженно-ожидаящимъ взглядомъ смотрѣлъ на двери.

Вошелъ Александръ.

Бодрый, свѣжій, съ мокрой рыжей бородой и съ полотенцемъ на плечѣ, онъ точно внесъ смѣсь свѣжести и зноя.

— А я прямо съ пруда. Здравствуйте!

Непринужденно бросился на диванъ и, вынувъ портсигаръ, закурилъ папирску. Его загорѣлое лицо выразило полное блаженство. Пуская изъ сочныхъ губъ синія струйки дыма, стараясь, чтобы онѣ выходили кольцами, онъ смотрѣлъ на о. Геннадія золотистыми, смѣющимися, слегка прищуренными глазами.

— Повздорили вчера съ папенькой? Крутенько поступить изволили-съ!

О. Геннадій исподлобья угрюмо взглянулъ на Александра.

— А онъ вамъ... все рассказалъ?

Легкое смущеніе только на мигъ заставило Александра отвести глаза.

— Чего не говорится въ пылу раздраженія. Ахъ, о. Геннадій! Вѣдь, папенькѣ-то поль-столѣтія! У него и зубы мудрости давно повыпали. Поздно-съ его исправлять! И то едва уговорилъ къ архіерею не ѣздить. „Отъ длани священника и заушеніе священо“, — этимъ только и убѣдилъ его. Я вамъ на этотъ счетъ анекдотецъ расскажу...

И за однимъ анекдотомъ онъ разсказалъ другой и третій. И всю свою рѣчь, въ основѣ серьезную, онъ пересыпалъ шутками и остротами. У Юліи вспыхивали глаза свѣтлымъ и благодарнымъ блескомъ, когда онъ моментами обращался къ ней. Но она тотчасъ спохватывалась и съ тревожнымъ недоумѣніемъ наблюдала мужа. И казался онъ ей непонятнымъ и страннымъ въ своемъ спокойствіи, за которымъ чувствовалось ей что-то бездонное.

— Знаетъ? Не знаетъ... неужели знаетъ?

Эта мысль была крыльями въ ней.

Иногда она начинала искоса искать его взгляда, точно желая заглянуть въ бездну его мыслей.

Онъ не смотрѣлъ на нее.

Онъ угрюмо присматривался къ Александру, и, когда тотъ закончилъ уже съ серьезною настойчивостью:

— Я не имѣю права и не хочу давать совѣтовъ. Но все-таки поставилъ бы вамъ, о. Геннадій, одинъ вопросъ: все ли такъ правильно и вѣрно въ вашей приходской практикѣ, если вами всѣ недовольны?

О. Геннадій всталъ.

— Когда человѣкъ исполняетъ долгъ,—заговорилъ онъ съ хмурой суровостью,—его не смутить дыханье недовольства, хотя бы весь міръ въ ярости возсталъ и упалъ на грудь его. Долгъ человѣка—Голгофа его, его терновый вѣнецъ... крестъ, покрытый кровью его сердца! Онъ суровъ... да, онъ суровъ! А люди...

О. Геннадій въ упоръ взглянулъ на жену и Александра.

И взглядъ его угрюмо вспыхнулъ.

— Люди валяются въ грязной похоти!—почти крикнулъ онъ.

И отъ словъ его тревога забила въ стѣны дома.

— Люди пропитали землю пѣной разврата... ибо отбросили долги! И потому свободный духомъ среди рабовъ плоти всегда одинокъ... хотя бы отдалъ имъ кровь сердца... всегда непонятъ...

Горько улыбнулся.

— Обмануть!!

Александръ съ темнымъ вопросомъ бѣгло взглянулъ на Юлію.

— Я... нѣсколько не понимаю,—смутился онъ, почувствовавъ тайный смыслъ въ словахъ о. Геннадія.

Но о. Геннадій отвѣчалъ, не ему, а себѣ:

— Земля въ агоніи послѣднихъ временъ. Вянутъ травы. Сохнутъ рѣки. Сгораютъ лѣса. Самый воздухъ горячъ и сухъ отъ дыханія грѣха! Пали священные устои семьи, святое довѣріе оплевано, какъ Христосъ у Пилата. Лежатъ въ пыли скрижали долга, оплеванныя!

Мрачной страстностью проникся его голосъ.

— Но близокъ день... день суда! Уже звучать трубы...

Дрожаль отъ непонятнаго возбужденія.

Поднялъ руки.

Скорбное вдохновеніе охватило его.

— Я высоко подниму ихъ,—мои скрижали! Буду крѣпко держать ихъ, буду идти навстрѣчу чернымъ бурямъ грѣха... Кричать, кричать! Уста Господни вдохнуть въ меня гнѣвъ. Изъ рукъ Его возьму огненные стрѣлы! Пусть вражда преслѣдуетъ меня! Пусть измѣна бросаетъ капканы подъ мои ноги! Пусть всё... всё... всё отвернутся отъ меня...

Еще Юлія не видала его такимъ.

Замеревъ, съ темнымъ страхомъ, съ слѣпымъ ожиданіемъ смотрѣла на него.

А онъ, точно на развалинахъ міра, увѣрялъ себя съ страстностью отчаянія:

— Я не одинокъ! Нѣтъ... нѣтъ! Со мною Богъ!

Александръ, смущенный тайнымъ смысломъ его словъ, сказалъ:

— Вы все о долгѣ говорите, о. Геннадій. И потому для васъ міръ мертвъ и пустъ!

— Онъ мертвъ! Онъ пустъ!

— Но міромъ править Любовъ!

О. Геннадій внезапно вытянулъ дрожащія руки, съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ ударить его.

— Не говорите о любви!—дико крикнулъ онъ.

Юлія Львовна съ легкимъ крикомъ встала.

Оперлась о столъ въ ожиданіи чего-то неотвратимаго, что грозитъ обрушиться на нее и раздавить.

Александръ угрюмо насторожился.

— На Голгоѣ умерла любовь!—кричалъ въ лицо ему о. Геннадій.—Любовь оплевана! На любви терновый вѣнецъ... съ острыми, съ кровавыми иглами!

Впивался въ него острымъ взглядомъ:

— И пѣтель... трижды... не прокричить...

Изъ глазъ его рвалась тайная мысль, и на губахъ накопили отчаянныя и роковыя слова.

Онъ перевелъ взглядъ на жену.

И, вдругъ съ силой вздохнувъ, сдержался.

Подавилъ возбужденіе.

Вышелъ въ сосѣдную комнату.

— Что съ нимъ?—тихо спросилъ Александръ.

Она едва слышно пролепетала:

— Не знаю...

— Быть можетъ... онъ...

Она изъ взгляда его поняла его мысль и опять отвѣчала съ видомъ побитой:

— Не знаю...

Но о. Геннадій уже вышелъ, въ соломенной шляпѣ, съ своимъ высокимъ посохомъ, холоднымъ и мутнымъ взглядомъ взглянуть на нихъ:

— Я уйду. Не вернусь до вечера.

III

Степь лежала сожженная, желтая.

Она томилась въ агоніи зноя, дышала горячечнымъ дыханьемъ въ лицо о. Геннадію. Онъ быстро шагаль

по ея сухой, растрескавшейся груди. И какъ бредъ ея курились на горизонтахъ тяжелые, мутно-желтые туманы, а солнце казалось ея воспаленнымъ окомъ. Она тосковала въ необъятной жаждѣ, и точно руки ея, сухія, черныя, тянущіяся къ небу, вставали на дорогахъ вихри, бились въ воздухъ и, безсильные, разсыпались, обдавая о. Геннадія горячей пылью. Его мысли крутились, какъ эти вихри, въ знойной пустынѣ его ума, въ горячемъ сумракѣ его тяжелыхъ чувствъ. Онъ гнали его по степи, напряженно-сосредоточеннаго, съ острымъ взглядомъ безумца, покрытаго пылью и липкимъ потомъ усталости.

Его давило это огненное небо.

Ему хотѣлось упасть на эту раскаленную землю и забыться... хоть на мигъ забыться въ пыли сухихъ травъ отъ пламени мыслей. Но онъ шелъ... дальше... дальше... точно въ огненномъ снѣ, полномъ отчаянія и дикихъ криковъ, тяжело переставлялъ свои пыльные ноги. И казалось издали, что онъ борется съ вѣтромъ, съ пространствомъ, съ туманно-желтыми горизонтами, стремясь къ неясной, инстинктивной цѣли, къ спасенію или гибели—все равно.

Кровь билась въ виски, туманила взглядъ.

Его охватывалъ бредъ, мучительные сны на-яву.

Ревъ потопа слышался ему.

Смрадное море вздымалось на горизонтахъ. Плескалось въ небо. Выходилъ изъ бездны звѣрь... вѣчный звѣрь... съ семью главами. И каждая голова его—смертный грѣхъ! Вотъ... изъ его раскрытыхъ пастей льются клубки сплетенныхъ тѣлъ, золотыми гирляндами выются въ мутной мглѣ, багровымъ потокомъ заливаютъ землю, смѣясь и извиваясь.

Ему казалось: онъ идетъ по колѣно въ этомъ живомъ морѣ.

Вздымались волны, влекли его, бросали.

Падало небо, дрожали дали.

Онъ закрывалъ глаза, ускорялъ шагъ.

Но, злорадно шипя, склонялись надъ нимъ пасти звѣря.

— Онъ побѣдилъ!—хрипло шепталъ о. Геннадій,— онъ побѣдилъ!

Безплодны были жертвы... крики пророковъ во мглѣ прошедшаго... вопль Христа на Голгоѣ!

Все напрасно!

Земля стала царствомъ Звѣря.

Онъ поставилъ на ней тронъ свой.

— Побѣдилъ!

О. Геннадій со стономъ вдыхалъ горячій воздухъ.

— Такъ, значить, Зло непобѣдимо?!

И все, съ чѣмъ боролся въ своей жизни о. Геннадій, претворилось въ образы, закружилось въ мутной мглѣ дикимъ хороводомъ.... Царство Зла распахнуло передъ нимъ горизонты и отовсюду, — нахальное, наглое,—лицо Грѣха глядѣло на него съ гнуснымъ смѣхомъ оголенныхъ челюстей. И это было лицо человѣчества... всѣхъ близкихъ и далекихъ, всѣхъ, кого онъ въ жизни встрѣчалъ, чьи признанья выслушивалъ, чьи души съ воплемъ склонялись къ ногамъ его... на мигъ, на мигъ! Вотъ эти дѣти, развращенныя еще въ семьѣ, предающіяся пороку цѣлыми школами. И эти юноши, истощенные развратомъ, зараженные болѣзнью. И женщины, торгующія тѣломъ... И женщины, погрязшія въ животной похоти, оскверняющія очагъ семьи... И эти мужчины, ищущіе грѣха на перекресткахъ и въ темныхъ переулкахъ... Вотъ они всѣ,—наглые, циничные,—скрывающіе гниль души подъ маскою улыбокъ и внѣшнимъ блескомъ жизни... Вотъ они жадные, трясущіеся надъ золотомъ... вотъ они, создающіе дворцы на костяхъ бѣдняковъ... вотъ они завистливые, ненасытные, истребляющіе другъ друга за мірскія блага... вотъ они, наполнившіе землю криками вражды, потоками крови, преступленіями порока!

Реветь и плещетъ это мутное море.

Хочетъ въ немъ Звѣрь своими семью пастями...
вѣчный Звѣрь... дышитъ смрадомъ въ этомъ торжественномъ морѣ зла.

Его жена захлебнулась въ этомъ морѣ... его жена!

О. Геннадій ускоряетъ шагъ.

Его грудь томила криками.

Его губы потрескались отъ жажды, а воспаленный взглядъ блуждалъ по мертвой степи.

Инстинктивно онъ сорвалъ голубой полусохшій цвѣтокъ. Поднесъ его къ лицу, вдохнулъ его нѣжный, тоскливый запахъ. Но тотчасъ съ гнѣвомъ отбросилъ его въ пыль дороги.

— Ты лжешь своимъ ароматомъ... лжешь!

Какъ на змѣю, ступилъ на него.

— Въ тебѣ таится ядъ!

Пыльный ковыль устало припадалъ къ землѣ вокругъ него.

Отчаянно вадымали вихри въ небо безформенныя лапы, словно моля о каплѣ влаги.

... Дорога вбѣжала на пригорокъ, перегнулась.

Изъ лѣсной чащи заблѣла стѣна монастыря.

Золотые купола монастырской церкви ослѣпили его яркимъ блескомъ.

А изъ дымящейся дали взглянулъ на него, какъ притаившееся чудовище, громадный городъ.

У знакомыхъ воротъ о. Геннадій ударилъ въ гулкій колоколь.

Тотчасъ въ пріоткрывшуюся калитку выглянуло маленькое сморщенное лицо послушника, съ синимъ грушевиднымъ носомъ.

Спиртный запахъ заструился въ воздухѣ.

— Никакъ, о. Геннадій?—ослабилось лицо,—милости просимъ... во имя Господне!

Отпахнулъ калитку.

— Ужъ не опять ли къ намъ на послушаніе?

— Не пришелъ еще часъ мой.

— Охъ, не вѣмы ни дня, ни часа, егда гнѣвъ владычній сразить... Къ игумену?

— Да.

— Пожалуйте за мною, провожу васъ,—онъ теперь въ новомъ помѣщеніи. А ужъ самъ на строгія очи его не покажусь.

— Все запибаете, отецъ?

Монахъ пожевалъ губами, и по лицу его прошла жалкая усмѣшка.

— Сблзняетъ князь міра сего и въ уединеніи.

По пустынному двору, покрытому муравою, мимо молчаливыхъ келій, изъ которыхъ доносились сонные вздохи, они прошли въ тѣнистый садъ, окружавшій церковь. Снаружи церковь была ярко расписана изображеніями святыхъ. Грубое произведеніе монастырскаго художника,—ихъ лица ничего не выражали, кромѣ тупого равнодушія. Они не уставая смотрѣли круглыми глазами въ тѣнистые закоулки сада, а на церковныхъ дверяхъ, какъ предводитель этого равнодушнаго воинства, пестрѣлъ въ полинявшей кольчугѣ Михаилъ-Архангелъ съ желтымъ огненнымъ мечомъ. У ногъ его на ступенькахъ, прислонясь къ деревянной колоннѣ небесно-голубого цвѣта, сладко храпѣлъ тучный инокъ, съ багровымъ безбородымъ лицомъ. Во снѣ онъ блаженно улыбался. Вокругъ его раскрытаго рта суетились мухи.

— О. Савватій! Проснитесь, о. Савватій,—трясъ его за жирное плечо послушникъ.

Пухлое тѣло Савватія колыбалось, и голова безпомощно кивала.

— О. Савватій! Проснитесь... во имя Господне! Гости. Къ о. настоятелю.

Тихо отдѣлившись отъ колонны, Савватій склонился

на плиты и загородилъ двери, вытянувъ ноги въ рыжихъ сапогахъ. И изъ складокъ его рясы выпало и покатилося что-то звенящее. Инокъ быстро поднялъ это, сверкнувшее на солнцѣ, и спряталъ въ карманъ.

— Утомися зѣло!—вздыхнулъ онъ.

И взглянулъ на о. Геннадія смѣющимися глазами.

— Силенъ врагъ надъ рабами твоими, о, Господи! Рыщетъ по свѣту, искій, кого поглотити... даже иноковъ не щадить.

Пріотворилъ дверь церкви.

— Черезъ святаго отца не побрезгуете перешагнуть?

— А развѣ о. настоятель въ церкви?

— Уединяется.

О. Геннадій осторожно шагнулъ черезъ жарко дышащее тѣло и вошелъ въ прохладный притворъ въ то время, какъ монахъ сокрушенно говорилъ безмолвному тѣлу:

— Савватій! Савватій... Сколь легко овладѣваетъ нами діаволъ. Не говорилъ ли тебѣ игумень: борись... Стой на стражѣ, Савватій!

Что-то мелодично заструилось, прервавъ наставленіе.

О. Геннадій обернулся.

Инокъ смотрѣлъ на него въ полъ-глаза, и тотчасъ унесъ руку въ карманъ, отирая другою блестящіе усы.

Покачивая маленькой головкой и бормоча что-то благочестивое, онъ отворилъ небольшую дверку и пригласилъ о. Геннадія подниматься вверхъ по темной лѣстницѣ колокольни, а самъ шелъ позади, осторожно шаря руками въ темнотѣ, и по временамъ сквозь легкій смѣхъ слышалось тихое переливаніе.

— О. настоятель святой человѣкъ,—бормоталъ онъ, задерживаясь на ступенькахъ,—діаволъ не имѣетъ надъ нимъ никакой власти. Вчера онъ трижды обошелъ вокругъ обители съ иконами и проклялъ діавола, запретилъ ему соблазнять иноковъ. Запретилъ соблазнять... святой человѣкъ! А діаволъ...

Тутъ что-то со звономъ покатилося внизъ по ступенькамъ, и внизу разбилось на хрустящіе осколки.

Инокъ съ сокрушеніемъ вздохнулъ:

— О, Господи!..

Они съ трудомъ поднимались вверхъ въ черной тьмѣ по скрипящимъ ступенямъ.

— Купцомъ прикинулся, діаволь-то, — бормоталъ инокъ, — ну, и трапезы привезъ. Разсказывалъ, будто въ городѣ бунтъ и военачальника убили. А трапеза-то у него... охъ, сокрушеніе!

Они уже были вверху у закрытаго трапа.

Инокъ трижды постучалъ и пѣвуче произнесъ:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

— Аминь! — отвѣтилъ суровый голосъ изъ-подъ колоколовъ. — Кто осмѣлился нарушить мое распоряженіе, данное во имя Господне?

— Во имя Господне нарушаю его я, смиренный Петръ, ради святаго гостепріимства. Къ тебѣ, авва настоятель, грядетъ гость... во имя Господне!

— Кто?

— О. Геннадій.

Трапъ, скрипя, поднялся и отпахнулся.

Вверху виднѣлось жерло большого колокола съ неподвижнымъ языкомъ. Изъ-подъ колокола, нагнувшись надъ лѣстницею, смотрѣло худое строгое лицо въ черной бородѣ, начинавшейся у самыхъ глазъ, — близко сидящихъ, быстрыхъ, острыхъ, черныхъ, какъ угли.

Онъ впился глазами въ монаха.

— Пьянъ?

— Грѣшенъ, авва отче!

— Пьяницы, любодѣи... слуги Ваала! Что мнѣ съ вами дѣлать?!

— Слабъ, авва отче.

— Изыди вопъ, рабъ плоти, съ осужденіемъ пастоятеля твоего!

— Прости, авва отче...

Боязливо отступая, инокъ оступися и съ шумомъ поползъ по лѣстницѣ, какъ въ преисподнюю, вздыхая и стена.

Смолкъ внизу гдѣ-то...

...Подъ колоколами были постланы цыновки.

У простѣнковъ между пролетами стояли скамьи и стулья, черное распятие съ аналоемъ передъ нимъ, а у одного изъ пролетовъ—большой бѣлый деревянный столъ, сплошь заваленный книгами въ кожаныхъ переплетахъ. Книги лежали и на полу у стола,—большія тяжелыя Четы-Минеи. На рѣшеткахъ у пролетовъ мирно сидѣли голуби,—бѣлые, лиловые, пѣгіе. Они съ любопытствомъ вытягивали головки, смотрѣли на отца Геннадія глазками въ красныхъ ободкахъ. Влетали, садились на колоколь, скользя нѣжными лапками... улетали. Колоколь отзывался на порывы горячаго вѣтра глухимъ шопотомъ, и, временами, какой-то неясный гулъ исходилъ изъ его мѣднаго тѣла. А въ пролеты лились жгучіе лучи солнца, золотя цыновки, и, смотрѣла, курясь, желтымъ окомъ степь.

И въ этомъ пустынномъ уединеніи, наполненномъ воркованіемъ голубей и томными вздохами степи, о. Геннадій почувствовалъ, что вся напряженность его исчезаетъ. Вмѣстѣ съ слабостью, заставившей его почти упасть на стулъ, поднялась со дна души вся бунтующая скорбь, вся необъятная тоска, вразъ охватившая, сдавившая его здѣсь, у цѣли его стремленій.

Онъ сидѣлъ и молчалъ, уронивъ лицо въ ладони.

И волосы закрывали ему руки.

Игуменъ стоялъ передъ нимъ, возвышаясь худой изсохшей тѣнью, и, перебирая четки, острымъ взглядомъ смотрѣлъ на его склоненную голову и безсильно опустившіяся плечи.

— Не опять ли къ намъ на послушаніе?

На отрицательный жестъ Геннадія, игуменъ помолчалъ, тихо положилъ на плечо ему руку, и голосъ

его глухо прозвучалъ откуда-то издалека, какъ изъ подземелья, суровыми и мертвыми тонами:

— Со скорбью пришелъ?

Глубокою могилою показался о. Геннадію міръ.

Заживо-погребенный, онъ извивается и бьется на днѣ ея въ сырость и тѣсномъ гробѣ; стучитъ въ крышку съ крикомъ отчаянія...

Некому услышать!

Только этотъ суровый монахъ стоитъ и прислушивается къ его крикамъ.

Съ тяжелымъ стономъ, потрясшимъ его сильное тѣло, поднялъ о. Геннадій искаженное лицо и запекшимися губами—быстро-быстро,—сталъ говорить, словно изливая изъ груди потоки мутной крови, мѣшавшей дышать, давившей сердце болью и мозгъ кошмарными снами. Образы падшаго міра, возбуждаясь, бросалъ онъ монаху: въ объятяхъ извивающіяся женскія тѣла, золотистыя, жаркія, прекрасныя въ своемъ грѣховномъ трепетѣ... И только теперь онъ остро почувствовалъ всю прелесть любимого тѣла, когда оно стало чужимъ.

Въ чемъ же эта проклятая жгучая прелесть грѣха?

Вѣдь душа ея ему принадлежала... ему!

Болѣла его болями, скорбѣла его скорбями; какъ солнце—освѣщала его тернистый путь.

Или это былъ долгіе годы предательскій обманъ?

Такъ чему же вѣрить, если ложь—свѣтъ солнца, сіянье звѣздъ, бирюза неба? Такъ стоитъ ли жить въ этомъ мірѣ, гдѣ нельзя даже вѣрить камню, положенному подъ голову въ пустынь,—потому что подъ нимъ можетъ оказаться змѣя?!

Или онъ не внесъ въ отношенія сладость грѣха?

Онъ—аскетъ.

Онъ въ семинаріи спалъ на голыхъ доскахъ, питался однимъ хлѣбомъ съ водою, и отблескъ этой суровости остался на немъ до сихъ поръ.

И ея тѣло ушло отъ него...

Ея тѣло отдалось другому; ея милое, прекрасное тѣло, онъ видѣлъ самъ,—оно страстно и зпойно трепетало въ другихъ объятіяхъ, какъ никогда не трепетало въ его!

Онъ не можетъ потушить въ себѣ этой яркой картины грѣха; она давитъ мозгъ его; она острыми иглами впивается въ сердце. Едва закроетъ глаза,—она всплываетъ и дрожитъ въ вѣчномъ движеніи. Она встаетъ на горизонтахъ въ тысячѣ отраженій. Въ остромъ красномъ туманѣ она ходитъ, двигается, говоритъ... и кровь въ немъ переливается, какъ расплавленное олово, бьетъ въ виски, мучитъ стонами и лепетомъ грѣха.

Въ полномъ отчаяннѣ о. Геннадій охватывалъ голову пылающими ладонями.

— Отецъ! Отецъ!.. Отецъ! Я всю жизнь боролся съ грѣхомъ во всѣхъ его проявленіяхъ. Я обличалъ жадность, преслѣдовалъ сребролюбіе, укорялъ чревоугодіе, гналъ пьянство... Я поражалъ гнѣвомъ моимъ блудъ! Я видѣлъ порокъ въ наготѣ его, какъ можетъ видѣть только священникъ: малакію, трясущуюся отъ истощенія, упорную и наглую содомію. Раствлитель и скотоложникъ съ плачемъ припадали къ ногамъ моимъ. И тѣ, кого мучатъ нечистыя грезы! Волнами липкаго грѣховнаго потопа казалась покрытой мнѣ земля. И только плавалъ по ней чистый ковчегъ моей семьи... моей семьи. Но и сюда... какъ тать, проникъ грѣхъ и засмѣялся своимъ блуднымъ смѣхомъ.

Онъ залился краскою стыда отъ этихъ словъ и, уронивъ лицо въ ладони, глухо и отчаянно спрашивалъ:

— Такъ, значить, грѣхъ непобѣдимъ?!

Голуби въ звонкомъ полетѣ хлопали крыльями вокругъ колокольні и, воркуя, выгибали зобы на откосахъ пролетовъ... красивые, милые... цѣловались, любили...

— Такъ, значить, безсильно Добро?!

Какъ комокъ пламени, золотистый голубь пытался сѣсть на голову о. Геннадія, обдавая его вѣяньемъ крыльевъ.

И улетѣлъ.

И въ лучахъ солнца вздымался и падалъ, и уносился въ легкой погонѣ за голубкой. Огненно жаркая степь приняла его въ золотыя объятія.

У темнаго колокола черною тѣнью стоялъ игумень. И, по мѣрѣ того, какъ говорилъ о. Геннадій, лицо его наливалось кровью гнѣва, и дикій огонекъ вспыхивалъ въ глазахъ. Онъ слегка наклонился, точно впитывалъ въ себя горькія слова, и борода его странно шевелилась. Внезапно выпрямившись, онъ съ дикой силой оттолкнулъ въ плечо о. Геннадія и быстро зашагалъ вокругъ колокола, точно въ крадущейся погонѣ за кѣмъ-то невидимымъ, но таившимся тутъ. И вдругъ, остановившись у пролета, весь облитый лучами заходящаго солнца, широкимъ жестомъ сталъ крестить пролетъ:

— Проклятый! Проклятый!

Отъ пролета къ пролету переходилъ онъ и ограждалъ ихъ широкимъ крестомъ.

— Изыди! Сгинь! Заклинаю тебя... именемъ Божиимъ! Гнѣвно плевалъ въ пролеты.

— Плюю на тебя! Проклятый!

Голуби закружились испуганной тучей, громко хлопая крыльями,—бѣлые, желтые, синіе, странно молчаливые.

Игумень остановился передъ о. Геннадіемъ.

Въ дикомъ возбужденіи протянулъ руку.

— Смотри!

О. Геннадій прослѣдилъ направленіе его руки, и взгляды его утонулъ въ золотистой глубинѣ вечеряющей дали.

— Это царство діавола! — глухо говорилъ игумень.— Сойди сейчасъ на сто двадцать ступенекъ этой колокольни, и ты — въ его царствѣ! Отъ его дыханья не спасаютъ святыя стѣны обители. Стѣны храма не спасаютъ отъ него. Имъ проникнуть каждый камень стѣны; отъ cadaго цвѣтка идетъ его дыханье; каждая травка...

сорви, вдохни ея запахъ... онъ войдетъ въ тебя съ ея ароматомъ и будетъ хохотать въ твоей плоти радостнымъ хохотомъ обладанія! Онъ входитъ въ тебя изъ воздуха, изъ солнечнаго луча... изъ звѣзды, если ты любишься ею! Онъ шумомъ бури, пѣсней рѣки прельщаетъ тебя. Онъ зоветъ тебя сотней голосовъ, сотней глазъ смотритъ на тебя ласково и нѣжно. Предатель! Проклятый! Хитрый! Наглый! Онъ крадется въ міръ безшумными шагами. Смотри! Смотри! Эта желтая степь — его лицо! Румянецъ неба—румянецъ его щекъ. Солнце и луна — глаза его. Ты видишь? Видишь?

И, въ самомъ дѣлѣ, казалось о. Геннадію, что въ пролеты смотреть хитрое, жаркое лицо и смѣется.

— Вся природа грѣхомъ пропитана! — продолжалъ пгумень. — Смотри... тамъ, за горизонтами, въ этой огненной дали, живутъ люди. Башни вавилонскія они построили себѣ! Слышишь шумъ голосовъ ихъ? Топотъ ихъ ногъ? Ихъ вой? Ихъ пѣсни? Дикій хороводъ ихъ жизни? Это скелеты, еще не попавшіе въ склепы... они кружатся и стучатъ костями, полные гніенья. Въ нихъ копошатся черви, еще прежде, чѣмъ они лягутъ въ могилы. Слышишь? Тамъ, вдали... они стучатъ и лязгаютъ, и кишатъ, и кружатся желтыми волнами! И золотитъ ихъ око діавола, лаская и грѣя ихъ, рождая въ нихъ блудную похоть. Но близокъ день! Ударитъ Господь своей гнѣвной десницей по солнцу и лунѣ, по звѣздамъ и землѣ. И вспыхнетъ міръ, сгоритъ, на судъ предстанетъ... на страшный судъ!!

Онъ поднималъ худыя черныя руки.

— Иди! Вотъ мой отвѣтъ! Иди къ женѣ своей. И крикни ей: кайся, близокъ судъ... на колѣни! Да, да! Пусть томится въ молитвахъ, пусть исходитъ въ слезахъ. Пусть носитъ вериги. Пусть пищею ей будетъ хлѣбъ. И питьемъ вода. И земля постелью. Пусть закроетъ глаза и не смотритъ на міръ съ красотой его дьявольской! И пока душа ея не изойдетъ въ слезахъ и вздохахъ

покаянья, стой надъ ней, кричи ей: кайся, блудница!..

... Внезапно игуменъ кинулся подъ колоколъ.

Схватилъ веревку и сталъ раскачивать языкъ, крича:

— Къ повечерію! Къ повечерію!

Гулкій ударъ ахнулъ въ воздухъ.

Еще... еще..

Игуменъ склонялся и вразъ откидывался.

Языкъ ударялъ въ оба края, и колоколъ, чуть покачиваясь, гудѣлъ и пѣлъ. Ахающіе звуки вылетали въ пролеты и плыли, и тонули въ синѣющей дали.

— Помоги!!

О. Геннадій схватился за веревку.

Они вдвоемъ колыхались, напрягая руки, заражаясь весельемъ звуковъ, посылая въ воздухъ гулкіе удары.

Замеръ послѣдній звукъ.

Они осторожно стали спускаться по темной лѣстницѣ. Вниау игуменъ споткнулся о сонное тѣло монаха: тотъ уснулъ, собирая блестящіе осколки.

Игуменъ гнѣвно перешагнулъ черезъ него.

Въ пустынной церкви гулко звучали ихъ шаги.

Гудящимъ голосомъ игуменъ пѣлъ и читалъ, то скрываясь въ нѣдрахъ алтаря, то появляясь на клиросѣ, напоминая сошедшаго со стѣнъ святого. Отъ легкаго вѣтра тихо стучали въ стекла вѣтки кленовъ. О. Геннадій съ удивленіемъ озирался: никто изъ монаховъ къ повечерію не пришелъ.

Послѣ службы игуменъ подошелъ къ нему и, съ хмурой усмѣшкой, сказалъ:

— Когда замѣтишь мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, знай: близокъ конецъ! Пойдемъ. Я покажу тебѣ прелесть міра сего и власть князя тьмы.

Онъ гулко зашагалъ впереди крѣпкими ногами.

Молча переступилъ черезъ спящаго инока на ступеняхъ храма и углубился въ тѣнистыя аллеи. И всюду по пути ихъ, — въ густѣющей тѣни аллеи, на крыльцахъ

келій, въ ихъ нутрѣ, видномъ сквозь распахнутыя окна,—лежали въ разнообразныхъ позахъ иноки.

— Вечеръ, вечеръ приближается, — гнѣвно бормоталъ игумень, — а для нихъ уже ночь... ночь смерти!

На пустынномъ дворѣ въ муравѣ тоже виднѣлись неподвижныя фигуры,—словно шли онѣ всѣ куда-то въ сторону, къ неясной цѣли, и на пути охватилъ ихъ сладкій сонъ. Игумень шелъ все дальше, дальше, крестясь и отплевываясь, пока калитка въ стѣнѣ не вывела на широкую лужайку, сбѣгавшую къ рѣкѣ, и окруженную темною стѣной лѣса и кустарниковъ.

У стѣны близъ калитки, подъ густымъ кленомъ стоялъ живой скелетъ, съ узкой сѣдой бородой до пояса, изможденный, съ лицомъ, покрытымъ морщинами, но съ безумно-напряженнымъ, пылающимъ, точно провалившимся взглядомъ. Онъ былъ въ грязной рубахѣ и портахъ, и стоялъ на одной ногѣ, другую поджавши подъ себя. Перебиралъ огромныя черныя четки. А на деревѣ вокругъ него висѣли крестики, ленты, образки,—дары богомольцевъ.

Игумень остановился.

— Побѣждаешь ли, братъ Зосима?

Зосима заговорилъ, точно хриплые часы на старой башнѣ:

— Кто Богъ велій, яко Богъ нашъ...

— Соблазняютъ ли видѣнія?

— Бѣсы!—хрипѣлъ Зосима,—бѣсы!

Онъ раскрывалъ ротъ, какъ засыпающая рыба.

— Пытались столкнуть меня... нынѣ ночью... плевали въ лицо. Но силою Господней держался я! И раскрыли они передо мною Адъ. Ходилъ я въ пламени... невредимый! Грѣшники, грѣшники... скрежетали, стонали, извивались въ пламени, протягивали ко мнѣ свои мерзкія руки, просили меня о каплѣ влаги. И я ко Господу: „избави меня, Господи, отъ

сего гнуснаго вида!“ И сила Божія подняла меня въ небо. И окружили меня въ бѣлыхъ одѣяніяхъ старцы и сказали мнѣ: „Зосима! Проси, чего желаешь ты для грѣшнаго міра“. И отвѣтилъ я: „Чтобы поपालилъ его огонь!“ Тогда, какъ громъ, прозвучалъ мнѣ голосъ: „Не пришелъ еще часъ его, Зосима!“ И сила Божія въ легкомъ вѣтрѣ перенесла меня сюда.

Глаза его дико пылали.

— Благослови, авва отче, продолжать искусь мой!

Игуменъ осѣнилъ его крестомъ.

— Стой, Зосима... молись за міръ... молись за насъ грѣшныхъ!

Они пошли.

А позади Зосима пѣлъ, какъ испорченная труба.

— Ты еси Богъ, тво-о-ря-ай чудеса...

Игуменъ быстро шелъ вдоль опушки лѣса.

Приближались къ нимъ ритмическіе звуки.

Выростали въ веселую струнную пѣсню.

Внезапно за поворотомъ показалась кипящая куча иноковъ. Они кругомъ сидѣли на травѣ. И посреди этого круга въ странномъ танцѣ крутились два инока, присѣдая и выпрямляясь, выбрасывая ноги изъ-подъ черныхъ одеждъ. Они гукали и свистѣли въ тактъ струнъ; то подпирались въ бока руками, то, вывертывая ладони, выкрикивали веселыя слова.

Игуменъ въ гнѣвъ поднялъ руки, словно готовясь къ проклятію, и какъ колоколъ прозвучалъ его голосъ:

— Слуги діавола! Не сатанинское ли повечеріе справляете?!

Какъ вѣтеръ сдулъ монаховъ.

Крутятся по землѣ, пригибаясь, уползая, метнулись они чернымъ дождемъ въ чащу, и только шелестъ листьевъ указывалъ, гдѣ они таились.

Лишь одинъ,—хромой, съ рыжей бородой до пояса и выпуклыми круглыми глазами,—остался и стоялъ темной тушей.

Игуменъ вплотную подошелъ къ нему.

— Во имя Отца и Сына и Святаго духа!—сказалъ онъ, точно заклиная.

— Аминь!—спокойно отвѣчалъ монахъ.

— Рабъ плоти! Отвѣтствуй! Какою цѣною купилъ Господь твою душу?

— Цѣною Своей пречистой крови.

— Безумный и лукавый рабъ! За какія же блага мірскія продалъ ты ее діаволу?

Монахъ спокойно улыбнулся.

— Я обманулъ діавола на этой сдѣлкѣ, авва отче... Я посрамилъ его! Онъ хотѣлъ соблазнить меня водою веселія... Ну, я ее выпилъ. Я, какъ Христосъ въ Канѣ, не только превратилъ воду въ вино, но и выпилъ его. Діаволъ вселилъ въ душу мою тоску, но я убилъ ее веселіемъ. Я, какъ Давидъ, скакаше и играя! И душа моя осталась чиста передъ Господомъ, ибо, по завѣту апостола, что ни дѣлалъ,—дѣлалъ во славу Божію. И діаволъ бѣжалъ посрамленный! Если же чѣмъ прегрѣшилъ...

Онъ слегка склонилъ голову.

— Накажи, авва отче!

Заслышавъ спокойный разговоръ, тамъ-и-сямъ изъ кустовъ показались черныя фигуры. Робко подходили. Образовали кругъ. И молча склонялись передъ настоящимъ въ пояскомъ поклонѣ.

— Дѣти безумія!—съ горечью заговорилъ игуменъ,—въ веселіи ли душевномъ отдаетесь во власть діавола?! Развѣ не видите знаменій на землѣ и на небѣ? Близокъ день гнѣва Господня! Я въ уединеніи моемъ одинъ молюсь за васъ... Сыны погибели! Чѣмъ укротить мнѣ въ васъ похоть плоти? Вѣдь, земля могила для васъ! Обитель—гробъ! Неустанно должны вы отпѣвать свое тѣло, а свободнымъ духомъ устремляться въ небо!

Онъ обвелъ ихъ острымъ взглядомъ.

— На колѣни!!

Одна за другой попадали на землю черныя фигуры

— Пойте погребальный канонъ!

Онъ стоялъ въ срединѣ круга и регентовалъ длинными руками. Звуками унылаго пѣнія огласилась поляна,—эти люди отпѣвали себя.

Въ мрачномъ равнодушіи слушалъ о. Геннадій пѣніе, и ему казалось, что онъ присутствуетъ при погребеніи міра...

Солнце сѣло.

Багровый румянецъ окрасилъ небо.

Точно кровью пропитались степныя дали за пурпурной рѣкою.

...и гдѣ-то въ вышинѣ клекталъ степной орелъ...

IV.

Ночь одѣла землю темнымъ, нѣжнымъ, таинственнымъ покровомъ. Отдыхая отъ дневного зноя, степь сладко дышала ароматами и смотрѣла, немигающая, въ небо, гдѣ горѣли въ черной пропасти звѣзды.

Съ пригорка о. Геннадій еще разъ взглянулъ во тьму долины. Едва бѣлѣла спящая обитель. А за нею, на горизонтѣ, чудовищный городъ бросалъ въ небо снопы бѣлаго свѣта, словно вѣки громаднаго глаза. Тусклымъ окомъ зла показался онъ о. Геннадію. Въ головѣ его тупо стучали слова игумена:

— Міръ—царство сатаны!

Да, онъ теперь чувствовалъ это всѣмъ существомъ своимъ. Образъ Зла онъ видѣлъ лицомъ къ лицу. Зло—это земля, ибо она, какъ блудница, извивается въ сладкомъ трепетѣ грѣха, раздражая похоть яркими красками, нѣжными звуками. Зло—это солнце, ибо оно зажигаетъ кровь и заставляетъ ее бурно биться въ жилахъ. Недаромъ святыя скрывались въ пустыни и под-

земелья отъ прелестей міра. Міръ отравленъ грѣхомъ.

Міръ умираетъ!

И живить его только мутная кровь сатаны...

Потопъ грѣха плещетъ и бьетъ золотистыми волнами, заливаеъ землю.

Внезапно,—снова, снова,—съ острой болью вспыхнули въ его воображеніи образы грѣховнаго міра. Манили женщины изъ оконъ, и крались къ нимъ мужчины. И у женщинъ... было лицо его жены!

Но этотъ образъ гасъ въ приступѣ мрачнаго возмущенія.

Какъ вопль проклятѣя, слышался ему крикъ игумена съ колокольни. Вотъ черная тѣнь его раскачивается и бьетъ въ мѣдный колоколь.

— Бей! Сильнѣе бей! Возвѣщай гибель... пока огненно-гнѣвная рука не напишетъ на тухнущемъ небѣ: конецъ!

Мрачная тоска давила его.

— Чего же медлитъ Богъ? Пусть потухнетъ солнце. Пусть упадутъ звѣзды. Пусть вспыхнетъ земля отъ гнѣва устъ Господнихъ!

Глядя въ черное небо, онъ шепталъ:

— Приди!..

... Остановился, удивленный.

Кто-то звалъ его изъ тьмы:

— О. Геннадій!

Нагналъ и пошелъ рядомъ, заглядывая въ лицо.

О. Геннадій тотчасъ узналъ Власа, съ его клочковатой бородой и маленькими безпокойными глазками. Угловатый, быстрый, живой, лохматый, какъ тѣнь, сплетенная изъ кружевъ ночи, онъ оживилъ сонный сумракъ возбужденными словами. Шумъ и гамъ, крики и вопли большого города принесъ онъ въ себѣ; сѣялъ ихъ по степи жестами рукъ; населялъ ночную тьму образами сказки, хлынувшей на о. Геннадія набатнымъ

звономъ, топотомъ ногъ, моремъ кричащихъ лицъ, красными крыльями геройства.

Выбилъ его изъ круга его мыслей.

Вспугнулъ, встревожилъ.

... — Закрылись заводы, лавки, магазины. Народъ, какъ черная рѣка, запрудилъ улицы. Шли... и пѣли... и кричали тысячи народа, какъ въ одну грудь. Весело было... и жутко! Стояли солдаты, поднявши ружья. А впереди шель челоуѣкъ, тучный, плотный... и въ рукахъ у него знамя!

— Знамя бунта!—угрюмо сказалъ отецъ Геннадій,— знамя грѣха!

— Нѣтъ, нѣтъ!..—строго вскричалъ Власъ...

И изъ словъ его въ ночной тѣмѣ зазвучали залпы.

— Пули... въ окна... въ стѣны! И тотъ упалъ... А рядомъ шла дѣвушка... въ бѣломъ! И она схватила знамя. И крикнула что-то. Крикнула—и пошла впередъ. Но пуля... ей въ грудь попала!

— Убили?!

— Платье на груди стало краснымъ, какъ знамя.

Передъ о. Геннадіемъ такъ ярко встала эта бѣлая дѣвушка въ черномъ морѣ толпы.

И у нея было... преображенное лицо его жены.

... красное пятно на груди...

— Власъ!—вскричалъ онъ съ тоскою.—Скажи мнѣ, Власъ! Но въ чемъ же ваша правда?!

Власъ не слышалъ его.

Власа давили кровавыя видѣнья, и онъ говорилъ хрипящимъ шопотомъ:

— Кровь... вездѣ кровь... горячая, дымящаяся!.. Мы звали на землю Правду, а Кривда посылала намъ пули. Изъ переулковъ выходили солдаты, солдаты... и стрѣляли! И на дорогѣ, на камняхъ, на стѣнахъ—запеклась кровь.

О. Геннадій расширенными глазами смотрѣлъ во тьму.

Кровавые образы съ воплемъ разбѣгались и пропадали гдѣ-то во впадинахъ, въ низинахъ. И всталъ надъ степью изъ словъ Власа Духъ Гнѣва, съ сверкающимъ лицомъ. И освѣтилъ тьму молніей, преломившейся въ лужахъ крови.

... Вмигъ всплыло лицо сына.

Онъ тамъ!

Онъ тамъ — въ этомъ бунтующемъ городѣ, среди кричащаго потока людей. О, то, что онъ подозрѣвалъ, теперь стало увѣренностью: правда ихъ — его правда! И путь его съ ними... Но въ чемъ же ихъ правда? Куда ихъ путь? Что это новое, что подняло надъ землею красное знамя бунта? Знамя Гога и Магога, о которыхъ предвѣщало Писаніе? Знамя бурныхъ лѣтъ Антихриста? Возстаетъ братъ на брата, слуга на господина, сынъ на отца... подъ нимъ, подъ этимъ знаменемъ! Падаютъ устои общества, колышутся троны, отвергаются власти... подъ нимъ, подъ нимъ!

— Знамя грѣха?!

Его сынъ... подъ нимъ, подъ нимъ!

О. Геннадій мутно смотрѣлъ передъ собою.

Степь молчала, нѣмая, задумчивая.

Тихо мерцали мириады міровъ.

Но о. Геннадій не видѣлъ ихъ.

Снова закружились передъ нимъ навязчивые образы: бѣлыя женскія тѣла. Но на груди ихъ пылали пятна крови.

... Пятна крови!..

Дома о. Геннадія ожидала новость: вернулся сынъ.

Онъ сидѣлъ съ матерью въ залѣ за самоваромъ и тихо разговаривалъ съ нею.

О. Геннадія поразила таинственность, съ какою его встрѣтили. Юлія Львовна сейчасъ же затворила дверь на крючокъ, а Георгій, опершись на столъ, съ какою-

то темной внимательностью смотрѣлъ на отца, точно ожидалъ увидать чужого и опасался этого. Изжелтаблѣдное, какъ восковое, лицо его нервно подергивалось, а въ большихъ глазахъ отражался внутренній пожаръ. Въ углахъ губъ бродила саркастическая усмѣшка, придававшая злое и старое выраженіе его юному лицу съ квадратной бородкой. При видѣ отца онъ озарился нервной радостью и точно метнулся изъ-за стола къ нему.

Порывисто обнялъ.

— Какъ ты измѣнился, — съ удивленіемъ разсматривалъ сына о. Геннадій, — словно подмѣнили тебя!

Онъ внимательно присматривался къ сыну.

Видѣлъ въ немъ много новаго.

Казалось, — все въ душѣ его было изломано и торчало острыми углами. Настроенія, чувства — какъ волны — то упали въ мягкую и нѣжную глубину, то вразъ, пѣнясь, вздымались въ бурливую высь. Онъ не сидѣлъ, — все ходилъ, ходилъ своими длинными странными ногами; шагаль и порывисто обертывался; не садился, а бросался на стулъ и вразъ вскакивалъ, точно каждый нервъ его худого стройнаго тѣла жилъ безпокойной жизнью.

Сдѣлалъ мягкій жестъ рукою.

— А, вѣдь, знаешь, отецъ, — я къ тебѣ, какъ къ товарищу, пришелъ!

Подѣтски засмѣялся.

Заговорилъ быстро, смотря въ полъ:

— Арестовали конспиративную квартиру. Пришлось бѣжать. Спѣшно! Массовые обыски. Въ городѣ негдѣ укрыться. Я весь день скрывался въ лѣсу. Но возможно, что прослѣдили. Могутъ явиться сюда. Каждую минуту. Надо быть готовымъ! Приготовить отступленіе. Мнѣ бы только до утра. А тамъ дальше... дальше...

— Георгій! — тихо вскричалъ о. Геннадій, — съ тобою случилось что-то ужасное?!

— Ну... нельзя этого сказать... если я здѣсь!—
Но въ глазахъ его метнулось темное пламя.

— Въ чемъ ты замѣшанъ, Георгій?

— Партийное дѣло.

И вдругъ, нервно смѣясь, взглянулъ на отца и мать.

— Есть у васъ бритва?

— Бритва?!

— Или, все равно, ножницы. Надо устроить водевиль съ переодѣваньемъ. Сбрить бороду. Да и переодѣться бы не мѣшало.

— Ганя,—сказала Юлія Львовна,—у насъ, кажется, была гдѣ-то бритва? Я поищу.

Она вышла.

Георгій быстро ходилъ, насвистывая.

О. Геннадій сидѣлъ, опустивъ голову на руки.

Тишина и молчанье обнимали домъ, полныя тревожныхъ вопросовъ.

— Георгій,—глухо сказалъ о. Геннадій,—кто была... эта дѣвушка въ бѣломъ?

Тотъ рѣзко обернулся.

Почти уронилъ руки на столъ, опираясь.

— Что?! Откуда ты знаешь?

— Прихожанинъ рассказывалъ дорогой.

Столъ дрожалъ подъ руками Георгія.

— Она была, отецъ... Она была...

Губы не слушались его.

— Она...

Глаза ихъ встрѣтились, темные, мутные. И смотрѣли въ душу другъ-другу. Вразъ увидали тамъ черныя пропасти. И необъятная печаль, непонятная, смутная, вошла въ душу о. Геннадія.

Вошла Юлія Львовна со старой поломанной бритвой.

— Вотъ и отлично! И отлично!—повторялъ Георгій, какъ въ смутномъ снѣ,—вотъ и устроимъ мы все... все хорошо!

Но рука его дрожала, беря бритву.

Мертво улыбался.

— Преобразусь... возьму посохъ... и дальше... какъ странники!

Повторялъ, не замѣчая:

— Дальше... дальше!

Снова искоса взглянулъ въ глаза отцу.

И токи прошли между ними.

...Токи печали...

Тамъ, за темною оболочкою глазъ, видѣли они глубокое смутное дно, гдѣ жили тусклые призраки съ остановившимся взглядомъ.

И сидѣли молча, не задавая вопросовъ, каждый съ своей думой.

Въ домъ вошла безшумная тревога, прокралась въ комнаты и сѣла въ уголъ, слѣпая. И кто-то тамъ, за стѣнами дома, казалось, крался, тускло заглядывая въ окна, сторожилъ и ждалъ. Рѣзкимъ казался свѣтъ лампы. Юлія Львовна инстинктивнымъ движеніемъ полупустила огонь.

— Никто не долженъ знать, что я былъ здѣсь, — точно откуда-то издалека сказалъ Георгій.

— Слышишь, Юлія?

О. Геннадій мутно взглянулъ на жену.

— Никто не долженъ знать!

Настойчиво повторилъ:

— Никто!

Она вздрогнула и сжалась.

И опять лицо ея стало побитое.

Чужимъ взглядомъ мелькомъ взглянула на мужа, словно ожидая удара.

...Еще полночи не было.

Никто не думалъ о снѣ.

Точно по уговору, отецъ и сынъ взяли шляпы и вышли.

Бурьяномъ огорода, за пряслами, вдоль конопли вышли въ степь. Семья неподвижныхъ и сонныхъ

мельницъ словно разступилась передъ ними. И степь обняла ихъ теплыми объятьями, сухимъ ароматомъ травъ, сумракомъ далей. Говорили о случайномъ и неважномъ. Напряженно чувствовали другъ въ другъ трепеть вопроса, но избѣгали его.

И внезапно разгорѣлся споръ.

Изъ-за чего—они бы не сказали...

Но вотъ они уже стояли другъ передъ другомъ подъ звѣзднымъ небомъ—два міра, готовые столкнуться съ шумомъ бури.

Степь наполнилась образами спора.

...Шелъ Христосъ своею блѣдной походкой, съ лучистыми глазами. Потрясалъ скрижалями Моисей, съ лицомъ багровымъ отъ гнѣва. Выбѣгалъ изъ пещеръ, угрожая, быстрый и сухой Ілія. Выросли стѣны древнихъ городовъ, и съ нихъ въ почной тѣмѣ пѣжпо звали блудницы... и шли на ихъ зовъ вонны въ блестящихъ шлемахъ, военачальники, вожди и цари. Падали царства отъ заразы пороковъ и выросли новыя, чтобы утопать въ похоти и наполнять землю разгуломъ плоти. И раскрывалось надъ ними небо, вспыхивало сѣдое лицо... дышало гнѣвомъ и местью...

И подъ огненной бурей о. Геннадій метался и кричалъ:

— Отравлена грѣхомъ каждая пылика міра!

Поднималъ руки, точно призывая гибель:

— Потухнетъ солнце, упадутъ звѣзды, не дастъ свѣта луна...

Но изъ бурныхъ словъ сына выбѣгалъ кто-то темный, худой, кричащій. Вскрывалъ горящія раны. Проклиналъ небо, стоналъ и падалъ, цѣловалъ землю, прижимался къ ней... и вставалъ... и выросалъ... Въ гнѣвѣ, въ ярости, въ страсти разрушалъ вѣчныя стѣны. Пере-страивалъ землю. Кричалъ въ шумной радости:

— Побѣда!

И отзывались смѣющимся воплемъ дали:

— Побѣда!

Дрожала земная грудь, и колыхались на ней травы:

— Побѣда!

Глухой гулъ шелъ съ темнаго неба:

— Побѣда!

Но съ лицомъ звѣря казался о. Геспадію этотъ кричащій; онъ не вѣрилъ въ этого кричащаго, съ гнѣвомъ отталкивалъ его.

— Ты человѣкъ сдѣлалъ своимъ богомъ! Сгустокъ грязи, комокъ грѣха! Георгій! Георгій! Вѣдь, ты свергаешь религію?!

— Есть только одна религія—религія Природы!

— Уничтожаешь мораль?!

— Есть только одна мораль—мораль земли. А ваша,—взятая на прокатъ съ неба, хозяйка публичнаго дома вашего общества!

— Опомнись, Георгій!!

— Да, да! Эта почтенная старушка съ провалившимся носомъ давно пережила себя. Химера! Химера! Пора сдать ее въ архивъ...

Рѣзко отбрасывалъ руку.

— Къ крысамъ, къ крысамъ ее!

Теперь они стояли, какъ враги, и, точно ловя руками звѣзды, нападали другъ на друга.

— Что же есть для тебя святого, если сама добродѣтель...

— Лицемерная маска разбойниковъ!

— Но святость семьи, семьи?!

— Гдѣ люди соединены не сердцемъ, а желудкомъ?

— Но цѣломудріе?!

— Сгорающее отъ тайныхъ желаній, доводящихъ до невѣроятныхъ извращеній? Развѣ не для него существуютъ публичные дома, охраняемые вашимъ государствомъ, и больницы, гдѣ люди разлагаются заживо!

— Долгъ?!

— Передъ субботаами?

Его голосъ сталъ груднымъ отъ негодующаго волненія.

— Ваша идея долга нужна рабамъ! Сверху до низу построено на ней все ваше гнилое общество. Всѣ язвы его—язвы долга! Человѣкъ по природѣ своей жаждетъ прекраснаго, а мораль говоритъ ему: ты долженъ, ты не долженъ! Ибо въ ней выражается господство однихъ надъ другими. Рабъ жаждетъ свободы, но онъ долженъ повиноваться господамъ. Это выгодно господамъ, и потому это долгъ! Человѣкъ долженъ охранять свою семью, хотя бы она давно превратилась въ тайный притонъ, гдѣ живутъ враги, обманывая и ненавидя другъ-друга!

— Георгій!

— Да, да! Но семья—основа общества; съ распадомъ ея погибнетъ все ваше несправедливое общество, и потому охранять этотъ притонъ разврата—долгъ! Хотя бы въ ея адской атмосферѣ гибли дѣти... А, впрочемъ,—погибать, заражаясь вашей моралью, въ семьѣ, въ школѣ, въ церкви,—это долгъ дѣтей! Какой-нибудь цезарь Неронъ... кровавый звѣрь... Да что говорить! Вотъ что такое вашъ долгъ! Это—чудовище, рожденное моралью и религіей, моралью и религіей господъ, которыми они сами отравились.

— Георгій! Въ тебѣ говоритъ гордость сатаны!

— Это гордость свободного духа!

— Блаженны кроткіе...

— Ложь! Блаженны только смѣлые духомъ, ибо они станутъ людьми... въ братскую семью они сольются, и покорятъ землю, и измѣнятъ свою природу: возвышенной, прекрасной сдѣлаютъ ее!

И онъ вскричалъ въ порывѣ вдохновенія:

— Они идутъ... трудовые братья земли... они идутъ... Да, да! Одиноки они были: ихъ раздѣляли химеры и обманы. Но скоро они бросятъ землѣ и небу свое мощное слово: миръ—это мы... потому что мы—одно! Они сдѣлаютъ землю Раемъ,—храмъ любви и братства создадутъ изъ нея. И тогда то, что вы зовете грѣхомъ, порокомъ, преступленьемъ,—исчезнетъ съ лица земли,

— Никогда!—страстно вскричалъ о. Геннадій.— Нѣтъ, нѣтъ! Никогда не исчезнетъ грѣхъ!

— Его смѣнитъ радости!

— Никогда не исчезнетъ несправедливость, раздирающая людей.

— Она растворится во всемірномъ братствѣ.

— Зависть...

— Счастливые не завидуютъ.

— Жадность!

— Болѣзнь неудовлетворенныхъ.

— Убийство!

— Братьевъ не убиваютъ.

— Обманъ, ложь... измѣна!

— Ихъ не будетъ въ царствѣ братской любви.

Тогда онъ крикнулъ:

— Блудъ?!

Ждалъ отвѣта съ страннымъ интересомъ.

Но Георгій безстрашно схватился съ этимъ вѣчнымъ чернымъ призракомъ грѣха, и тѣмъ, кто произвелъ его изъ темнаго сознанья, бросалъ свои страстные слова.

— Атомъ къ атому свободно стремится въ творчество міра. Опытъ свой организовала природа и передавала его въ творческомъ актѣ... пока не создала чело-
вѣка. А они, пошлые земли... неугасимое стремленіе къ творчеству жизни назвали блудомъ! Мораль, Религія, Право,—вся эта выжимка изъ господства однихъ надъ другими,—наложила свою грязную руку на великое творчество жизни. Бросила женщину подъ власть мужчины... убила ея духъ, сузила мозгъ. Бросила мужчину и женщину въ цѣпи семьи для пользы государства господъ, чтобы сдѣлать изъ общества людей—
заводскую конюшню, для производства больныхъ и развращенныхъ рабовъ. И протестъ возмущеннаго инстинкта окрестила пошлыми словами. Да!.. Грѣхъ, порокъ, преступленіе — это протестъ природы, выбитой изъ нормальнаго русла; это исковерканный и искажен-

ный инстинктъ, доводящій людей до послѣдняго паденія ихъ, прекраснаго по природѣ, существа. Отчего у звѣрей нѣтъ измѣны? Нѣтъ прелюбодѣянія? Нѣтъ распутства? Нѣтъ растленій? Нѣтъ дѣтей рахитниковъ, дѣтей, развращенныхъ чуть не съ пеленокъ въ семьѣ и въ школѣ? Звѣри цѣльны! Они свободно творятъ жизнь. Они сильно и красиво любятъ. А человѣкъ...

Мрачное вдохновенье охватило Георгія, и онъ сталъ бросать рѣзкія слова, точно тяжелые камни:

Человѣка еще не было!

Человѣкъ будетъ.

Человѣкъ—это нѣсколько клѣточекъ въ мозгу.

Остальное—звѣрь!

Этотъ звѣрь испорченъ. Инстинкты его извращены... уже цѣлые вѣка. Оттого такъ кровавы и страшны муки рожденія человѣка. Вѣдь, вся исторія человѣчества и состоитъ въ зубовномъ скрежетѣ испорченнаго звѣря и мятежномъ метаніи человѣка. Людей разъединяло рабство. Но въ одну семью сольетъ ихъ братство, ибо въ мірѣ уже неудержимо растетъ братство клѣточекъ мозга.

Тогда вырастетъ новый человѣкъ!

Онъ исправитъ въ себѣ звѣря.

Облагородитъ его.

На красивомъ и сильномъ звѣрѣ вырастетъ онъ въ недостижимую высь, когда, отбросивъ логику неба, будетъ жить по логикѣ земли.

И не будетъ у него иного бога,—кромѣ Истины.

Иной религіи—кромѣ Красоты.

Иной морали—кромѣ Гармоніи жизни.

Звѣрь—это жизнь міра!

Человѣкъ—это пониманіе міра!

Къ Красотѣ жизни черезъ Истину человѣка — вотъ путь исторіи будущаго.

...На крыльяхъ умственной бури уносился Георгій вдаль... вдаль...

Степь расцвѣтала цвѣтами.

Звенѣли пѣсни.

Мужчина и женщина, повитые полевыми цвѣтами, улыбались, какъ дѣти, нѣжныя дѣти земли, лучамъ солнца, золотымъ далямъ, утопающимъ въ зелени воздушнымъ постройкамъ вдали отъ черныхъ громадъ заброшенныхъ городовъ. И природа ихъ была прекрасна! Наслѣдственность дала имъ здоровье, силу, красоту. Они были цѣльны! И были вѣчно вмѣстѣ, одинъ и другая. И наполнялась земля отъ любви ихъ красивыми, сильными дѣтьми, играющими среди полевыхъ цвѣтовъ. Изъ дѣтей выростали смѣлые люди, завоеватели міра... граждане царства Красоты... Радужный мостъ въ безконечность развитія!

Уже давно молчалъ о. Геннадій.

Со смутнымъ интересомъ наблюдалъ онъ сына. Его страстное возбужденіе волновало его, покоряло, и, въ то же время, рождало темное предчувствіе. Неясное и глухое подозрѣніе возникало въ немъ.

— Георгій,—думалъ онъ,—онъ рожденъ сражаться съ драконами...

Глухо стучало сердце въ предчувствіи откровенія.

Просилась мысль какая-то...

И не могла!

А Георгій, весь трепетный и гнѣвный, кричащій отъ необъятной внутренней боли, вразъ овладѣвшей, вразъ прорвавшейся въ страстныхъ словахъ, проникнутый горькимъ негодованьемъ, уже бился съ призраками, уже наполнялъ степь образами Крови. Вспыхнули пожары. Затрещали залпы. Степя, бѣжали, сгибаясь, тѣни, кровяныя землю. Выростали висѣлицы, впивались въ небо...

Ярко, какъ молнія, вспыхнуло въ мозгу о. Геннадія.

Вспыхнула мысль.

Озарила мозгъ пожаромъ.

— Георгій!—вскричалъ онъ съ ужасомъ.

Тотъ вразъ смолкъ и стихъ.

Понялъ тайную мысль отца,—его догадку.

Поднялъ лицо съ блѣдной улыбкой къ звѣздамъ.

— Георгій! Георгій! Тамъ... въ городѣ...

Сынъ медленно и глухо отвѣчалъ:

— Да...

О. Геннадій схватилъ его за плечи, держалъ крѣпко и сильно, словно боясь, что вотъ онъ растаетъ передъ нимъ во мракъ ночи, какъ призракъ бреда.

— Ты?!

И опять сынъ отвѣтилъ откуда-то издалека:

— Да.

Отецъ разжалъ пальцы, отнялъ руки.

Молча стояли они, неподвижные, нѣмые.

Георгій переходилъ взглядомъ съ звѣзды на звѣзду, съ странной, съ блѣдной улыбкой. И, быть можетъ, не видѣлъ ихъ отдѣльно: онѣ сливались передъ нимъ въ серебристый пожаръ, полный вихрей, круговоротовъ и бурь.

Отецъ смотрѣлъ въ лицо его, освѣщенное звѣздной бурей.

И міръ горѣлъ, крутился, падалъ передъ нимъ въ этомъ лицѣ... рождался въ новыхъ образахъ. Это прекрасное лицо... лицо его сына... любимое лицо... лицо преступника?

Мысли метались.

Добро и зло перемѣшались.

Такъ развѣ можетъ добро рождаться зломъ?

Любовь—ненавистью?!

Но тогда... откуда же эта, рожденная преступленьемъ, святость?

...Они больше не сказали ни слова.

Молча вернулись домой.

Ночью о. Геннадій зашелъ въ кабинетъ, гдѣ по-
мѣстился сынъ.

Тьма.

Сонно шелестятъ деревья сада за раскрытымъ ок-
номъ...

Подошелъ къ постели сына, долго стоялъ темной
тѣнью, чувствовалъ, что сынъ не спитъ... будто ждетъ
чего-то.

Тогда онъ широкимъ крестомъ перекрестилъ его.
Нагнулся. Поцѣловалъ въ лобъ. И, точно отдаваясь по-
рыву, поцѣловалъ еще... въ лицо... и еще... крѣпко,
долго, въ губы. Съ легкимъ вздохомъ Георгій обнялъ
его за шею, какъ въ дѣтскіе годы, прижался къ нему.
И такъ, молча, они оставались долго, не говоря, но
понимая, какъ затерявшіеся на граняхъ прошлаго и
будущаго, впервые угадавъ другъ-друга.

И стало вздрагивать и трепетать въ его объятыхъ
это молодое тѣло.

Онъ угадалъ тайную горестъ.

Ощутилъ влажный запахъ слезъ.

— О чемъ ты... Георгій!

И снова спросилъ:

— Раскаянье?..

— О, нѣтъ, нѣтъ... нѣтъ!

Молчаніе.

Отецъ мыслью ходилъ по его міру.

И уже научился понимать его.

Тихо спросилъ, припавъ щекой къ мокрой щекѣ
сына:

— Кто была... эта дѣвушка въ бѣломъ?

Тогда, прижавъ на постели, бѣлѣя во тьмѣ, Геор-
гій зашепталъ въ страстной горечи:

— ...Она отдала все... все, все отдала... дѣлу народа.
Молодость, счастье, жизнь! Отецъ, отецъ! Она была,
какъ дочь мнѣ. Я душѣ ея отдалъ все, что было во
мнѣ святого. Я ей мечту мою отдалъ! И она несла ее...

гордая, смѣлая... прекрасная! Да, да... она была прекрасна! Отецъ, отецъ! Развѣ она умерла?! Нѣтъ, нѣтъ!.. Она не умерла... не можетъ умереть! Она какъ зарница... какъ молнія будущихъ далей... блеснула... провозвѣстница грозъ. О, ихъ много придетъ... двѣшекъ въ бѣломъ... ихъ много придетъ, гордыхъ, смѣлыхъ, прекрасныхъ... и міръ отъ нихъ зазвенитъ серебрянымъ свѣтомъ! Но... онѣ будутъ... онѣ будутъ для меня...

Закончилъ въ отчаянной вспышкѣ:

— Не она!

— Ты любилъ ее?—беззвучно спросилъ о. Геннадій. Георгій крѣпко, до боли, сжалъ ему руки.

— Я любилъ ее, отецъ... люблю ее!

Едва о. Геннадій забылся тревожнымъ сномъ, передъ нимъ въ ночной мглѣ встали неясныя очертанія колокольной. Въ пролетахъ ея металась черная фигура игумена. Чугунный языкъ съ гуломъ ударялся въ мѣдные бока, плодя звуки медлительнаго звона, отъ котораго колебалась тьма, какъ трауръ, и, какъ въ предсмертной агоніи, вздрагивала земля. На горизонтахъ, бѣлѣя, кружились скелеты въ хрустящемъ танцѣ. Тескою одолѣвало о. Геннадія сознаніе конца. Но сквозь колокольный гулъ онъ слышалъ поспѣшные шаги, твердые быстрые шаги по скрипучей лѣстницѣ колокольной. Онъ прислушивался къ нимъ. И въ сердце его лилась надежда. Все быстрѣе раскачивался игумень въ послѣднемъ безумномъ усилии. Но уже кто-то вошелъ, кто-то схватился съ нимъ... И подъ вой скелетовъ звякнулъ колоколъ и смолкъ. Двѣ тѣни боролись тамъ, вверху. И съ бьющимся сердцемъ о. Геннадій узналъ сына, потому что лицо его освѣщалось гнѣвомъ. Вотъ схватилъ онъ игумена, поднялъ и бросилъ въ

пролетъ. Но тотъ чернымъ ворономъ съ карканьемъ посылся. И тучи вороновъ хлопали крыльями и кричали. А Зосима стоялъ на одной ногѣ и гнусавилъ на-распѣвъ:

— Кто Богъ велѣтъ, яко Богъ нашъ...

Но уже въ воздухѣ поплылъ радостно-тревожный пабать.

И вмгъ небо окрасилось пурпурнымъ заревомъ. Съ воплемъ разсыпались скелеты. Отъ радостныхъ криковъ задрожала степь, и дали отозвались отвѣтнымъ эхомъ:

— Побѣда!

Трепетали, колыхался, знамена... мелькали въ воздухѣ тысячи радостныхъ рукъ, и смутно чудились кричащія лица:

— Побѣда!

И радость охватила о. Геннадія при видѣ торжествующей жизни.

Вдругъ смолкло все...

Склонились знамена.

Онъ взглянулъ...

— Дѣвушка въ бѣломъ!

Она шла, смотрѣла на звѣзды и блѣдными руками перебирала цвѣты.

И зналъ онъ: это была Красота, любимая его сыномъ...

Вдругъ онъ увидалъ крадущіяся тѣни звѣрей... за ней, за ней! Спѣшили волки съ раскрытыми пастьми, теряя жадныя слюни, а за ними крались хитрыя лисы и переваливались медвѣди. Быстрыя, кривляясь на вѣтвяхъ, скакали обезьяны; тигры протягивали мохнатые лапы. И съ злыми глазами тянула къ ней съ дерева, точно съ трона, змѣя свое острое жало.

Тоска и боль, жалость и гнѣвъ сжали ему сердце.

Онъ хотѣлъ бѣжать... къ ней, къ ней... на помощь!

Но ноги не слушались его.

Съ крикомъ проснулся...

...Сквозь яростный лай и визгъ собакъ, въ ворота гулко стучали. На дворѣ звучали голоса. Потомъ вразъ во всѣ ставни, на дворѣ и на улицѣ, забили крѣпкія руки.

-- Вставайте! Отворяйте!

Насмѣшливый голосъ звонко говорилъ:

— Именемъ закона!

О. Геннадій вмигъ схватился, метнулся въ комнату Георгія, нащупалъ въ темнотѣ постель.

Она еще тепла... пуста!

Окно раскрыто.

Онъ выглянулъ.

И увидалъ во тьмѣ, на дорожкѣ сада, высокую плотную фигуру жандарма.

Отпахнулись ставни.

Въ стекла глянули лица.

Точно темная сила окружила домъ.

И съ топотомъ ворвались въ дверь, какъ толпа неуклюжихъ медвѣдей, раскачивая фонарями. Стучали шпорами и грубо задѣвали мебель. Словно ворвался черный потокъ, заливая комнаты мутной волной.

Зажигали лампы, свѣчи.

— По предписанію главноначальствующаго, — слышалъ, какъ во снѣ, о. Геннадій.

Передъ нимъ стоялъ полковникъ.

На жесткомъ гладко-бритомъ лицѣ его, похожемъ на совиную маску, скрещивались тѣни фонарей и лампъ. И оттого онъ казался призракомъ, у котораго вытягивался и исчезалъ носъ, а глаза свѣтились змѣинымъ блескомъ. По рѣзкому движенію его руки тяжелыя фигуры бросались, толпясь, въ сосѣднія комнаты, шумно двигали мебель, съ кѣмъ-то перекликались въ раскрытыя окна. На подолокѣ топали тяжелыя поги, и съ потолка осыпалась известка и пыль.

О. Геннадій чувствовалъ себя въ кошмарномъ снѣ.

Проводилъ рукою по лицу, точно желая проснуться.

Но мрачная грёза продолжалась.

— У васъ есть сынъ?—спрашивалъ полковникъ.

— Есть.

— Его зовутъ Георгій?

— Георгій.

— Онъ здѣсь?

О. Геннадій спокойно смотрѣлъ въ лицо полковника.

— Нѣтъ!

— Онъ здѣсь, говорю я вамъ!—дерзко крикнулъ полковникъ.—Безполезно заператься,—его слѣды преслѣжены!

О. Геннадій отвѣчалъ ему въ тонъ:

— Его здѣсь нѣтъ, говорю я вамъ!

Но въ это время вокругъ дома загудѣло и застопало, словно налетѣла, преслѣдуя жертву, туча ночныхъ птицъ.

— Нашли! Нашли!

О. Геннадій вздрогнулъ.

Впился глазами въ дверь.

Изъ дверей и въ двери метались юркіе человѣчки въ штатскомъ, что-то кричали гнусавыми голосами, какъ вспугнутое стадо обезьянъ.

Въ сѣняхъ возились, топали, и кого-то тащили.

Съ грубымъ смѣхомъ втолкнули въ дверь женщину,—полуобнаженную, въ короткой юбкѣ, съ шалью, упавшей на одно плечо.

Она дрожала.

Поправила паль.

Темнымъ взглядомъ животнаго пашла взглядъ о. Геннадія и ушла имъ въ сторону.

За нею ввели, крѣпко держа, высокаго человѣка въ разорванной рубахѣ.

— Въ банѣ нашли!..

О. Геннадій положилъ руку на столъ и мутно взглянулъ на полковника.

— Полковникъ! Эта женщина... моя жена. Отпустите ее!

— А это... вашъ сынъ?

— Нѣтъ.

— Кто же?

Что-то мутное охватило на мигъ о. Геннадія и подчинило себя.

— Этотъ человѣкъ передъ вами... спросите.

— Кто вы?

— Сынъ... мѣстнаго дьякона.

— А! — саркастически разсмѣялся полковникъ, — очепь пріятно...

И, откинувшись на стулѣ, обратился къ Юліи:

— Гдѣ же вы изволили быть?

— Я... услышала шумъ... вышла... Испугалась...

— А вы? — уже не скрывая насмѣшки, обратился жандармъ къ Александру.

— Услыхалъ шумъ, — подавленно отвѣчалъ Александръ, не замѣчая совпаденія словъ.

— И вышли?

— Думалъ, что воры...

— И встрѣтились въ банѣ?

Легкій смѣхъ прошелъ среди жандармовъ.

О. Геннадій крѣпко оперся о столъ, такъ что тотъ подвинулся и заставилъ вскочить полковника.

— Полковникъ! — вскричалъ онъ гнѣвно, — это не имѣетъ отношенія къ моему сыну. Прошу не забывать, что здѣсь домъ священника!

— Здѣсь все имѣетъ отношеніе къ вашему сыну! — съ внезапнымъ бѣшенствомъ крикнулъ полковникъ, впрочемъ, мѣняя тонъ. — Знаете ли вы, въ чемъ обвиняется вашъ сынъ? Вашъ сынъ... убійца!

Юлія Львовна пронзительно вскрикнула:

— Убійца... нѣтъ, нѣтъ! Вы лжете!

Кинулась впередъ, блѣдная.

Шаль упала съ плечъ ея, но она не замѣтила.

— Мой сынъ... вы лжете! Онъ не можетъ быть убійцей! Нѣтъ, нѣтъ!

— Онъ здѣсь?—быстро кинулъ ей вопросъ полковникъ.

Она взглянула на мужа, схватилась за грудь, сдержалась, глухо проговорила:

— Нѣтъ.

— Его уже нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Значить, только-что былъ?

— Нѣтъ. И не былъ... нѣтъ!

Схватившись за голову, она упала въ безпамятствѣ.

О. Геннадій бросился къ ней, вырвалъ ее изъ грубыхъ рукъ жандармовъ и, прикрывая ее шалью и держа за талию на рукѣ, другую руку рѣзко протянулъ къ полковнику.

— Полковникъ!—крикнулъ онъ,—это издѣвательство!

— Что-съ?

Полковникъ вскочилъ.

— Прошу не забывать: я — представитель закона!

— Земного? А я представитель закона, начертаннаго въ Евангеліи! Не дѣлайте другимъ того, чего не желаете себѣ,— сказано тамъ. Ибо въ ню же мѣру мѣрите...

Съ глухимъ намекомъ закончили:

— Возмѣрится и вамъ!..

— Что это? Угроза?! — вспыхнулъ полковникъ.

О. Геннадій обдалъ его мрачнымъ взглядомъ.

... Со двора кричали:

— Нѣтъ!

Входили съ докладомъ, беря подъ козырекъ:

— Нѣтъ!

— Да здѣсь всѣ сговорились? — вскричалъ полковникъ, — все равно! Мы не могли ошибиться. Вашъ ли сынъ, или кто другой... мы найдемъ его на днѣ моря. Осматривать весь домъ! Осмотрѣть печи! Взломать полъ!

Задвигались ящики, застучали вьюшки, посыпались на полъ изъ шкафовъ книги.

... Стали съ трескомъ взламывать полъ...

V.

Черная туча нависла надъ поповскимъ домомъ, придавила его.

Духовенство не заѣзжало болѣе къ о. Геннадію, а въ вечернія зори близъ дома звучали похабныя пѣсни приспѣшниковъ старосты. О. Геннадій не исправлялъ разрушеній, словно въ память той ночи. Сбитыя съ петель двери построекъ жалобно скрипѣли отъ вѣтра, открывая взломанные полы погребовъ и амбаровъ. Въ бурьянѣ двора валялись кадушки, доски, упавшія съ крышъ; вѣтеръ игралъ обрывками бумагъ и перьями прорванной перины.

Какъ-то утромъ съ крикомъ вбѣжала служанка:

— Бѣда случилась... бѣда!

— Ну, что еще тамъ такое?!

— Вымазали дегтемъ ворота!

О. Геннадій поднялъ голову.

Лицо его было блѣдно, но спокойно.

— Это — Голгова! — сказалъ онъ.

И съ этихъ поръ не опускалъ головы.

Съ застывшимъ выраженіемъ гордаго спокойствія, съ темнымъ „внутреннимъ“ взглядомъ, онъ ходилъ и двигался, какъ автоматъ. Ровнымъ, но далекимъ, голосомъ пѣлъ и читалъ, совершалъ требы и богослуженіе. Съ особенной тихою важностью говорилъ съ женой, словно и вся обыденная жизнь превратилась для него въ богослуженіе. Но волосы мало по-малу сѣдѣли надъ его еще молодымъ лицомъ.

Юлія Львовна неслышно сновала, какъ тѣнь, изъ комнаты въ комнату. Украдкой, косящимъ взглядомъ, наблюдала мужа, полная животнаго страха.

— Онъ знаетъ... вѣдь, онъ знаетъ... онъ знаетъ! — день и ночь стучала въ ней мысль,

Удивлялась, страшилась его молчанья.

— Отчего же онъ молчитъ... отчего?!

Лицо ея худѣло и покрывалось морщинами; глаза тускнѣли отъ скрытыхъ слезъ. Полная страховъ ожиданья, живя подъ гнетомъ какихъ-то нарастающихъ, отовсюду грозящихъ, ужасовъ, она перестала слѣдить за костюмомъ и прическою...

Только сынъ соединялъ ихъ.

Вечерами, въ темнотѣ, они тихо говорили о немъ. Волны общественной бури доходили до нихъ, разбиваясь о домъ ихъ слухами. И они жадно ловили слухи, жадно ждали извѣстій.

Извѣстій не было!

Быть можетъ... онъ пойманъ? Воображали его въ темницѣ, въ кандалахъ. Казнятъ его... а они не узнаютъ!

По цѣлымъ днямъ о. Геннадій уходилъ въ книги, перечитывалъ библію, ища отвѣта на свои мучительные запросы. Необъятный міръ открылъ передъ нимъ поступокъ сына, міръ, полный пугающихъ и странныхъ, непонятныхъ, образовъ. Въ борьбѣ Добра и Зла хотѣлъ онъ разобраться подъ угломъ этого факта. И гулкій крикъ борьбы облекался передъ нимъ въ причудливыя видѣнья, мучилъ его снами, — когда онъ видѣлъ борьбу Бога и Сатаны, темныхъ и свѣтлыхъ силъ... и его сынъ вмѣшивался въ эту борьбу, всегда освѣщенный багровымъ заревомъ мірового пожара.

... Иногда вечерами онъ уходилъ въ степь, къ кресту на знакомомъ курганѣ, и тамъ стоялъ, неподвижный и темный, со скрещенными руками.

Послѣ знойныхъ дней бушевали бури.

Бѣжали по степи во тьмѣ чудовища, съ воемъ и стономъ пригибаясь къ землѣ. Вставали до тучъ въ сѣдыхъ лохмотьяхъ дождя, какъ дикія грѣзы... ахали. падали... Освѣщенные сверху невидимой луной, испуганнымъ стадомъ слѣпили тучи, холодныя, слѣпыя.

Щурша въ сухой травѣ, подкрадывался вѣтеръ, проводилъ по лицу о. Геннадія влажными лапами и убѣгалъ...

А съ горизонтовъ вставали вопли бури.

И мрачные голоса ночи будили въ о. Геннадіи неясныя, но большія мысли. Суровые бурные стоны ея говорили ему больше, были ближе ему, чѣмъ нѣжная и страстная улыбка дня. Точно идеи боролись передъ нимъ и проносились въ воздухѣ мысли, мысли о великой борьбѣ, тамъ, за горизонтами... Вставали одинокіе Маккавеи... всегда побѣждаемые! Тамъ Моисеи въ гнѣвѣ убиваютъ египтянъ, поднимаютъ скрижали и зовутъ изъ плѣна народъ... чтобы быть побитыми камнями. Тамъ пророки встаютъ... чтобы умереть въ темницѣ!

Онъ всматривался въ тьму.

Тамъ, во мглѣ и бурѣ, гдѣ-то бродитъ его сынъ, быть можетъ, укрываясь во впадинахъ земли, въ сырыхъ и грязныхъ ямахъ... такой же гонимый, какъ онъ... такой же одинокій! Идетъ, идетъ... не имѣя пристанища, подъ дождемъ и вѣтромъ.

Но міръ предастъ его!

Развѣ онъ, о. Геннадій, не знаетъ людей? Самымъ близкимъ и милымъ нельзя вѣрить.

— Нельзя! Нельзя!

Снова вспыхивали передъ нимъ образы грѣховнаго міра.

Но онъ холоднымъ взглядомъ, — со стороны, — смотрѣлъ на нихъ: они больше не волновали его.

Билъ въ колоколъ на колокольномъ своей черной игуменъ, бѣшено бросая проклятья...

Но приходилъ сынъ.

И мыслью уходилъ за нимъ о. Геннадій по холодному міру.

А буря дышала въ лицо ему.

... И пришло изъ тусклыхъ сумерекъ окружающей ночи что-то новое, еще непонятное; безшумно постучало въ окна, улыбнулось улыбкою неяснаго лица, еще

незнакомаго, но уже близкаго, будящаго и радость, и смутную тоску.

Не въ первый разъ долетала къ поповскому дому насмѣшливая пѣсня:

Му-ужъ мо-ой свяще-е-е-енникъ,

А я по-о-па-дья-а...

Наглый смѣхъ дрожалъ въ вечернемъ сумракѣ.

Блѣдными тѣнями, молча сидѣли и слушали за чайнымъ столомъ попададя и о. Геннадій эти пѣвучіе звуки вражды, душившіе ихъ костлявыми пальцами. Она ничего не смѣла говорить, молча сносила, слегка уводя голову въ плечи, какъ побитая. А онъ думалъ о терновомъ вѣнкѣ, и попададя въ темнотѣ различала на лицѣ его горькую улыбку. Вражда, наглѣя, уже подходила къ самымъ окнамъ, выводила на площадь чужую тайну и плевала на нее, обнаженную:

Выходи-ка, дорогая,

На свиданьице ко мнѣ!

Обниму тебя, лаская,

У дьякона на гумнѣ...

Но разъ пѣсня смѣнилась криками.

Выросъ шумъ драки.

Въ вечернемъ сумракѣ вокругъ дома метались кричащія тѣни, жалобно стонали подъ тупыми звуками ударовъ, молили о пощадѣ.

И пѣсня смолкла...

— Кто эти неожиданные друзья?—съ удивленіемъ думалъ о. Геннадій.

Перебиралъ въ памяти знакомыя лица.

— Кто они?

Но память ничего не подсказывала.

Неужели онъ плохо знаетъ своихъ прихожанъ? Неужели въ вѣчной борьбѣ съ грѣхомъ онъ просмотрѣлъ то милое, что вокругъ таилось, то человѣческое, что, какъ невидимый ковчегъ, несется по волнамъ звѣрнаго потопа въ невѣдомое свѣтлое царство...

Какъ-то, выйдя во дворъ рано утромъ, онъ, пораженный, остановился передъ воротами.

И сердце его крѣпко забилося.

За ночь кто-то выкрасилъ ворота зеленою краской.
...исчезло дегтяное пятно...

Однажды пришелъ дьяконъ.

— Ну, прощайте,—заявилъ онъ,—живите, какъ хотите, а я отъ васъ ухожу!

— Какъ? Куда? Когда?

— Получилъ назначеніе. Богатѣйшій приходъ! Однихъ браковъ за годъ двѣсти. А нашъ братъ только браками и живетъ. Настоятелемъ же тамъ о. Любоправдовъ... строгій человѣкъ, приходъ въ рукахъ держать. Ужъ тамъ не будутъ расплачиваться пятакими за „утоленіе печалей“! Нѣ-этъ! На все своя такса!

По тусклому лицу дьякона прошла мягкая улыбка.

— Эхъ, о. Геннадій! Все я понимаю... да, вѣдь, дѣти! Всякій человѣкъ по-своему живетъ. Зналъ я одного архирея: тотъ чай только съ солеными огурцами пилъ. Всякая своя линія положена.

Онъ неуклюже растопырилъ руки:

— Забудемъ лихо! Обнимемся...

О. Геннадій мелькомъ взглянулъ на жену.

Та сидѣла выпрямившись, съ тупымъ взглядомъ.

— Когда же въ отъѣздъ, дьяконъ?

— Сегодня въ ночь.

...Вечеромъ пришелъ Александръ.

Какъ-то безшумно проникъ онъ въ залъ, первый разъ съ тѣхъ поръ. Сталъ въ дверяхъ и темный лихорадочный взглядъ золотистыхъ глазъ остановилъ на о. Геннадіи.

— Проститься пришелъ,—сказалъ онъ глухо.

Юлія Львовна не шевелилась, какъ застывшая.

Оба смотрѣли на о. Геннадія.

Чего-то ждали.

Взгляды ихъ пытливо спрашивали и боялись,—боялись молчанія и спрашивали его.

О. Геннадій молча взялъ шляпу и пошелъ изъ комнаты. Но въ дверяхъ пріостановился—и вдругъ протянулъ руку Александру.

Ушелъ.

...Быстро прошелъ мимо во тьмѣ молчащихъ мельницъ, таинственно шевелившихъ лапами. Возбужденно шагаль по степи.

Всѣ мысли сосредоточилъ на сынѣ.

— Бѣдный, бѣдный... умерла его дѣвушка въ бѣломъ.

Искалъ его мыслью за угрюмыми далями, разговаривалъ съ нимъ и спорилъ, напряженно всматривался въ воющую тьму, словно надѣясь увидеть его тѣнь. И въ звукахъ бури чудился ему его голосъ, зовущій на помощь:

— Ко мнѣ! Ко мнѣ!

Буря вздымалась съ земли до тучъ, хохотала и плакала въ глубинѣ неба, тушила мигающія звѣзды и, падая внизъ, шумно ревѣла въ черныхъ лощинахъ.

...ко мнѣ! Ко мнѣ!

Отъ дальнихъ горизонтовъ, изъ ночной мглы, отъ шумящихъ травъ шелъ этотъ крикъ.

Терзалъ его.

.....
Ночью Юлія Львовна металась въ бреду.

Косматая, горящая, она лепетала что-то запекшимися губами, кусала ихъ до алой крови, крѣпко сжимала бѣлые зубы. Пыталась бѣжать, вскакивая съ постели. Отталкивала о. Геннадія. Смотрѣла въ темноту пустыми, какъ ямы, глазами... что-то видѣла тамъ, исторгавшее крики, точно вопли заблудившейся въ бурныхъ тучахъ чайки. Кто-то, страшно больной, несчастный, бился въ ней, стоналъ въ темныхъ подпольяхъ, молилъ и плакалъ...

О. Геннадій терпѣливо ухаживалъ за нею.

Кладъ на голову ледъ.

Сдерживалъ бурные порывы.

Она смирялась передъ силою его рукъ, стихала и шептала трепещущими губами:

— Але-кса-ндръ...

Липкія слезы обливали ея лицо.

Когда она стихла и лежала обезсиленная, нѣмая, неподвижная, о. Геннадій тихо прошелъ въ кабинетъ, въ надеждѣ отыскать гдѣ-то въ дальнемъ ящикѣ лѣкарство.

Поставилъ на столъ оплывшую свѣчу.

Заглянулъ въ ящикъ, въ другой,—ничего не нашелъ. Задумался, облокотившись на столъ. Вѣтеръ дышалъ въ раскрытое окно, колебалъ пламя свѣчи. Откуда-то сильно пахло цвѣтами.

Вдругъ о. Геннадій вдрогнулъ и выпрямился.

Прямо передъ нимъ на столъ лежалъ вѣнокъ изъ свѣжихъ полевыхъ цвѣтовъ, дышавшихъ ароматомъ. И по тому, какъ лежалъ вѣнокъ, видно было, что бросилъ его кто-то черезъ окно.

Онъ быстро взялъ его.

На немъ алѣла лента...

Вспыхнулъ.

Понялъ.

Въ страстномъ благодарномъ порывѣ онъ прижалъ къ губамъ пахучіе цвѣты. И вдругъ замѣтилъ письмо, крѣпко перехваченное концомъ ленты.

— Отъ сына!—Все всколыхнулось въ немъ.

Дрожащими руками развязалъ письмо, разорвалъ конвертъ...

— Да, да! Отъ сына!

...и онъ читалъ, жадно читалъ это милое письмо, облокотившись у оплывшей свѣчи. Онъ читалъ это письмо изъ подполья, гдѣ таился сынъ его...

Поднялъ отуманенные глаза.

Кто-то стоялъ у окна.

— Власъ!—вмигъ догадался онъ.

И метнулся къ окну и чему-то крѣпко обрадовался.

— Ты?

— Я, батюшка! Я давно тутъ, въ саду... поджидалъ тебя. Сказать тебѣ надо... тайное! Теперича Егорій твой въ надежномъ мѣстѣ. А зовутъ его Миколаемъ.

— Видѣлъ его?

— Нѣту.

— А письмо... это ты?

— Я. И ежели тебѣ надо будетъ ему письмо... кликни меня.

— Да какъ же ты... передашь?..

— Черезъ товарищey.

Ночь дышала влажнымъ дыханьемъ за спиною Власа. Но отъ лица его исходилъ на о. Геннадія какой-то мягкій и нѣжный свѣтъ...

— Прощай, батюшка,—тихо сказалъ Власъ.

О. Геннадій съ счастливой и радостной улыбкой протянулъ ему руку.

...Сидѣлъ у постели жены, задумавшись, смутно улыбаясь чему-то.

Взглянулъ и увидѣлъ: Юлія Львовна смотрѣла на него темнымъ взглядомъ.

— Очнулась?

Положилъ руку на ея косматую голову и печально улыбнулся ей:

— Юля! Зачѣмъ такъ много скрытаго страданья? Развѣ это нужно?

Юлія смотрѣла, не понимая.

Онъ слегка отвернулся.

— Не надо больше печали!

Помолчалъ и тихо добавилъ:

— Я отпускаю тебя!

Юлія порывисто приподнялась на постели.

— Куда?!

— ...Къ нему.

Она упала лицомъ въ подушку.

— Ты знаешь? Ты знаешь?

Все отчаяннѣе рыдала.

— Ты знаешь...

Подняла къ нему мокрое отъ слезъ лицо.

— Ты гонишь меня?

— Ахъ, не гоню... пойми!..

Она схватила руку его и цѣловала ее.

— Я не уйду отъ тебя... не гони! Я люблю тебя! Тебя одного... слышишь?! Буду у ногъ твоихъ лежать... какъ собака...

— Не унижайся, Юля!

— Нѣтъ!.. Нѣтъ... буду въ глаза тебѣ смотрѣть!.. А то... это не то! Это прошло! Это сильнѣе меня... Я не знаю... Это не то! Я не знаю...

Брала и крѣпко сжимала руки его воспаленными ладонями.

— Вѣдь, это родное... свое!

Обнимала его оголенными руками.

— Это родное... свое!

Опять откидывалась въ отчаяніи.

— Дѣвочкой... я любила смѣхъ... любила смѣхъ... Смѣялась... смѣялась... Это оттого!

— Юля!—сказалъ о. Геннадій,—это забыто.

— Простилъ?—вскричала она. И пылливо насторожилась.

— Простилъ?—настаивала она.

— Мнѣ не въ чемъ тебя прощать, Юля!

Тогда она внезапно забила передъ нимъ въ припадкѣ безумнаго отчаянія.

— Не прощай, нѣтъ, нѣтъ... прокляни меня! Ганя! Прокляни!!

И поднимая къ нему лицо, въ слезахъ и пятнахъ, напряженно шептала:

— Это было... это было... не разъ!!

Онъ смотрѣлъ на нее... на ея постарѣвшее и опухшее лицо, со слѣдами такъ долго скрытыхъ отъ него стра-

стей и горя, смотрѣлъ и удивлялся, что нѣтъ въ немъ ни ревности, ни злобы... все исчезло. Точно съ далекаго неба смотрѣлъ онъ внизъ на нее, и удивлялся мыслямъ своимъ. Вотъ прошлое передъ нимъ плачетъ и стонетъ. Кто-то въ комъ-то получилъ свободу и первое движеніе его—лучистая слеза... вздохъ по красотѣ, неотысканной въ тайныхъ исканьяхъ по грязнымъ и глухимъ дорогамъ...

...И снова степь приняла его въ пылающія объятія, прижала, какъ мать, къ ароматной груди своей.

И казалось ему,—онъ перешагнулъ черезъ себя прежняго, скорлупу „ветхаго человѣка“ стряхнулъ съ себя.

Что-то дрожало въ немъ... свѣтлое!

Не прощенье... а пониманье.

Великое пониманье жизни!

Все жило, трепетало, искало вокругъ него, стремилося вдаль, вглубь, къ совершенству, къ цѣльности; стонало, грубо сдавленное; гибло, искаженное; проклинали, оскорбленное; инстинктивно мстило за себя—и сквозь мрачныя тѣснины исковерканной жизни лилось свѣтлымъ потокомъ мечты въ царство еще невѣдомой, но властно грядущей Красоты.

Онъ уносился на свѣтлыхъ волнахъ вдаль... вдаль...

И не было времени.

Не было пространства.

Внутри хрустальной слезы уносился онъ по безднамъ міра.

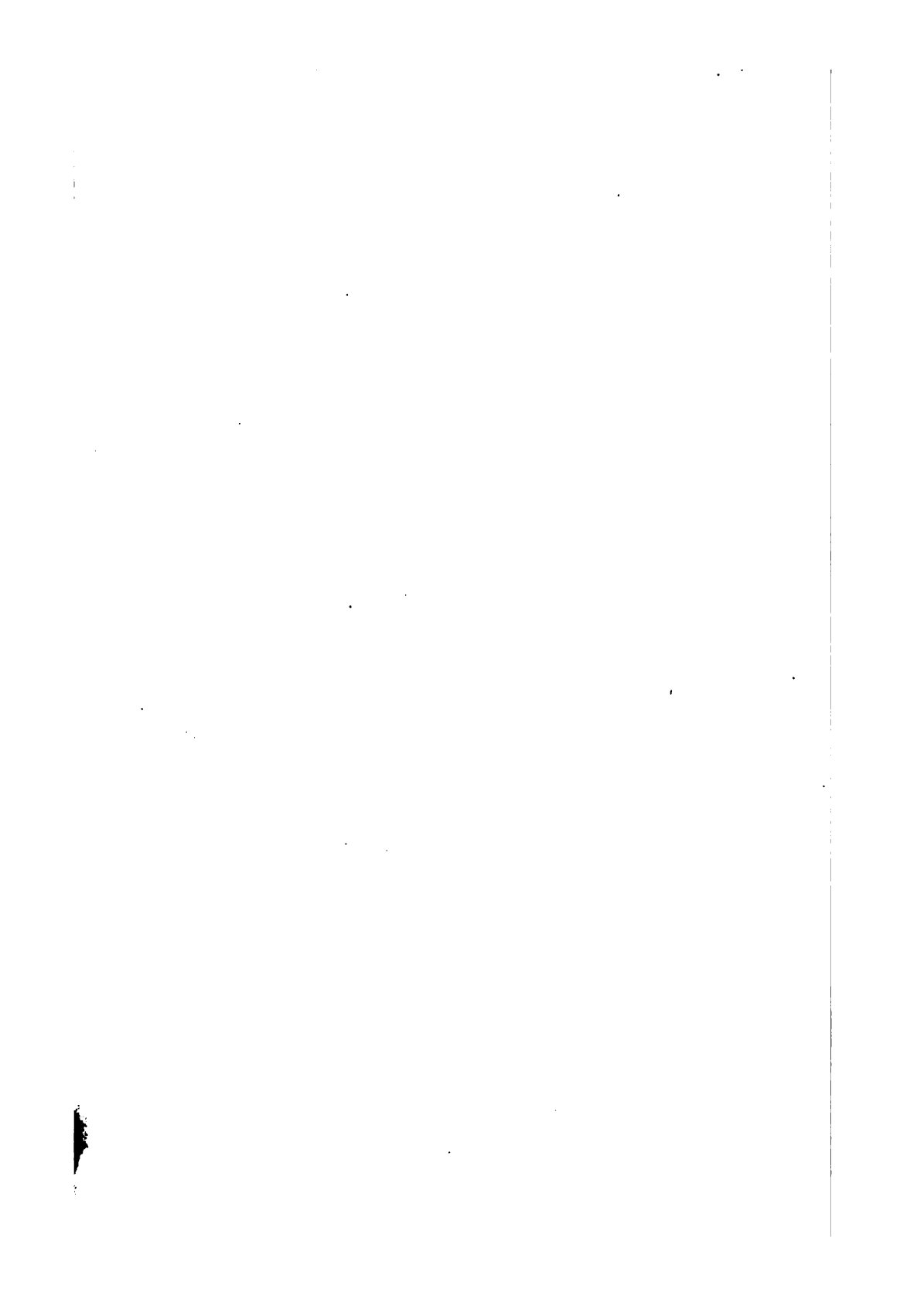
И не былъ онъ больше одинокъ!

Гдѣ-то вблизи него таилось близкое, протягивало къ нему милыя нѣжныя руки братства. Бодрья улыбки чудились ему... звали смѣлые голоса. И въ груди его разрослось свѣтлое стремленье, жажда—протянуть имъ руки, слиться съ ними въ радостномъ чувствѣ.

Степь шептала ему сказки травъ и цвѣтовъ.

Вѣтеръ нѣжно смѣялся въ лицо ему.

...И гдѣ-то въ выпинѣ клеталъ степной орелъ...



А. ЗОЛОТАРЕВЪ.

ВЪ СТАРОЙ ЛАВРѢ.

Былъ канунъ весенняго Николина дня. Темнѣло. Теплая, ласковая ночь, тихо обнимая своей черной пеленою все, что ни встрѣчалось у нея [на пути, неслышно надвигалась изъ-за Днѣпра на Старую Лавру.

Дальнія и ближнія пещеры, сберегавшія въ своихъ темныхъ и сырыхъ подземельяхъ нетлѣнные останки первыхъ строителей святой обители и создателей ея славы, уже тонули въ ночномъ сумракѣ среди густой зелени, которая сплошь одѣвала дикіе крутые склоны высокаго лаврскаго берега. А въ потемнѣвшихъ лѣсныхъ заросляхъ совсѣмъ-совсѣмъ близко, чуть не надъ самыми усыпальницами строгихъ подвижниковъ и дѣвственниковъ, робко и стыдливо звучали первыя соловьиныя пѣсни.

Но вверху, на горѣ, гдѣ стоялъ старинный лаврскій соборъ во имя Успенія Пресвятой Богородицы, и гдѣ къ высокимъ лаврскимъ стѣнамъ вплотную придвинулись крѣпостные валы и мірскія постройки, еще не замерли отголоски дневной жизни и движенія. На высокой колокольнѣ медленно погасали послѣдніе блѣдно-желтоватыя отблески долгой и поздней весенней зари, и въ эти мгновенья вся Старая Лавра стояла, озаренная тихимъ, готовымъ померкнуть, отраженнымъ свѣтомъ.

По обширному монастырскому двору толпились или расхаживали цѣлыми вереницами, въ различныхъ направленіяхъ, несчетные богомольцы.

По временамъ въ гулкій шумъ шаговъ по каменнымъ плитамъ, въ тихій шелестъ одеждъ и смутный

осторожный говоръ черезъ открытыя окна собора вливались разрозненные, безсвязные отрывки всеобщаго пѣснопѣнія. Суровый лаврскій напѣвъ, оставляя подъ тяжелыми, загроможденными сейчасъ лѣсами, сводами всю свою дикость и смятеніе, прилеталъ сюда, подъ открытое небо, тихимъ и гармоничнымъ, и въ немъ радостно дрожали вырвавшіеся на свободу нѣжные переливы малорусской народной пѣсни.

Всюду здѣсь чувствовалось предпраздничное благоговѣйное настроеніе. Казалось, вся Старая Лавра жила сейчасъ напряженно особою, чуждою для остального міра, жизнью. Богатая вѣрою давно умершихъ поколѣній, она ревниво берегла въ своихъ стѣнахъ тысячи вѣрующихъ, пришедшихъ почитать память великаго святого, и, обвѣянная молитвенными звуками, встрѣчала надвигавшуюся ночную темноту строгая, высокая, въ своей вѣковой святости недоступная призрачному и мимолетному весеннему очарованію.

Страстная весенняя ночь, безпокойная отъ затаеннаго въ ней нелюдского говора и шума, тихо ползла между тѣмъ снизу навѣрхъ. Все ближе, все тѣснѣе сжимала она въ своихъ крѣпкихъ объятіяхъ и оба далекіе берега разлившейся рѣки, и цѣпи прибрежныхъ холмовъ горной стороны, строенія и деревья, лаврскія церкви и башни, крѣпостные валы и арсеналы—и все, что такъ рѣзко, такъ непохоже и чуждо было другъ другу еще такъ недавно при ясномъ дневномъ свѣтѣ. Исчезали, сливались со тьмою монастырскія стѣны, а надъ ними и поверхъ ихъ, по-своему, тихо, уже шептались очнувшіяся отъ дневного забытья деревья, протягивая свои развѣсистыя, длинныя вѣтви. Монастырскіе сады, гдѣ въ холѣ и нѣгѣ росли деревья, выходцы далекихъ странъ полуденнаго Востока, когда-то пересаженные сюда вмѣстѣ съ новою вѣрою, тѣсно сплетались въ ночной тѣмѣ съ пышною лѣсною зарослью, искони покрывавшей прибрежные склоны, выступы и кручи.

И если подъ чернымъ покровомъ ночи обезцвѣчивалась веселая, нарядная одежда земли, то на смѣну яркимъ цвѣтамъ и причудливымъ обликамъ распустившихся деревьевъ просыпались яркія, радостныя, такъ же неисчерпаемо-разнообразныя благоуханія и пѣсни... А на потемнѣвшемъ небесномъ сводѣ загоралась, какъ всегда, блестящая, загадочная, еще не понятая никѣмъ на землѣ, картина вѣчности, сотканная изъ безчисленныхъ звѣздъ.

Въ природѣ начиналась своя торжественная, многозвучная всенощная, полная творческаго вдохновенія и восторга.

Вдругъ, въ эту нѣжную восторженную музыку весенней ночи ворвались, брошенные невидимою челоувѣческою рукою съ высокой лаврской колокольни, громкіе многогласные звуки благовѣста: долгая монастырская служба закончилась. Густая толпа монаховъ и богомольцевъ, расплываясь во всѣ стороны, быстро наполнила собою всѣ дорожки и выходы Лавры. Вѣрующіе шли на ночлегъ, измученные и усталые, но растроганные, умиленные, бережно унося съ собою незабываемое настроеніе сладостнаго забытья, рожденное въ чуткихъ сердцахъ искреннею молитвою въ святомъ мѣстѣ, гдѣ развилась и окрѣпла когда-то новая вѣра ихъ предковъ.

И куда ни шли вѣрующіе, всюду—за ними и впереди нихъ—несся торжественный праздничный благовѣстъ. Гулкіе металлическіе звуки, какъ-будто заботясь о чистотѣ и силѣ молитвеннаго настроенія, безъ жалости вытѣсняли и гнали, далеко прочь отъ лаврскихъ святынь, вкрадчивые голоса страстной, безстыдной весенней ночи. И святая Старая Лавра, словно очнувшись отъ обнявшаго было ее весенняго очарованія,—вся, каждымъ камнемъ своего помоста, всѣми своими могильными плитами и памятниками, сѣдыми стѣнами, башнями и церквями,—зазвучала въ отвѣтъ, гулко отражая, какъ огромный резонаторъ, привычные звуки своихъ коло-

коловъ и посылая ихъ въ теплый и чуткій воздухъ неспящей весенней ночи.

До самаго шумнаго города неслись они, властные и негодующіе, благовѣствуя и призывая къ молитвѣ. Но никто не слышалъ голоса Старой Лавры, тамъ, на новыхъ оживленныхъ улицахъ большого, болѣе стараго, чѣмъ сама Лавра, города, гдѣ горѣло электричество, гдѣ звенѣли трамваи, дребезжали экипажи, и гуляла нарядная, беззаботная толпа людей—и только одинокіе каменные гиганты, стоявшіе на высокихъ холмахъ красавца-города, чуть-слышно отзывались на родственный звонъ.

Зато безъ помѣхи, далеко за разлившійся Днѣпръ, неслись лаврскіе призывы, но и тамъ безслѣдно погасали въ мягкой зелени хвойныхъ лѣсовъ,—уже обезсиленные, уже побѣжденные ласковыми чарами ночи...

Звонъ смолкъ такъ же рѣзко и неожиданно, какъ и начался. И, какъ всегда, послѣ сильнаго шума, наступила чуткая, жадная до звуковъ, растревоженная тишина.

На затихшую Лавру вновь отовсюду неудержимо хлынули странные, неуловимые и обманчивые голоса весенней ночи. Неизвѣстно, какъ и откуда являвшіеся, они мучили своей многозвучностью ненасытное воображеніе людей, ушедшихъ отъ міра. То совсѣмъ ясно, такъ что можно было разобрать слова и напѣвъ, доносились, должно быть съ Днѣпра, хоровая пѣсня; то звучали обрывки далекой музыки. Порою, совсѣмъ близко, можетъ быть, въ самой Старой Лаврѣ, раздавался заразительный женскій смѣхъ, слышался прерывистый шопотъ... И сильнѣе припадали на ночной молитвѣ святые подвижники, помощи искали у Всемогущаго Бога въ борьбѣ противъ дьявольскихъ козней...

Ночь совсѣмъ опустилась надъ Старою Лаврою. Еще тѣснѣе сомкнулись потемнѣвшіе и обезлюдѣвшіе каменные великаны, разошлись по домамъ ближніе богомольцы и по своимъ келіямъ монахи.

Но долго еще тѣ изъ дальнихъ богомольцевъ, что не успѣли заблаговременно устроиться или, опозднившись въ дорогѣ, только-что прибывали къ святой Лаврѣ,—долго еще бродили взадъ и впередъ около безмолвной и затихшей Лавры въ поискахъ за удобнымъ для недолгаго и немудраго ночлега пристанищемъ.

Ночная тьма скрыла отъ глазъ многоликій, разнообразный и многоцвѣтный народный потокъ, который, вотъ уже сколько вѣковъ, непрерывно вливался и выливался изъ Старой Лавры. Но зато въ ночной тиши сталъ слышенъ шорохъ и шумъ, разрывающій шумъ и плескъ этого народнаго водоворота, образовавшагося на святомъ мѣстѣ, гдѣ расцвѣла когда-то чудесами и подвигами новая побѣдоносная вѣра.

И, казалось, можно было чувствовать, какъ электризуются, сталкиваясь другъ съ другомъ, какъ ускоряютъ и замедляютъ свой бѣгъ, обмѣниваясь своими живыми силами и скоростями, безчисленныя частицы народнаго океана...

На небольшомъ балконѣ высокаго каменнаго зданія лаврской гостинницы, который, вися надъ садомъ, выходилъ къ Днѣпру, сидѣли трое,—дѣвушка и двое юношей. Они вмѣстѣ были захвачены сегодня притягательной силой стариннаго людского водоворота и брошены на мгновенье въ его головокружительную, влекущую глубину.

Оба юноши были студентами духовной академіи—товарищи по курсу и неразлучные друзья. Одинъ изъ нихъ, Платонычъ—прозвище, которое быстро утверждалось за нимъ всюду, гдѣ бы онъ ни появлялся,—былъ какою-то стихійной, безудержной натурой. Ему было тѣсно въ тѣхъ жизненныхъ рамкахъ, куда ставила его судьба, и вся жизнь его была полна смятенія и страсти. Не могъ онъ долго сидѣть на одномъ мѣстѣ; спокойная жизнь ему претила; онъ бѣжалъ отъ полумонастырской, полуказарменной обстановки академиче-

сваго житья и съ безумной щедростью расточалъ свои громадные физическія силы въ отчаянномъ пьянствѣ или въ самыхъ снзвочныхъ ночныхъ похожденияхъ...

Обычно Платонъ являлся въ свою „alma mater“ главнымъ образомъ, какъ онъ самъ признавался, „стѣна ради“ и для ночлега, да и то зачастую ночевалъ гдѣ-то, — а гдѣ, пожалуй, онъ и самъ не всегда смогъ описать, до того необычна и причудлива была е жизнь.

Академическая инспекція пробовала было бороться съ такимъ страннымъ поведеніемъ Платонъ путевъ всяческихъ отеческихъ убѣжденій, внушеній и угрозъ. Но послѣ напрасныхъ усилій, убѣдившись сама полной невозможности передѣлать матающагося члена, махнула на него рукою и ограничилась поженіемъ отѣтки за поведеніе. Это поставило Платонъ въ очень выгодное положеніе: ему, не въ примѣ прочимъ, стало сходить многое, за что на другі обрушивались неудовольствіе и гнѣвъ начальства.

Постоянно ищущій новыхъ знакомствъ, новыхъ людей и встрѣчъ, Платонъ какъ-то не могъ, не умѣлъ да и не хотѣлъ, — удерживаться отъ вмѣшательства въ жизнь, которая бѣжала мимо другихъ людей, изрѣ задѣвая ихъ вниманіе, но не побуждая ихъ къ дѣйствію.

Товарищи скоро узнали и тоже привыкли къ то что идти вмѣстѣ съ Платонъ даже до ближайшей академической пивной значило непремѣнно очутиться въ какомъ-нибудь непредвидѣнномъ положеніи — или гостяхъ у радушныхъ людей съ обильнымъ угощеніемъ или участникомъ въ уличномъ происшествіи, котораго почему-то удивительно часто встрѣчались на пути Платонъ.

И если его спутники упирались, не хотѣли вмѣшательства, боясь непріятныхъ осложнений, то Платонъ съ добродушной улыбкой большого, сильнаго, увереннаго въ своей силѣ человека говорилъ:

— Это въ васъ человѣческая подлость просыпается. Пойдемте! Со мной не пропадете, а глядишь, можетъ быть, тамъ Платонычъ и пригодится.

И онъ шелъ, увлекая за собою колеблющихся; шелъ, нисколько не заботясь, куда заведетъ его новое встрѣтившееся ему на пути происшествіе.

У Платоныча въ натурѣ какъ будто не было той перегородки, которая стоитъ передъ всѣми людьми, мѣшая имъ сблизиться съ перваго раза. Онъ быстро свыкался съ людьми самыхъ различныхъ жизненныхъ обстановокъ.

— Апостольская у меня натура, — говорилъ онъ не то съ жалобой, не то просто признаваясь въ ясномъ для него свойствѣ его характера, — только нечего мнѣ проповѣдывать, а въ академическаго Бога я, ей-Богу, пробовалъ, но никакъ не могу повѣрить.

Глубоко равнодушный къ тому, что скажутъ и какъ на него посмотрятъ люди, Платонычъ шелъ всюду навстрѣчу, гдѣ была нужна его помощь. Его можно было застать, напримѣръ, за выгрузкой ломовыхъ телѣгъ на крутыхъ приднѣпровскихъ спускахъ, гдѣ онъ возбуждалъ искреннее удовольствіе возчиковъ и своей силою, и своею — какой-то не обидною ни для кого — готовностью помочь въ его помощи чувствовалась не простая прихоть досужаго человѣка, а что-то шедшее изнутри, чему самъ Платонычъ не въ силахъ былъ сопротивляться.

Эти свойства Платоныча сдѣлали изъ него личность извѣстную для всего населенія прилежащихъ къ духовной академіи кварталовъ; а окрестные ребятишки, которымъ онъ помогалъ всегда съ особой любовью и охотою, разнесли славу „нашего Платоныча“ далеко за предѣлы Подола.

Часто непрощенныя вмѣшательства Платоныча въ чужую жизнь кончались впустую, какъ онъ самъ признавался съ искреннимъ недоумѣніемъ и грустью:

послѣ его заступничества еще сильнѣе болѣли спины, выреченныя имъ изъ бѣды на одинъ разъ.

Случалось и такъ, что самому Платонычу приходилось плохо.

Однажды полиція, относившаяся, положимъ, вполне благодушно къ Платонычу, какъ и онъ къ ней, не выдержала и рѣшила возбудить противъ него дѣло о сопротивленіи властямъ. Дѣло было явно-неправое и плохо подстроенное, но академическое начальство, боясь непріятной огласки, поспѣшило замать его. А инспекторъ академіи, полнолицый монахъ, съ трудомъ скрывая за мягкимъ, стелющимся голосомъ и кроткою монашескою улыбкою начальническое раздраженіе, сказалъ Платонычу:

— Я вполне извиняю васъ... Я знаю... вами двигала христіанская любовь и милосердіе. Но послушайте меня,—я это говорю вамъ, какъ вашъ старшій братъ,—оставьте, наконецъ, эти свои похожденія: ваша христіанская сантиментальность васъ до добра не доведетъ...

Но Платонычъ не унимался и послѣ монашеской угрозы. Онъ продолжалъ даже, казалось, съ бѣльшею порывистостью и безпокойствомъ свое упорное и страстное искательство.

Порою, уставая отъ своихъ поисковъ, онъ запивалъ и тогда уже жилъ совсѣмъ въ какомъ-то чаду, въ мірѣ своихъ увлеченій и фантазій. Чаше всего періоды запоя бывали съ нимъ послѣ неудачныхъ попытокъ возвратити на потерянную дорогу какую-нибудь „удивительнѣйшую дѣвушку“, которыя вообще въ его жизни играли, какъ онъ самъ признавался, мистическую роль. Тогда Платонычъ долго, безсвязно и тяжело жаловался на свою проклятую натуру, на жизнь, которая портитъ и уничтожаетъ лучшихъ своихъ дѣтей... И былъ только одинъ человѣкъ во всей академіи, который съ захватывающимъ интересомъ слушалъ длин-

ную повѣсть его приключеній и такъ же, какъ онъ, искренно страдалъ отъ неразрѣшимости жизненныхъ загадокъ.

Это и былъ второй академикъ, сидѣвшій въ эту ночь рядомъ съ дѣвушкой, Николай Алексѣевичъ Розовъ; чаще его называли просто—„Юношею“.

Прозвище это далъ ему самъ Платонычъ въ первый же день обоюднаго знакомства. На громадной попойкѣ, устроенной послѣ сдачи вступительныхъ экзаменовъ въ академію, оба они выдѣлились, оказавшись на двухъ противоположныхъ полюсахъ: одинъ пилъ больше всѣхъ, и дольше всѣхъ сохранилъ то, что на особомъ языкѣ академическаго ресторана называлось *status quo*, другой не пилъ совсѣмъ, и—что страннѣе всего—сумѣлъ до конца не нарушить единства компаніи, ни словомъ, ни жестомъ не выказавъ обиднаго для пьющихъ людей брезгливаго неудовольствія или учтиваго превосходства трезваго человѣка надъ пьяными. У него такъ же естественно и просто выходило то, что онъ ничего не пилъ, какъ у Платоныча страстная, вдохновенная выпивка. И какъ-то сразу всѣ въ нихъ почувствовали внушающую къ себѣ уваженіе силу, нѣчто общее, хотя и проявленное наружу такимъ различнымъ образомъ. А когда, въ концѣ торжества, Платонычъ, неожиданно поднявшись изъ-за стола, медленно сталъ осматривать своими благодушно-улыбавшимися изъ-подъ выцвѣтшихъ бровей глазками пьяную, растерзанную, залитую виномъ комнату, гдѣ на полу, рядомъ съ „восприемниками“—старыми студентами, лежали безгласныя тѣла только-что возведенныхъ въ академическое достоинство, и вдругъ, сильно пошатнувшись, торжественно, немного театралью, сказалъ:—„Юноша! Ты долженъ меня поддержать,“—то всѣ, кто еще уцѣлѣлъ за столомъ, а прежде всѣхъ самъ Розовъ, поняли, что этотъ призывъ относится именно къ нему.

Съ той поры началась все возрастающая дружба

этихъ людей. Платонычъ иначе и не обращался къ своему другу, какъ „Юноша“. И эта кличка привилась къ Розову: такъ она казалась удачной, вполне примѣнной къ его нравственному и физическому облику.

Положимъ, тѣ, кто зналъ Розова еще въ семинаріи, распускали сначала упорные, назойливые слухи, что Юноша—далеко не то, чѣмъ онъ кажется; что очень недавно, въ семинаріи, жизнь его текла слишкомъ бурно, разгульно и неводержно... Соглашались, что съ нимъ случился какой-то переворотъ, но въ объясненіе высказывали догадку, что самолюбивый по характеру Розовъ рѣшилъ сдѣлать себѣ карьеру монашествомъ. Изъ его прошлаго рассказывали даже немало позорныхъ исторій, но эти надоѣдныя рассказы о прошломъ Юноши такъ мало соотвѣтствовали тому, что всѣ видѣли въ немъ сейчасъ, что какъ-то не вѣрилось имъ, и мало-по-малу они исчезли. Догадка о монашеской карьерѣ тоже потеряла свой смыслъ послѣ того, какъ Юноша на первыхъ же порахъ проявилъ свое полное безразличіе не только къ академическому начальству, но и къ профессорамъ, явно раздраживъ нѣкоторыхъ изъ нихъ своими особыми взглядами и тѣмъ, что во всѣхъ своихъ занятіяхъ онъ преслѣдовалъ свою особую цѣль, неясную, но явно-далекую тому, о чемъ учила и что защищала академическая наука.

Юноша только первый мѣсяцъ ходилъ на академическія лекціи, не пропуская ни одной. Затѣмъ, очевидно, убѣдившись въ полной бесполезности для себя этого занятія, онъ рѣзко и рѣшительно, несмотря на замѣчанія и внушенія со стороны инспекціи, прекратилъ свои посѣщенія.

Взамѣнъ лекцій онъ обложился грудой книгъ и съ рѣдкою настойчивостью и упорствомъ сталъ заниматься. Съ лихорадочной поспѣшностью переходилъ онъ отъ одной книги къ другой, бросаясь изъ одной отрасли знаній въ другую, часто совершенно противо-

положную. Кажется, не было области, въ которую не попытался бы заглянуть Юноша.

На второмъ курсѣ Юноша вдругъ, заручившись содѣйствіемъ знакомыхъ студентовъ и переодѣвшись въ студенческую тужурку, принялся ходить въ университетъ. И тамъ онъ безсистемно, съ тою же странной поспѣшностью, точно онъ боялся пропустить то, что ему было необходимо, какъ сама жизнь, перебѣгалъ съ одной лекціи на другую, проникая даже на практическія занятія медицинскаго и естественнаго факультетовъ.

Около его стола въ камерѣ для занятій постоянно лежали цѣлыя кипы книгъ на древнихъ и новыхъ языкахъ, которые Юноша изучалъ какъ-то попутно, сразу принимаясь за чтеніе интересующихъ его книгъ. И странно было видѣть рядомъ съ житіями святыхъ книги по ботаникѣ и зоологіи, рядомъ съ заплѣсневѣлыми, пожелтѣвшими фоліантами святс-отеческой христіанской письменности — новыя чистыя обложки періодическихъ журналовъ, которые Юноша всегда умѣлъ доставать.

Извѣстно было, что Юноша хорошо зарабатываетъ своими переводами. У него часто брали деньги, и, если онъ у него были, онъ всегда давалъ, не считая и не требуя возврата. Самъ же онъ тратилъ деньги, какъ казалось, только на покупку и выписку новыхъ книгъ.

Этотъ ненасытный и неудовлетворимый духъ искаательства былъ, повидимому, той общей линіей, по которой соприкасались характеры Юноши и Платоныча, и которая заставляла ихъ вести долгіе, преимущественно ночные разговоры, когда одинъ изъ нихъ возвращался въ спящую уже всѣми своими окнами академію послѣ своихъ скитаній, а другой только-что кончалъ свое полуночное сидѣніе за книгами или за своими переводами.

Долго, обнявшись, ходили они по длиннымъ и тем-

нымъ коридорамъ, тускло освѣщеннымъ газовыми рожками, оба далѣкіе, оба чужіе окружавшему ихъ глубокому сну.

Да и въ физическомъ обликѣ обоихъ друзей, не смотря на явно бросавшееся въ глаза различіе внѣшности, было—несомнѣнно было,—общее, неуловимое, но запечатлѣвшееся и въ томъ, и въ другомъ.

Платонычъ былъ человѣкъ здороваго, можно сказать—богатырскаго тѣлосложенія. Онъ выросъ, обвѣянный просторомъ и ширью сѣверной великорусской природы. Семинарская жизнь, какъ-то странно, не смогла наложить на него своего неизгладимаго отпечатка, и весь онъ былъ могучимъ осколкомъ старинной, не уходящейся еще, не успѣвшей отлиться въ спокойныя формы стихійной жизни.

— Много во мнѣ, Юноша, звѣря сидитъ,—признавался онъ въ своихъ задушевныхъ бесѣдахъ.

Юноша—почти одинаковаго роста съ Платонычемъ, но тонкій, слабогрудый, съ небольшой русой бородкой и длинными кудрявыми волосами, во всемъ своемъ видѣ,—въ прямомъ вопросительномъ взглядѣ усталыхъ, прикрытыхъ очками глазъ, въ мягкихъ, обдуманныхъ движеніяхъ, въ тихомъ грудномъ голосѣ—хранилъ слѣды укрощенной и побѣжденной или надорвавшейся силы.

Юноша не помнилъ родительской ласки. Онъ чуть ли не всю свою жизнь прожилъ въ стѣнахъ учебныхъ заведеній и, можетъ-быть, по наслѣдству отъ умершихъ рано отца и матери, можетъ-быть, отъ душевныхъ, безрадостныхъ казенныхъ интернатовъ—получилъ безостановочно-разрушавшую его организмъ чахотку.

И какъ избытокъ здоровья не въ силахъ былъ изгнать изъ массивной фигуры Платоныча его душевнаго безпокойства, постоянно прорывавшагося наружу,—мало того, какъ будто даже давалъ этому безпокойству удовлетворительное объясненіе, какъ слѣдствію неосознанной и не нашедшей себѣ примѣненія громадной

физической силы,—такъ привыкшій къ долгой и упорной борьбѣ съ болѣзнью организмъ Юноши далеко схоронилъ въ себѣ всѣ признаки напряженія и страсти, оставивъ на лицѣ ясное, спокойное настроеніе. Это кроткое спокойствіе рождало къ Юношѣ чувство неизъяснимой симпатіи, переходившей въ горячую привязанность у тѣхъ изъ знавшихъ Юношу, кто хотя разъ испыталъ на себѣ всю силу затаившейся въ немъ молодой ласки и нѣжности.

За послѣднее время, должно быть, болѣзнь стала сказываться у Юноши все сильнѣе и сильнѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ,—Платонъчъ ясно замѣтилъ это,—въ Юношѣ съ небывалою силою, хотя только на короткія мгновенья, вспыхивала не утоленная жажда жизни; вспыхивала—и еще быстрѣе, неожиданнѣе погасала, словно лишенная внутренней силы и огня. Еще страннѣе казалось Платонъчу, что онъ самъ впервые подъ страшно знакомой внѣшней физической и умственной оболочкой своего друга сталъ видѣть что-то новое, почему-то ускользавшее раньше отъ его вниманія, а теперь вдругъ вставшее передъ сознаніемъ Платонъча неразрѣшимой и настоящей загадкой, какъ и все вокругъ.

Платонъчъ теперь относился къ Юношѣ съ большею, чѣмъ когда-либо, трогательною нѣжностью. Онъ даже изрѣдка называлъ Юношу его ласкательнымъ именемъ, причемъ краткое слово „Коля“ звучало у Платонъча непривычно и цѣломудренно-ласково. И тревожное, торопящееся безпокойство, съ какимъ Платонъчъ вмѣшивался въ жизнь, замѣтною струею влилось въ это нѣжное, заботливое и любящее отношеніе къ Юношѣ, точно раздвоились уже ихъ жизненные дороги, и точно немного издали уже смотрѣлъ Платонъчъ на готоваго остановиться и отстающаго друга.

Въ этотъ годъ, когда только-что повѣяло весеннимъ тепломъ, они оба, одинаково равнодушные къ приближавшейся экзаменаціонной горячкѣ, стали вмѣстѣ исче-

затѣ изъ стѣнъ Братскаго монастыря, гдѣ стояла опостылѣвшая имъ обоимъ академія.

А товарищамъ, любившимъ Юношу и знавшимъ объ его неизлѣчимой болѣзни, тоскливо было видѣть груды забытыхъ, оставленныхъ книгъ, которыя, какъ осколки разбитой надгробной плиты, въ безпорядкѣ валялись около опустѣвшаго стола Юноши.

Платонычъ не могъ жить, не качаясь, какъ маятникъ, между какими-нибудь жизненными противоположностями. Всею душою ненавидя обыденщину, онъ всегда искалъ причудливой обстановки. И само собою случалось такъ, что друзья проводили свое время то въ Старой Лаврѣ и въ близлежащихъ монастыряхъ — Выдыбецкомъ, что стоялъ на берегу противъ мѣста, гдѣ, по преданію, старый Перунъ затонулъ, — и въ Новомъ монастырѣ у прославившагося своею праведною жизнію старца Іоны, — гдѣ всюду у Платоныча было избранное знакомство среди монаховъ, такихъ же, какъ онъ, мятущихся и томящихся великимъ томленіемъ духа; то въ домахъ разврата, среди женщинъ и дѣвушекъ, брошенныхъ безжалостной рукою жизни въ цѣпкія сѣти рабства и порока. И здѣсь, въ этихъ домахъ, тоже обнесенныхъ, какъ высокими стѣнами, людскимъ презрѣніемъ, въ странно-убранныхъ комнатахъ, откуда и жизнь, и люди казались совсѣмъ-совсѣмъ иными, чѣмъ изъ чистыхъ и уютныхъ монашескихъ келій, — Платонычъ также имѣлъ избранное знакомство и былъ желаннымъ гостемъ.

Появленіе Платоныча въ сопровожденіи Юноши вызвало на первыхъ порахъ искреннюю буйную радость, и скоро между Юношею и его новыми знакомыми устанавливалась глубокая привязанность, хотя онъ и не искалъ ея.

Юноша, какъ всегда, рѣдко и очень мало говорилъ. Онъ никогда не разспрашивалъ дѣвушекъ ни объ ихъ прошлой, ни объ ихъ настоящей жизни. Онъ ничѣмъ

не проявлялъ какого-либо особаго интереса или жалостливаго участія къ ихъ судьбѣ, какъ будто не было въ немъ ни страстнаго возмущенія, ни любящаго негодованія.

Въ противоположность Платону, Юноша не стремился ничего поправить, ничего измѣнить. Чужой и далекій, онъ безъ малѣйшаго смущенія и возбужденія видѣлъ неприличныя, безстыдныя движенія и слышалъ тяжелыя, порочныя слова: казалось, глубоко и навсегда въ душѣ его была схоронена неискоренимая, раньше смерти родившаяся страсть къ женщинѣ.

И одинаково нѣжно, одинаково дружелюбно относился Юноша ко всѣмъ, какъ будто жилъ онъ очень высоко и далеко отъ людей, и не видно уже было ему всей громадной разницы между болѣе добрыми и болѣе злыми; между болѣе чистыми и болѣе порочными, какъ будто всѣ люди были одинаковы.

— Зачѣмъ вы пришли къ намъ, вы—такой монахъ, такой строгій?—спросила какъ-то Юношу одна изъ дѣвушекъ, когда обидныя насмѣшливыя слова раздались на его счетъ. Она любила молчаливаго, необычнаго посѣтителя, и ей хотѣлось защитить его отъ грубой насмѣшки.

— Я пришелъ къ вамъ прощаться съ жизнію,—отвѣтилъ Юноша, какъ всегда съ тихой улыбкой и, должно быть, въ шутку.—Развѣ вы не знаете: скоро завянетъ человѣческая жизнь отъ избытка сознанія? Развѣ вы не знаете, что однѣ уже вы остались, невинныя жрицы и жертвы, на алтарѣ человѣческой жизни, которая умираетъ и скоро умретъ отъ избытка сознанія?

Непонятенъ былъ отвѣтъ. „Словно аракулъ какой сказалъ“,—смѣялись дѣвицы. Но въ пѣвучихъ словахъ отвѣта была одна правда—ясная и доступная спрашивающимъ,—о самомъ Юношѣ, который пришелъ прощаться съ жизнію.

Какъ закатные солнечные лучи, съ трудомъ про-

низывающіе душную, тяжелую толщу земныхъ испареній, усталымъ, холодѣющимъ взглядомъ смотрѣлъ Юноша на то, что медленно плыло мимо его сознанія, не задѣвая въ немъ воли, не шевеля его чувства.

Но вотъ однажды, не такъ давно, съ Юношею произошла сцена, которая поразила Платоныча; ему показалось, что онъ какъ будто поджидалъ ея, и въ то же время она, точно клиномъ, врѣзалась въ его сознаніе и выбила оттуда забытые было рассказы о прошломъ Юноши.

Какъ-то въ одномъ изъ кабачковъ, куда самъ Платонычъ затащилъ Юношу, чтобы показать ему „ей-Богу, чудеснѣйшую личность“,—Юноша вдругъ и неожиданно не только для Платоныча, но, повидимому, и для самого себя вышелъ изъ своего созерцательнаго состоянія.

Вся нѣжность, весь избытокъ юной, неиспользованной ласки, которая все время чувствовалась въ Юношѣ, точно весенній потокъ, прорвались съ неудержимою силою наружу.

Платонычъ съ удивленіемъ вспоминалъ впослѣдствіи, что самъ онъ, Платонычъ, незамѣтно для себя, уступилъ на этотъ разъ свою постоянную руководящую роль въ прогулкахъ Юношѣ и самъ совершенно не помнилъ, какъ всѣ они втроемъ очутились почти совсѣмъ на другомъ концѣ города, на Днѣпрѣ, въ лодкѣ.

А дальше, совсѣмъ уже какъ во снѣ, отрывисто, безсвязно, съ поразительною яркостью въ ненужныхъ мелочахъ, помнилъ Платонычъ эту ночную прогулку въ лодкѣ.

Плывутъ мимо мягкія красивыя очертанія высокаго городского берега. Влюбленными глазами смотреть Платонычъ на дорогой, болѣе близкій, чѣмъ родина, городъ своихъ скитаній, угадывая за чудно-измѣнившейся, точно вывернутой наизнанку, ночною картиною берега знакомыя городскія строенія и сады... А рядомъ въ его безпокойномъ сознаніи бѣжитъ безсвязною

вереницею цѣлая стая воспоминаній... Тянетъ свѣжимъ запахомъ полей и лѣсовъ съ луговой стороны Днѣпра... Весело звучить рѣзвая полая вода, подмывая рыхлые берега; должно быть, идетъ на убыль... Дрожать надъ водою огни затопленныхъ приднѣпровскихъ слободокъ, и стоитъ совсѣмъ низко надъ оживающей весенней землею изогнутый на ущербѣ мѣсяцъ...

Быстро несется утлая лодчонка, плавно покачиваясь подъ размапистыми, привычными къ греблѣ, сильными движеніями Платоныча... Крѣпче и сильнѣе прижимается къ Юношѣ молодая, веселая дѣвушка.

Пѣсенъ просить у Юноши дѣвушка... Начинаетъ пѣть Юноша. Странно—зачѣмъ это?—поетъ весною объ осенней ночи... почему это?—поетъ такъ тоскливо, что Платонычу и всѣмъ имъ троимъ въ лодкѣ становится одиноко и холодно, и хочется плакать.

Ночка темная. Ночь осенняя...

Ни одной-то нѣтъ въ небѣ звѣздки...

—поетъ Юноша, и кажется Платонычу, что съ каждымъ звукомъ его голоса, съ каждымъ словомъ его пѣсни оживаетъ все, что подслушано было у природы и схоронено въ словахъ и напѣвѣ старинной пѣсни: растеть далеко, на много верстъ кругомъ, дремучій сѣверный лѣсъ; шумитъ непогодливая, безпріютная осень; стучать по иззябшимъ мокрымъ листьямъ частыя капли дождя... И плачетъ въ долгую, темную, беззвѣздную, одѣтую, какъ саваномъ, тучами ночь, одинокій, покинутый человѣкъ:

...Лишь одинъ-то есть миль-сердечный другъ,

Да и тотъ со мной не въ ладу живетъ...

Быстро, порывисто обнимаетъ Юношу дѣвушка. Страстно и долго цѣлуетъ его, куда ни попало,—въ лицо, въ губы, въ волосы,—безъ счету, безъ мѣры...

А онъ, въ забытіи, безсильный, неспособный вырваться изъ крѣпкихъ дѣвическихъ объятій, говоритъ чудныя, ласковыя слова:

— Не троньте меня. Не надо. Я боюсь любви, боюсь жизни. Я скоро уйду изъ жизни, уйду навсегда.

А она повторяетъ за нимъ такимъ же умоляющимъ голосомъ:

— Ты—мой. Я никому не отдамъ тебя. Ты такой же, какъ я—обреченный. И я никому не отдамъ тебя ни за что. Ты—мой.

И цѣлуетъ его безъ конца...

И точно проснулся Платонычъ на мгновеніе, затѣмъ, чтобы освободить задыхавшагося Юношу, и словно преступленіе какое сдѣлалъ—все кругомъ вдругъ притихло и замерло: не было мѣсяца, перестала шумѣть полая вода, остановились прибрежныя горы, потухли далекіе огни въ слободкѣ... Только слышно было, какъ тихо-тихо плакала одинокая—одна во всемъ мірѣ—женщина въ лодкѣ, да рядомъ съ нею, наклонившись и прикинувшись къ ея распустившимся волосамъ, сидѣлъ Юноша, недвижимый и въ забытіи...

Платонычъ совсѣмъ больнымъ привелъ своего друга въ академію. На утро онъ, раскаиваясь въ происшедшемъ, твердо рѣшилъ прекратить на время совмѣстныя путешествія. Онъ даже—положимъ, самъ совершенно не вѣря своимъ словамъ—началъ говорить Юношѣ о необходимости беречься, лѣчиться. Но, когда Юноша съ изумленіемъ поглядѣлъ на него изъ-подъ очковъ своими ясными спрашивающими глазами и, тихо улыбаясь, сказалъ:—развѣ-жъ ты не видѣлъ, что я самъ оттолкнулъ отъ себя жизнь? развѣ не вмѣстѣ съ тобою оскорбили мы вчера жаждавшаго жизни человѣка?—Платонычъ смолкъ, и—снова началась ихъ прежняя жизнь.

И въ эту ночь въ Старой Лаврѣ тоже съ дѣвушкой сидѣли они оба. На этотъ разъ дѣвушка была, по всему видно, не здѣшняя, только-что прибывшая сюда откуда-то издалека. Настроеніе опасной дороги наложило свою яркую печать на ея смѣлое, рѣшительное лицо, на ея увѣренныя, легкія движенія, даже на ея одежду, за

грубыми и рѣзкими линіями которой чувствовалось что-то скрытое, не нашедшее себѣ выраженія и раздражающее любопытство.

Пріятели встрѣтили ее совершенно случайно въ Царскомъ саду, въ тотъ самый моментъ, когда Платонычъ уже изложилъ Юношѣ планъ путешествія на сегодняшній вечеръ.

Она шла впереди ровнымъ, неторопливымъ шагомъ, поднимаясь по широкой, прилегавшей къ улицѣ, аллеѣ сада, и осматриваясь кругомъ съ жаднымъ любопытствомъ новаго человѣка.

Платонычъ очень скоро ее замѣтилъ и сталъ наблюдать. Когда они поровнялись съ нею, дѣвушка, какъ будто она поджидала ихъ, обернулась и, пристально поглядѣвъ, звучнымъ голосомъ, но, какъ имъ обоимъ показалось, съ затаенной усмѣшкой, спросила:

— Скажите, пожалуйста, далеко отсюда до Лавры?.. Мнѣ кажется, вы должны хорошо знать туда дорогу.

Платонычъ длинно и пространно началъ объяснять незнакомкѣ дорогу; Юноша, не останавливаясь, прошелъ дальше. Черезъ нѣсколько мгновеній его догналъ Платонычъ, уже весь трепетавшій и заполненный новою встрѣчей.

— Симпатичѣйшая личность, братъ! Должно быть, курсиха, что ли. Прямо въ точку бьетъ. Прозорливица, да и только! Вы что же, говорить, какимъ богамъ пошли молиться? Вѣдь ваша-то академія, сказывали мнѣ, внизу стоитъ... Ей-Богу, рѣдкостная дѣвица...—И вдругъ неожиданно закончилъ:—пойдемъ, братъ, и мы наипрямѣйшимъ путемъ въ Лавру. Ну ихъ ко всѣмъ чертямъ!... Пора Платонычу и свои старые грѣхи замаливать.

А незнакомка усѣлась между тѣмъ на одну изъ скамеекъ сада. По предложенію Платоныча, сѣли и друзья, но уже не сидѣлось Платонычу.

Скоро они шли мимо дѣвушки, и Платонычъ тономъ

давнишняго знакомаго, добродушно улыбаясь и густо ударяя на каждомъ словѣ, говорилъ:

— Что же вы, уважаемая, въ нашу Лавру-то, никакъ, раздумали? Сегодня тамъ народищу тьма будетъ...

— Да, раздумала,—просто отвѣтила та.— Поздно ужъ. Да и нечего мнѣ тамъ дѣлать. Чего я тамъ не видала? Юродивыхъ, что ли? такъ ихъ вездѣ много, хоть отбавляй...—Послѣднія слова дѣвушка произнесла грубымъ, рѣзкимъ, какъ будто не своимъ голосомъ.

— А что, васъ это сушить?—добавила она послѣ короткой минуты неловкаго молчанія и вдругъ, уловивъ что-то очень для себя смѣшное въ лицѣ Платоныча, разсмѣялась звонкимъ, веселымъ, почти дѣтскимъ смѣхомъ.

Платонычъ въ свою очередь разсмѣялся и, весь сіяя отъ радостнаго возбужденія, скорѣе крикнулъ, чѣмъ сказалъ:

— Да вы, ей-Богу, милѣйшій человекъ: я такъ и зналъ. Мы съ вами очень славно проведемъ время. И нисколько не поздно. Пойдемте! Съ Платонычемъ никогда и нигдѣ не пропадете.

И Платонычъ, болѣе всего самъ увлекаясь, сталъ рисовать заманчивыя картины посѣщенія Лавры и ея окрестностей съ такимъ, какъ онъ, бывалымъ и знающимъ человекомъ.

Дѣвушка сначала слухала быструю, расплывавшуюся въ постоянныхъ отклоненіяхъ въ сторону, рѣчь Платоныча, затѣмъ вдругъ снова звонко и весело разсмѣялась:

— Да вы меня, должно быть, за старушку-богомолку приняли, что хотите заразы всѣми своими монастырями угостить? Съ меня будетъ и одной Лавры, да и то не больно усердствуйте, а то сбѣгу: я къ святости не привыкла, да и времени у меня нѣтъ свободнаго по святымъ мѣстамъ ходить.

Съ этими словами, все еще заливаясь веселымъ

смѣхомъ, дѣвушка встала со скамейки и присоединилась къ пріятелямъ.

— Васъ какъ зовутъ, святоша?—обратилась она къ Юношѣ, когда они всѣ втроемъ двинулись въ путь.

Платонычъ сдержалъ свое слово: всю дорогу до Лавры онъ оживлялъ каждый уголокъ города своими неистощимыми разсказами изъ давно прошедшей, зачастую легендарной исторіи города, которые у него перемѣшивались съ только-что происшедшими событіями изъ жизни теперешнихъ людей, нерѣдко изъ своихъ собственныхъ скитаній и встрѣчъ.

Платонычъ поразительно хорошо зналъ городъ и любилъ его глубокою, ревнивою любовью. Онъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ все показать своей новой знакомой, хотѣлъ внушить ей свою любовь, надъ которой она посмѣивалась.

Изъ-за того, стоитъ ли заходить въ Никольскій монастырь, у нихъ съ дѣвушкой возникъ крупный споръ. Но Платонычъ настоялъ на своемъ, да и Юноша заступился за него.

— Недалеко отсюда есть любимое мѣсто Платоныча. Нужно Платоныча уважить,—сказалъ онъ своимъ тихимъ, пѣвучимъ голосомъ дѣвушкѣ и чуть-чуть дотронулся кончиками своихъ тонкихъ пальцевъ до ея руки.

Любимое мѣсто Платоныча было за Никольскимъ монастыремъ, на обрывѣ, какъ разъ надъ самою Аскольдовою могилою. Славно здѣсь такъ было, хорошо. Море было кругомъ, безбрежное для человѣческихъ глазъ море исторіи; и отовсюду, куда ни падалъ взоръ, неслись его баюкающія неисчислимыя волны: отъ стараго города съ его церквами, нависшими надъ обрывами, отъ наддѣпровскихъ урочищъ, отъ далекаго Заддѣпровья.

Солнце склонялось къ западу. И, должно быть, его косые вечерніе лучи, которые падали какъ-то непривычно, совсѣмъ сзади, или обновленная весенняя обстановка, щедро, безъ остатка насыщавшая всѣ чув-

ства, сообщали издавна знакомой пріятелямъ картинѣ новый, неизвѣданный оттѣнокъ.

Вдали, подъ лучами солнца, блестѣлъ широко разлившійся Днѣпръ. Всюду за нимъ неизмѣримо-далеко разстиралось Заднѣпровье, и все время казалось, что чѣмъ ниже опускается солнце, тѣмъ шире и безпредѣльнѣе становится, точно раздвигается, безконечная равнина. А сзади отъ многочисленныхъ церквей города, то здѣсь, то тамъ, иной разъ вмѣстѣ, иной разъ съ перерывами, поднимался торжественный благовѣстъ, и похоже было на то, что не люди звонятъ, а сами между собой переговариваются уцѣлѣвшіе отъ старины вѣщіе каменные гиганты въ этотъ—всегда печальный, всегда тоскливый—часъ, когда хочетъ заходить солнце.

Можетъ-быть, случайную спутницу еще сильнѣе поразила эта совсѣмъ новая для нея картина и разбудила въ ней свои воспоминанія, свои чувства; можетъ быть, она заразилась настроеніемъ Платоныча, и въ чудной рамѣ залитаго вечернимъ свѣтомъ Заднѣпровья и стараго города ей почудились яркія картины былого, которыя, торопясь и разбрасываясь, рисовалъ сейчасъ Платонычъ необычнымъ для него сжатымъ и выразительнымъ языкомъ лѣтописей.

И трудно было-бъ догадаться въ эту минуту,—что изъ разсказовъ Платоныча было дѣвушка больше всего по душѣ, что ярче рисовалось въ ея воображеніи: пашествіе ли дикихъ кочевниковъ, которые, какъ волны океана, въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ съ шумомъ и ревомъ катились по безбрежной степи, бились и разбивались здѣсь о днѣпровскія высоты; или видѣла она Днѣпръ, весь покрытый ладьями, и слышала ликующіе крики бойцовъ, отважно отправлявшихся на далекій Царьградъ... и что родило бы въ ея душѣ сейчасъ болѣе близкій, болѣе родственныи отзвукъ: веселыя пѣсни буйныхъ языческихъ игрищъ на крутыхъ горахъ, или тихіе молитвенные гимны литургіи вѣрныхъ въ мрачныхъ над-

днѣпровскихъ урочищахъ, когда-то звучавшіе бокъ-обокъ и одинаково угасшіе теперь,—трудно было бы догадаться.

Только смягчилась какъ-то веселая и бойкая дѣвушка,—замерла, затихла и на мгновенье стала совсѣмъ-совсѣмъ другая, стала похожа на ребенка, который слушаетъ, затаивъ дыханье, страшную сказку.

Но вотъ дѣвушка опять вся встрепенулась. Снова раздался ея звонкій смѣхъ и веселый голосъ, только уже не казались ея насмѣшки такими обидными: ближе стала она своимъ спутникамъ, сблизились они въ эти тихія минуты.

— Странно это,—обратилась она къ Платонычу:—вы какой-то ископаемый, метафизикъ, во всякую нечисть вѣрите; жизнь, кажется, свою прожигаете самымъ безтолковымъ образомъ, но я, пожалуй, рада, что съ вами встрѣтилась. Отвыкла я отъ такихъ людей, которые въ сказки прошлаго вѣрятъ. И давно я такъ не смѣялась, какъ сегодня: съ вами легко... Дѣтскаго, что ли, въ васъ много. Такой вы большой да длинный, а у васъ все чудеса на каждомъ шагу, всюду разныя смѣшныя несуразности. Чуть не за каждымъ кустомъ бука сидитъ, и всѣ люди какъ-то на людей не похожи—какіе-то все оборотни.

Смѣялась дѣвушка, смѣялся Платонычъ, молча, какъ всегда, сидѣлъ Юноша. И тихо было внизу, гдѣ, утопая въ ярко-зеленой сказочной листвѣ, стояла Аскольдова могила, навѣвая грустное раздумье.

— А городъ свой вы совсѣмъ по-дѣтски любите, Платонычъ,—вдругъ своимъ новымъ раздумчивымъ голосомъ сказала дѣвушка.—Знаете, я когда-то свою мать такъ любила. Сказкою казалось мнѣ мое дѣтство, а мать моя—волшебницей, которая спасала и меня, и всѣхъ, кто былъ съ нами... Любила я ее въ ту пору, и чѣмъ дальше въ глубину дѣтства, тѣмъ нѣжнѣе... Потомъ я выросла, узнала, что многое было не такъ...

Иного и вовсе не было... Тяжело мнѣ стало, не выдержала... ушла я отъ своей матери.

Дѣвушка на мгновенье остановилась и внимательно поглядѣла на Платоныча.

— Откуда у васъ такая любовь? Для васъ это чужой городъ: вы сѣверянинъ,—какъ будто просто, невзначай были сказаны послѣднія слова, но страстная жажда прозвучала въ нихъ, страстная жажда глубже заглянуть въ большого человѣка съ нетронутой дѣтской любовью.

— Золотыя ваши слова, милѣйшая прозорливица: сѣверянинъ я, это вѣрно, настоящій сѣверянинъ,—быстро заговорилъ Платонычъ, и было видно, что онъ радъ вопросу, что онъ радъ случаю излить все, что накопилось страннаго и непонятнаго ему самому въ его жизни.

— Родился въ дремучемъ лѣсу, среди озеръ и медвѣдей, а только и то правда, что баюкали меня пѣснями и сказками объ этомъ дивномъ легендарнѣйшемъ городѣ. Да только все это какъ-то тонуло подъ сознаниемъ, не трогало меня, пока я не попалъ учиться въ семинарію, въ нашъ губернскій городъ, тоже сказочный, былинный городъ,—знаете, въ тотъ, откуда Васька Буслеевъ вышелъ, что ни въ сонѣ, ни въ чохѣ не вѣрилъ и въ самой Иордань-рѣкѣ выкупался голымъ тѣломъ, а не въ рубашечкѣ... Жутко у насъ тамъ: взглянешь на городъ—словно покойникъ лежитъ. Высокія церкви и башни, какъ погребальныя свѣчи, надъ нимъ горять, ей-Богу. Тамъ я, знаете, впервые и свою бездоннѣйшую тоску почувствовалъ, тоску по не удавшейся исторіи, тоску по заживо погребеннымъ историческимъ возможностямъ; тамъ я и пить, должно быть, отъ этой самой тоски началъ. Только не отъ кустовъ, за которыми спрятались буки, дорогая моя, не отъ кустовъ, а отъ поля, отъ ровнаго поля страхъ мой и тоска эта у меня началась. Есть у насъ тамъ поле—

кровью все залито, далекое и пустынное—подъ самымъ городомъ. На него городъ нашъ смотритъ и молчитъ, и оно тоже молчитъ и тоже смотритъ,—Платонычъ туда плакать уходилъ. Сижу, бывало, цѣлыми часами—молчить городъ, молчить поле—и заливаєтъ меня такая тощица, точно я всѣ невыплаканныя, всѣ затаенныя слезы прошлаго въ себя впитываю. Непонятной кажется человѣческая жизнь, и одна мысль, бывало, мечется у меня въ головѣ,—куда исчезла буйная вольница, и зачѣмъ такъ тихо, какъ въ могилѣ, зачѣмъ такъ страшно стало на бѣломъ свѣтѣ?.. Вы, можетъ-быть, не вѣрите, а я плакалъ безутѣшно, какъ малый ребенокъ, а потомъ шелъ, пилъ до потери сознанія и буйствовалъ. Такъ и говорили про меня: „вонъ, Платонычъ по Васькѣ Буслаевѣ заскучалъ: поминки справляетъ“...

— Вотъ, тогда-то, знаете, и вспомнился и всталъ предо мною спасительнымъ призывомъ далекій южный городъ, городъ, который навѣвалъ мнѣ первыя дѣтскія грѣзы. Въ сказочной дымкѣ всталъ онъ предо мною, краснымъ солнышкомъ, городъ богатырскаго веселья и удали, городъ подвижниковъ и мучениковъ новой вѣры. И я издали всею душою полюбилъ его, полюбилъ за то, что не похожъ онъ былъ на другіе города; за то, что, какъ казалось мнѣ, не было въ немъ корысти этой самой городской; за то, что пилъ и гулялъ онъ много, а потомъ вѣрою мучился, вѣры искалъ, изъ-за вѣры боролся... И рѣшилъ я, во что бы то ни стало, сюда попасть, ибо непреоборимѣйшая увѣренность родилась во мнѣ, что только здѣсь, и нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, тоску я свою навсегда схороню. Даже подлѣйшую вещь Платонычъ устроилъ, чтобы сюда попасть. Всѣмъ я въ ней каялся, и вамъ покаюсь, уважаемая... Терпѣть не могла меня семинарская инспекція, такъ я, чтобы поведеніе свое напоследокъ загладить, къ ректору явился и сказалъ ему и, замѣтите, самымъ искреннѣйшимъ образомъ сказалъ, что мнѣ моя раз-

гульная жизнь опротивѣла, что хочу я ѣхать въ академію, именно сюда, въ городъ древляго русскаго православія, и здѣсь въ монахи постричься. Вотъ!.. Сказалъ я такія слова, а „дѣдушка“,—какъ звали мы ректора,—страшно обрадовался, повѣрилъ мнѣ сразу. Славнѣющая душа была у старика, и любилъ онъ меня крѣпко. Если бы не онъ, не одинъ бы разъ меня изъ семинаріи выкинули. Не знаю за что, а меня старики да дѣвицы—всѣ любятъ, ей-Богу. И вы полюбите меня, уважаемая, ужъ я знаю, хоть и смѣтесъ сейчасъ надъ Платонычемъ... Обнялъ меня дѣдушка, поцѣловалъ три раза, самъ весь дрожитъ отъ радости, а лицо этакое вдохновеннѣйшее стало.—Зѣло великій подвигъ ждетъ тебя, рабъ Божій Александръ,—говоритъ, а самъ чуть не плачетъ.—Смятенная душа, радужная, какъ бурное море, душа у тебя, а сердце чистое, сердце горячее... Людей, говоритъ, ты любишь безъ разбору, любишь со всячинкой и жизни своей для нихъ не пожалѣешь. Такіе люди, какъ ты, на большое дѣло Господомъ Богомъ въ нашъ міръ посылаются. Только оставь, оставь дерзновеніе свое передъ діаволомъ, не устремляйся зря самовольно, не устремляйся безъ зова Господня и жди откровенія...—И многое онъ мнѣ въ такомъ же духѣ говорилъ. Славный старикъ, кротчайшая душа! Не иначе, какъ черезъ него, меня и въ академію сюда такъ легко приняли: написалъ „дѣдушка“ о моемъ чисто-сердечнѣйшемъ покаяніи... А, пожалуй, не совсѣмъ обманывалъ я тогда старика: была махонькая правда въ моихъ словахъ, изгибъ я чувствовалъ въ своей жизни, и хотѣлось мнѣ совсѣмъ по-новому зажить, да вотъ не вышло, ей-Богу, не вышло.

И Платонычъ улыбнулся своей недоумѣвающей дѣтской улыбкою.

Сзади слышались размѣренные, частые шаги и сдержанный людской говоръ. Дѣвушка, а за нею и Платонычъ оглянулись. По длинному выступу обрыва

шла гуськомъ цѣлая вереница богомольцевъ—мужчинъ и женщинъ,—съ котомками за плечами и большими дорожными палками въ рукахъ. Они остановились невдалекѣ отъ скамейки, выстроились въ рядъ и замерли. Выраженіе тихаго, умиленнаго восторга появилось на грубыхъ, загорѣлыхъ лицахъ усталыхъ странниковъ. Послышались тяжелые вздохи и одиночныя радостныя восклицанія.

Радостное чувство, охватившее усталыхъ, издалека пришедшихъ людей на его любимомъ мѣстѣ мгновенно передалось Платону и въ свою очередь усилило его настроеніе: еще вдохновеннѣе и свободнѣе полилась его рѣчь.

— Помню, даже пить, родная моя, пересталъ, право. А по прѣѣздѣ сюда цѣлые дни именинникомъ ходилъ и отъ большущей своей радости былъ не лучше пьянаго. Только какъ-то осеннимъ вечеромъ—еще экзамены не закончились—и забрелъ я, знаете ли, ненарокомъ,—вотъ, должно быть, такъ же, какъ и эти богомольцы,—на это самое мѣсто, гдѣ мы теперь съ вами сидимъ.

— Вечеръ былъ, помню, тусклый, непривѣтливый, съ лицомъ умирающаго ребенка. Какъ взглянулъ я отсюда на Заднѣпровье... да... точно ожгло меня всего, и все мое праздничное, именинное настроеніе въ одну секунду сгорѣло. Смотрю и глазамъ своимъ не вѣрю: тамъ, вдали, наше новгородское поле притаилось и на меня изъ-за Днѣпра смотреть,—пустынное и молчаливое, и городъ сзади тоже молчить... Не выпесъ я, дорогая, этого нѣмого взгляда; не выпесъ этого молчанія; куда сплища моя дьявольская дѣлась,—такъ и сѣлъ вотъ тутъ, на откосѣ, да и замеръ... Сижу, а около меня самое настоящее колдовство началось. Вамъ опять смѣшно, дерзновеннѣйшая. Вы, конечно, въ чародѣйство не вѣрите, и я тоже, а вотъ въ тотъ часъ повѣрилъ, не могъ не повѣрить, потому какъ на моихъ глазахъ это обыкновеннѣйшее, всѣмъ знакомое, Заднѣ-

провье стало расти, расти, и не въ даль, а куда-то назадъ, въ глубь исторіи, въ глубь временъ... безконечнѣйше расти, до самыхъ началъ земли, до колыбели человѣчества... Безбрежнымъ кладбищемъ разстилалось оно передо мною, пустынное, молчаливое, залитое кровью, а изъ темной бездны прошлаго ползла на меня несказаннѣйшая, безумная, неудержимѣйшая все-ленская тоска: откуда пришли люди, куда и зачѣмъ они идутъ?

— Запилъ я въ тотъ вечеръ, отчаяннѣйше запилъ, и ночью своимъ любимымъ дѣломъ занимался: фонари на улицахъ тушилъ. Смерть не люблю, когда люди ночи стыдятся... И снова, милѣйшій въ человѣкъ, сталъ я метаться безъ усталы, безъ передышки. Не знаю, никакъ не могу понять, чего Платонычу нужно: святости или разгула,—и никто мнѣ этого до сихъ поръ не можетъ толкомъ сказать. Не одинъ разъ хотѣлъ я уйти отсюда, какъ вы отъ своей матери, за правдой, искать ее по всему бѣлому свѣту, да „дѣдушкины“ слова въ сердце запали — жду откровенія, Божьяго зова жду, хотя въ Бога давнымъ-давно пересталъ вѣрить... Да.

Словно въ пропасть какую сорвался быстрый потокъ словъ Платоныча. Стало тихо.

Дѣвушка невольно посмотрѣла въ ту сторону, гдѣ, сливаясь съ яснымъ небомъ, синѣли далекіе края Задѣлпровыя, и куда сейчасъ по гладкому, ровному полю дружную вереницей бѣжали веселые солнечные лучи.

„Скоро зайдетъ солнце“, — подумала дѣвушка, и ей стало не по себѣ. Она порывисто оглянулась назадъ, гдѣ въ пролетѣ между постройками висѣлъ въ небѣ красный огненный шаръ. Отъ надвигавшейся тьмы хотѣла уйти дѣвушка, въ солнечныхъ лучахъ хотѣла спрятаться, защиты искала у солнца отъ темныхъ стихійныхъ настроеній, которыми заражалъ ее этотъ, случайно встрѣтившійся на перекресткѣ ея дороги, мятущійся человѣкъ.

— Да и не одинъ я, милѣйшая прозорливица, не одинъ Платонычъ здѣсь жертвенникъ невѣдомому Богу построилъ и проповѣдниковъ новой вѣры ждетъ: искони, дорогая, повелось, что русскіе люди отсюда, съ днѣпровскихъ высотъ, вѣру себѣ высматриваютъ — самую просторнѣйшую вѣру, чтобъ въ ней и душѣ, и тѣлу было вольготно. И несмѣтная сила въ этомъ городѣ искателей вѣры перебивала и по-сейчасъ ходитъ, всего чаще прикровенно, тайно отъ всѣхъ.

— Вотъ, хоть бы есть у насъ съ Юношею товарищъ одинъ, изъ гимназистовъ онъ, Алешю звать. Не влюбилъ я его сначала до ненависти, не влюбилъ за трезвенность: кассиромъ всѣмъ намъ служить, деньги къ нему отъ соблазна кладутъ, а онъ ихъ бережетъ и самъ никогда не развернется. Только одно мнѣ было странно въ немъ. Ужъ очень онъ много и упорно такъ по городу и его окрестностямъ гуляетъ; почувствовалъ, что неспроста все это. Сталъ приглядываться. Вижу, и въ самомъ дѣлѣ: тѣломъ-то онъ трезвъ, а душа у него хмѣльная, крѣпко хмѣльною мыслию напоилъ себя человѣкъ. Бродитъ въ немъ эта мысль, кидаетъ его изъ стороны въ сторону, тяжело ему, мучится, а хмѣля своего никому не обнаруживаетъ. Любо мнѣ это стало, и захотѣлось его допросить; подошелъ я къ нему прямо, безъ обиняковъ, и растрогалъ его. Симпатичнѣйшая личность оказалась! Даже выпили мы съ нимъ на радостяхъ, другъ друга нашедши.

— Напрасно, говорю, Алеша, вы куда въ христіанство обращаться пріѣхали. Ректоръ нашъ въ церковный этикетъ влюбленъ, а инспекція, не стыдась, говоритъ, что академическій Богъ въ нашемъ Братскомъ соборѣ живетъ, да и то только за той загородкой, гдѣ намъ, академикамъ, стоять приказано; тутъ, того и гляди, Юліаномъ Отступникомъ сдѣлаешься. — Вѣрно, — отвѣчаетъ. — Зналъ я, Платонычъ, объ этомъ раньше, предостерегали меня, только вѣдь я скорѣе къ городу прі-

— Платонычъ, голубчикъ! Избавьте отъ своего обвинительнаго слова противъ трезвости и акаеиста пьянству,—со смѣхомъ взмолилась дѣвушка.—Я и сама не рада, что васъ перебила. Рассказывайте лучше, чѣмъ началось ваше необычайное происшествіе съ протокольнымъ концомъ?.. Вѣроятно, какъ всегда у васъ,—выпивкой?

— Опять прозрѣли, уважаемѣйшая, выпивкою, но—воля ваша — смѣяться, ей-Богу, тутъ не надъ чѣмъ. Да, въ пивной познакомился я съ этимъ человѣкомъ, о которомъ хочу рассказать. Студентъ онъ былъ, естественникъ, и не понравился онъ тоже мнѣ съ перваго раза, хоть самъ Юноша его гдѣ-то выкопалъ, привѣтилъ и мнѣ, какъ большущаго ума человѣка, рекомендовалъ. Смотрю, чудной какой-то человѣкъ: надъ всѣмъ онъ все что-то подсмѣивается, старикомъ выглядить; погасшимъ вулканомъ самъ себя зоветъ и наукой своей передъ нами величается. — Мы,—говорить,—естественники, вашего вездѣсущаго Бога ни подъ микроскопомъ, ни въ телескопъ доглядѣть не могли. Вся,—говорить,—ваша религія и философія въ пьяномъ видѣ выдумана, наука трезвыхъ людей разрушить всѣ эти галлюцинаціи.

— Ладно. Только весною въ прошломъ году, около этого самаго времени, зашелъ я въ нашу академическую пивную съ лекціями по священному писанію, и давай родословную Христа на всю пивную громогласно изучать: „отъ Авраама до Давида—четырнадцать родовъ, и отъ Давида до переселенія въ Вавилонъ—четырнадцать родовъ“. Вдругъ слышу голосъ-то „потухшаго вулкана“: — Все это враки!—кричитъ, самъ весь такой острый, трясущійся. — Человѣческія поколѣнія нужно десятками тысячъ считать, сама земля цѣлые миллионы лѣтъ живетъ, а не ваше нѣщенское число лѣтъ. Намъ, говорить, геологамъ, все это доподлинно извѣстно. Геологи—это первѣющая наука, всѣмъ земнымъ наукамъ

наука. Вы,—говорить,—тутъ человѣческими родами, а мы—цѣлыми земными формаціями считаемъ, и все, что на землѣ было, по песчинкамъ да по косточкамъ возстановить можемъ...

— Помню, отчаяннѣйшее зло меня тогда взяло. И самъ я, признаться, дорогая, въ эти счисленія нисколько не вѣрю: всегда, знаете, гдѣ математика и числа начинаются, меня острѣйшее сомнѣніе беретъ, — а тутъ на „потухшій вулканъ“ дьявольски-досадно стало. Думалось мнѣ тогда, что очень дешево ему и его вѣра и невѣріе достается.—Знать,—говорю,—я твоей геологіи и всѣхъ твоихъ земныхъ періодовъ и формацій не хочу, а. вотъ по Христовой родословной я сейчасъ по всей настоященскія поминки справлю. Поминай,—дразню его,—если хочешь, и ты всю земную родословную, только не стойте, видно, вся твоя Земля одного такого Человѣка, коли даже мертвымъ не удержался онъ на ней, а на небо вознесся. Ты,—говорю,—теперь хотъ геологовъ своихъ со всей земли собери и съ ними всѣ свои формаціи обыщи, хотъ всю землю по пылинкѣ перетряси,—а слѣдовъ его нигдѣ не отыщешь...

— И стали мы съ нимъ о своихъ вѣраxъ водкою состязаться. „Авраамъ роди Исаака, Исаакъ роди Іакова“... что есть сила, возглашаю я и пью и за Авраама, и за Исаака, и за Іакова... А онъ тамъ свои мудренныя формаціи выкликаетъ и тоже водкою каждую поминаетъ. Любопытствующихъ собралось тогда около насъ несмѣтное количество: всѣмъ хотѣлось знать, кто побѣдитъ—Земля, родившая человѣка, или Человѣкъ, родившійся на Землѣ?... Единственнѣйшій разъ въ жизни, дорогая, я съ такимъ блаженнѣйшимъ увлеченіемъ пилъ. Ей-Богу!.. Геологъ мой дерзко состязался, но слабенекъ онъ былъ вообще до питья, да и меньше какъ-то у него вышло. Помню, когда я до переселенія въ Вавилонъ добрался, онъ уже всѣ свои вторичные и третичные періоды исчерпалъ и самъ демонстративнѣйшимъ образомъ на

землю недвижнымъ пластомъ легъ. Последніе четырнадцать родовъ я уже одинъ... добросовѣстнѣйше пилъ и каждый разъ, провозглашая поминаніе, пробовалъ разбудить „потухшій вулканъ“, но онъ былъ недвижимъ...

— Полюбилъ я его съ того дня, дорогая,—больше родного брата полюбилъ. Вижу, не однимъ смѣхомъ живъ человѣкъ, въ геологію свою всѣмъ нутромъ своимъ вѣритъ и при случаѣ жизни для нея не пощадить. Очень сильно тронуло это меня, да и всѣхъ насъ, прозвали мы его „Геологомъ“ и окончательно въ нашу избраннѣйшую, пьющую и поющую компанію включили.

— Спустя нѣсколько дней сидѣли мы такъ-то своею компаніей опять въ пивной, уважаемая, уже изрядно выпивши, и Геологъ съ нами, и снова разпорились о Богѣ. Только никто изъ насъ въ тотъ вечеръ не могъ—да и не хотѣлъ—противостать Геологу. Странное что-то съ человѣкомъ дѣлалось, и намъ всѣмъ отъ него передавалось. Не говорилъ, а пѣлъ онъ въ тотъ вечеръ, пѣлъ, какъ поетъ струна передъ тѣмъ, какъ ей оборваться. Задушевнѣйшимъ образомъ говорилъ, хотя многіе изъ насъ и до сихъ поръ недоумѣваютъ—смѣялся онъ тогда, или всему, что говорилъ, самъ вѣрилъ.

— Слѣдовало бы мнѣ вашему Богу сегодня похвальное надгробное слово сказать: вѣдь Богъ вашъ,—говорить, а самъ съ головы до пятокъ смѣется,—давнымъ давно умеръ. Это намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Только его, какъ слѣдуетъ, не отпѣли, панихиды всенародной, вселенской панихиды по немъ еще не было, такъ онъ теперь всѣмъ чуткимъ и совѣстливымъ людямъ по ночамъ является и честнаго погребенія за свою усердную многовѣковую службу человечеству требуетъ... Большой и очень беспокойный мертвецъ изъ вашего Бога живаго вышелъ: ноги въ землѣ, а голова въ небо упирается,—такого еще отродясь земля не держала, даже,—говорить,—отъ боли и страху дро-

жать, какъ встарь, стала. Это ужъ,—опять прибавляетъ,— намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Давно бы мертвое тѣло убрать пора, потому солнце заслоняетъ, холоднѣе на всей землѣ стало, да и дышать нечѣмъ, съ каждымъ годомъ невыносимѣе становится жить на землѣ, гдѣ большущее мертвое тѣло неубраннымъ лежить... И живо бы убрали мы его, мы, люди науки,— смѣлые и безстрашные могильщики—да хорошо знаемъ, что при общей человѣческой безтолковости и пародномъ суевѣріи безъ надгробныхъ молитвъ и всепароднаго отпѣванія нельзя: никакого толку не будетъ! Очень ужъ хорошо вы, богословы, слабыя струнки человѣческаго сердца знаете, и опять что-нибудь отчаянно сверхъестественное, въ родѣ воскресенія изъ мертвыхъ, устроите. Въ этомъ,—говорить,—и трагедія наша, приходится на компромиссы итти. Одни изъ насъ на пустяки размѣниваются, Бога вашего подъ шумокъ по частямъ въ землю закапываютъ. Другіе, скрѣпя сердце, и противъ своихъ убѣжденій, согласились и на вселепскую панихиду, лишь бы навсегда съ умершимъ Богомъ раздѣлаться. Да. Только,—говорить,—къ сожалѣнію, у насъ, ученыхъ людей, привычки пѣть надъ покойниками читать, а тѣ изъ насъ, что брались до сихъ поръ—съ философской закваской, и потому не выдерживаютъ: или на аллилуйю переходятъ, или отъ страху съ ума слезаютъ. Чудится имъ, что шевелится по ночамъ мертвый Богъ... шевелится... Вотъ недавно еще одинъ такой былъ—отчаянный смѣльчакъ и началъ очень смѣло, а кончилъ очень плохо—сумасшествіемъ тоже. А я во всю эту нелѣпую и грязную канитель рѣшилъ вовсе не вмѣшиваться. Терпѣть не могу кривить душою и итти на компромиссы. Даже на будущее вселенское отпѣваніе смотрѣть не хочу. Пусть безъ меня комедію ломаютъ... Къ тому же, я не могу выносить слезъ, а вѣдь многіе человѣки безпремѣнно плакать будутъ, потому—дурачье и великаго счастья своего не пони-

мають. Конечно, мнѣ немножко жалко старика: очень ужъ много онъ съ людьми няньчился, но я съ веселіемъ преклоняюсь предъ законами природы. Старики должны умирать, они мѣшаютъ жизни своими вѣчными стопами и ворчаніемъ; они гасятъ веселье, а мы, люди будущего, хотимъ жить радостно и весело...

— И многое говорилъ Геологъ въ тотъ вечеръ, всего не упомнишь, да и по-своему онъ какъ-то всегда умѣлъ сказать. Самъ онъ былъ безконечно веселъ и все время смѣялся, а у насъ было какъ-то смутно на душѣ. Сережка же, товарищъ нашъ одинъ, такъ прямо навзрыдъ плакалъ...

— Вдругъ Геологъ смолкъ, обвелъ насъ всѣхъ глазами и говоритъ такимъ повелѣвающимъ голосомъ, а лицо у него... и весь онъ совсѣмъ измѣнился. Былъ онъ такимъ худенькимъ, остренькимъ, безпокойнымъ, а тутъ свѣтозарная ясность и спокойствіе во всей фигурѣ появились.—Идемте,—говоритъ,—къ памятнику крещенія Руси. Это,—говоритъ,—святое мѣсто и для васъ, и для насъ: тамъ умственная линька нашего народа обозначена. Вы,—говоритъ,—богословы, врядъ-ли хорошо представляете, что это не шутка, что линияше очень болѣзненная и очень важная для развитія народнаго организма вещь, ну, а намъ, естественникамъ, все это доподлинно извѣстно.

— Вышли изъ пивной. Глухая ночь. Пустота на улицѣ. Подошли къ Днѣпру... Странно тоскливо стало все кругомъ. Стоялъ мѣсяцъ невысоко надъ землею, но не свѣтилъ, ибо былъ на ущербѣ. Мертвою, холодною лежала гдѣ-то внизу рѣка. Жуткія тѣни ползали и колыхались по набережной...

— Иду я, дорогая моя, и жду: вотъ-вотъ Геологъ какую-нибудь невозможнѣйшую штуку выкинетъ, ибо очень ужъ наизнанку выворачивается и готовъ душу свою обнажить человѣкъ. Завернули къ памятнику. Впереди всѣхъ взбирается по горѣ Геологъ, остальные

молча за нимъ идуть, ждуть всё, что будетъ. Журчить, падаетъ съ горы ручей; качаются и скрипятъ деревья. Догадался тогда я, что вѣтеръ дуетъ съ Днѣпра, оттого, значить, и тѣни бѣгали по набережной, но еще непріютнѣе стало на сердцѣ послѣ этой догадки, иду — и точно смерти близкаго человѣка дожидаясь...

— Передъ самымъ памятникомъ Геологъ остановился, снялъ свою шапку и на колѣни сталъ. Мы всё за нимъ тоже опустились на колѣни. И тутъ самая непонятнѣйшая пантомима началась. Подошелъ къ нему Сережка и сталъ что-то говорить ему на ухо. А онъ въ свою очередь началъ ему разяснять и даже сердиться, но Сережка упорно стоялъ на своемъ. Вдругъ они оба стремительно поднялись, и Сережка съ дикимъ крикомъ, какого я еще никогда въ своей жизни не слышалъ: „Выдыбай, Боже! Выдыбай, Боже!“ — побѣждалъ внизъ, къ набережной, а затѣмъ вдоль ея, по теченію Днѣпра. Слѣдомъ за нимъ Геологъ, безъ шапки, съ разметавшимися волосами, и тоже, что было въ его остромъ тѣлѣ силы, „Выдыбай, Боже!“ — кричитъ, а самъ весь, какъ дьяволъ, хохочетъ.

— Помню, до безумія обрадовался я, что сцена эта нѣмая кончилась, и хоть не понялъ, въ чемъ дѣло, но тоже изо всей мочи, такъ что на мгновеніе всё голоса покрылъ, „Выдыбай, Боже!“ — закричалъ и тоже за ними, какъ и всё остальные, помчался.

— Надѣлали, должно быть, мы въ ту ночь здоровеннѣйшаго шума по всей набережной, потому какъ очень многіе изъ насъ не въ силахъ были долго бѣжать, падали, гдѣ придется, по набережной, и я сзади, какъ сквозь сонъ, слышалъ ихъ изступленные крики: „Выдыбай, Боже! Выдыбай, Боже!“

— Конецъ всей этой исторіи я и самъ только по рассказамъ пристава знаю. Переняли насъ троихъ — Геолога, Сережку и меня — вотъ здѣсь, внизу, у самаго моста, и будто бы я, Платонычъ, ихъ обоихъ здоровѣе и

неукротимѣ кричалъ. А городского, который вздумалъ было преградить мнѣ дорогу, схватилъ на руки и хотѣлъ было въ Днѣпръ бросить... „И безпремѣнно бросили бы“, говорилъ мнѣ приставъ: „да вашъ товарищъ маленькій, Сергѣй Петровичъ, изволилъ сказать вамъ плаксивымъ такимъ голосомъ: „оставь, Платонычъ, теперь уже все равно, бѣжать дальше нечего, сейчасъ только утонулъ, около самага мосту утонулъ“,—и самъ послѣ такихъ своихъ словъ горько заплакалъ, а университапт-то вашъ въ ладоши забилъ и танцовать даже началъ. А вы городского на землю осторожно поставили и „Вѣчную память“ неестественно-дикимъ голосомъ заплѣли. Потому больше и протоколъ составили, что на всѣхъ васъ подозрѣніе въ утопленіи живого человѣка пало“...

Дѣвушка, слушавшая съ чуткимъ вниманіемъ, теперь звонко смѣялась, а у Юноши навернулись на глаза слезы, и онъ незамѣтно закрылъ лицо свое руками.

Одинъ Платонычъ былъ весь во власти воспоминаній. Онъ давно поднялся съ лавочки и стоялъ сейчасъ передъ своими слушателями, озаренный красноватыми отблесками, которые падали ему прямо въ лицо отъ заходящаго солнца. Онъ не слышалъ, не видѣлъ ни смѣха дѣвушки, ни слезъ Юноши. Странно размахивая своими большими руками и постоянно мѣняя выраженіе своихъ быстрыхъ, безпокойно бѣгавшихъ глазъ, Платонычъ продолжалъ, и видно было, что онъ невольно воспроизводитъ сейчасъ чей-то запавшій ему въ сознаніе, запечатлѣвшійся голосъ.

— Ровно черезъ три дня приходитъ ко мнѣ Геологъ, радостный такой, осіянный и осѣненный. „Веди меня,—говорить,—Платонычъ, на твое любимое мѣсто, откуда ты своими метафизическими глазами на колыбель человечества смотришь“. Зналъ онъ всѣ мои слабости, ибо не утаилъ я отъ него, весь раскрылся передъ нимъ

вотъ такъ же, какъ передъ вами раскрываюсь сейчасъ, уважаемая. „Хочу“,—говорить,—я тамъ тебѣ и свое откровеніе и свое пророчество сказать“...

— Пошли. Смотрю я на Геолога. Вижу—необычайнѣйшее что-то съ человѣкомъ творится; думаю про себя: должно быть, очнулся и снова въ дѣйствіе пришелъ „потухшій-то вулканъ“... А сказать не рѣшаюсь, ибо вижу—не до шутокъ человѣку.

— Пришли сюда.

— Дѣло было темнѣйшею ночью,—странною ночью, которая то сама на себя безумно сѣтовала, то сама себя жадно слушала. Есть такія двуликія, двустворчатыя ночи: одна половина сѣтуетъ—жалуется, а другая слушаетъ; одна говоритъ—поетъ, а другая запоминаетъ.

— Встали другъ противъ друга вотъ здѣсь, на краю обрыва.

— Вотъ мое мѣсто,—говорю,—откуда я на колыбель человѣчества смотрю! Говори теперь ты свое откровеніе и пророчество.—Хорошо,—отвѣчаетъ,—а у самого лица сдѣлалось такимъ горящимъ, пророческимъ, и самъ онъ весь какъ-то еще острѣе сталъ. И точно летѣть куда собрался.

— Знаешь ли ты, Платонычъ, для чего я передъ памятникомъ крещенія на колѣни палъ, и почему Сережка дикимъ голосомъ—„Выдыбай, Боже!“—заоралъ и до самого вотъ этого моста мы съ нимъ безъ усталости и передышки, какъ сумасшедшіе, бѣжали?—Нѣтъ,—говорю,—не знаю... Думается, что вы какую-то траги-комическую вариацию на старую тему разыграли.—Пожалуй, что и такъ,—отвѣчаетъ, а самъ весь такъ и трепещется отъ невыразимѣйшей радости, словно малый, еще не умѣющій говорить, ребенокъ.—Это ты, Платонычъ, хорошо сказалъ: никуда не уйдешь отъ повторенія, даже со смертію. Всюду, во всемъ мірѣ, періодическая смѣна и повторяемость явленій замѣчается; вездѣ вихри и спи-

меньше, чѣмъ вашего брата. Очень ужъ отъ нихъ богословіемъ вапимъ папахиваетъ, и міровоззрѣніе у нихъ тоже, какъ у васъ, монастырское и сильно мертвечиной отдаетъ. Они даже названіемъ у васъ позаимствовались: выпотрошили ваше неуклюжее слово и изъ монотенистовъ—монистами стали. Это все—ничего; это—хорошо! Никому,—говорить,—до поры до времени въ Тришкиномъ кафтанѣ щеголять не возбраняется. Но зачѣмъ такая тьма гордости и такая бездна серьезности? Слѣдовало бы быть повеселѣе. А то съ вами, Подольными монотенистами, устроила-таки наша игривая, вѣчно-творящая природа очень веселенькую шутку: приходится вамъ, за вашу гордость и презрѣніе къ ней, очень плохимъ дѣломъ заниматься: съ больной головы на здоровую сваливать

. Очень,—говорить,—грустное это занятіе, Платонычъ, и мнѣ васъ порою искренно жаль. Я говорилъ какъ-то о вашемъ печальномъ и смѣшномъ положеніи Горнымъ нашимъ монистамъ, такъ они на стѣнку лѣзутъ.—Мы уроки исторіи лучше тебя знаемъ и заранѣе себя обезпечили. У насъ,—хващаются,—основное начало, создавшее міръ, во-первыхъ—безличное, во вторыхъ—безполое, никакой неожиданности пикогда быть не можетъ.—Да, вѣдь, говорю, отъ тоски и одиночества какое угодно безполое существо изъ себя выйдетъ, воплощенія захочетъ и безпремѣнно оплодотворить кого-нибудь изъ вашихъ же глашатаевъ, а, можетъ-быть, и оплодотворило уже заразъ двойнею или даже тройнею, да они еще не успѣли проболтаться.—Твои слова,—отвѣчаютъ мнѣ,—безумный бредъ и нелѣпица.—Да, вѣдь, такая нелѣпица,—говорю,—всемогуществу вашего монистическаго начала не помѣха, а ему все же, какъ никакъ, а вдвоемъ или втроемъ поваднѣе будетъ управлять міромъ. Злятся. Забавная публика; философія у нихъ мертвая и скуч-

ная, а они всѣ ею очень довольны, ликуютъ и взапуски славословятъ творца ея... Ну, да это ничего, это хорошо. За ними придутъ такіе, у которыхъ больше дерзости и меньше славословія. Важно то, что начался процессъ выщелачиванія и вывѣтриванія старыхъ идей, разрыхленія и распыленія твердыхъ породъ старыхъ истинъ, которыя удерживали и мѣшали разрушенію стараго аданія. Теперь всѣ сильные и чуткіе люди будутъ помаленечку уходить изъ разрушающихся храмовъ, гдѣ жили боги прошлаго. Это,—говорить,—безостановочный, неустойчивый процессъ, и когда онъ закончится, начнется историческій праздникъ всеобщаго переворота. Это ужъ намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Выщелочить скоро и тебя, Платонычъ,—вотъ тебѣ мое предсказаніе,—и Юношу. Уйдете вы оба изъ душнаго стараго города на весь вольный свѣтъ, на свободу, на свободу, потому оба вы хорошіе люди, хоть и отравилъ меня Юноша своею нечеловѣческою тоскою. Вслѣдъ за вами уйдутъ и другіе. Всѣ уйдутъ, въ комъ есть хоть какая-нибудь душевная сила... А мнѣ вся эта музыка до самаго конца извѣстна, и потому у меня тоска смертная, и глядѣть ни на что не хочется. Пусть, кого угодно, это занимаетъ, а для меня все это скучные пустяки въ сравненіи съ будущимъ міровымъ пожаромъ. Прощай,—говорить,—дорогой Платонычъ, и помни о томъ, что предсказалъ тебѣ родившійся въ безвременье человѣкъ, который отравился нечеловѣческою тоскою по грядущему всемірному пожару.

— Помню, поцѣловались мы съ нимъ и разстались навсегда.

— Мертвымъ увидѣлъ я его на другой день, съ еще болѣе острымъ и насмѣшливымъ лицомъ, на которомъ застыло и презрѣніе къ людямъ, и сведшая его въ могилу геологическая смертная тоска.

— Большущей, богатырской силы былъ человѣкъ, а такъ какъ-то совсѣмъ зря, самымъ страннѣйшимъ

образомъ, самовольно ушелъ отсюда... Былинный человекъ! Святогоровское что-то въ немъ было: притянула къ себѣ его тяга земная, и въ землю ушелъ онъ со всею своею силой...

Платонычъ замолчалъ. Воспоминанія о самовольно ушедшемъ изъ жизни человекѣ, который вычертилъ въ его душѣ неугладимыя, чудныя слова, скорбной тѣнью легли на широкое, улыбающееся лицо Платоныча.

Грустная тишина стала незамѣтно обнимать собесѣдниковъ. Она крѣпко связала ихъ однимъ скорбнымъ чувствомъ; она, какъ кольцомъ, окружила всѣхъ троихъ общемою думою, отдѣлила ихъ на мгновеніе отъ всего остального міра, въ которомъ только-что сѣло веселое весеннее солнце, исчезли, слившись другъ съ другомъ, длинныя тѣни, а на двухъ противоположныхъ концахъ яснаго небеснаго свода появились съ одной стороны широкая радужная лента вечерней зари, съ другой—чуть замѣтная, узкая темноватая полоска недалекой ночи.

Первой очнулась дѣвушка. — Надо идти, — сказала она и быстро направилась отъ обрыва, увлекая за собою своимъ порывомъ и Платоныча, и Юношу. Покорно и безвольно, взявшись подъ руки, послѣдовали они за нею.

Уже въ лаврской оградѣ Платонычъ заявилъ своимъ спутникамъ, чтобы они зашли на минутку въ соборъ, послушать „необыкновеннѣйшее лаврское пѣніе, въ которомъ всѣ четыре стихіи—огонь, вода, земля и воздухъ отражаются“, а онъ, Платонычъ, пойдетъ впередъ и устроить все, что нужно.

Уходя, онъ непривычно для себя, какъ бы ненарокомъ, спросилъ дѣвушку: „А какъ васъ зовутъ, уважаемая?“ — „А зачѣмъ вамъ мое имя, уважаемый?“ — передразнила дѣвушка.

— Видите ли, невыразимѣйшая, — заулыбался Платонычъ, — хитрить не могу, всю правду раскрою. Есть тутъ старикъ... монахъ одинъ, толстенный такой и большущее значеніе въ лаврской конторѣ имѣетъ, такъ опъ

мнѣ разъ навсегда сказалъ: „ты, говоритъ, всеобъемлющій Платонычъ“,—онъ меня всеобъемлющимъ зоветъ за то, что я его „Необъятнѣйшимъ“ прозвалъ—„ты, всеобъемлющій, мнѣ сюда хотъ всѣхъ здѣшнихъ вѣдьмъ, со всѣхъ Лысыхъ горъ приведи, но только смотри, чтобы у каждой было христіанское имя“. И всякій разъ, какъ я сюда съ дѣвцами являюсь, неукоснительно не только у меня, но, бываетъ, что и у нихъ, „какъ во святомъ крещеніи нарекли,“—спрашиваетъ. Вы все равно, какое-нибудь имя скажите, только чтобъ „Необъятнѣйшаго“ утѣшить: отъ міра отрекся, а странности мірскія остались—не по человѣку имя давать, а по имени чело-вѣка звать,—какъ бы въ извиненіе добавилъ Платонычъ

— Лидія—мое христіанское имя, сказала дѣвушка, и то, что сказала она его такъ просто и серьезно, на мгновеніе бросило свѣтъ на ея личность.

— Хорошее, мученическое имя,—на ходу говорилъ Платонычъ и куда-то быстро скрылся.

Платонычъ старался... Онъ привелъ въ движеніе чуть ли не все свое обширное знакомство и, несмотря на скопленіе народа, раздобылъ-таки три чистенькія, свѣтленькія комнатки, а къ приходу Юноши и дѣвушки успѣлъ уже соорудить „настоященскій“ чай. Самъ онъ чаю не сталъ пить, а пошелъ „благословляться“ какой-то особливою лаврской настойкой, вмѣстѣ съ отцомъ Θεодосіемъ, коридорнымъ монахомъ, высокаго роста, съ сѣдѣющими волосами, привѣтливымъ лицомъ и скорбными глазами, который принялъ чрезвычайно близкое и живое участіе въ судьбѣ трехъ богомольцевъ.

Послѣ чаю всѣ трое вышли на балконъ. Весенняя ночь дохнула на нихъ разлитымъ во всей природѣ страстнымъ и жаднымъ любовнымъ исканіемъ, жаждою обезличенія и потери сознанія, безумною жаждою потонуть въ общемъ потокѣ, невѣдомо откуда, впередъ, на новыя рожденія и къ новымъ смертямъ несущейся

жизни. Одна за другою побѣжали минуты тихой и оживленной бесѣды, въ которой незамѣтно ткалась непрерывная узорчатая нить мысли, все крѣпче и ближе связывавшая собесѣдниковъ другъ съ другомъ.

Дѣвушка и Юноша сидѣли рядомъ на деревянной скамейкѣ противъ Платоныча. А онъ, откинувшись на спинку своего кресла и покачиваясь на немъ, развѣтывалъ длинный свитокъ своихъ неистощимыхъ разсказовъ, въ каждомъ словѣ которыхъ трепетала увѣренность, что сегодняшняя встрѣча сулитъ ему „здоровеннѣйшій изгибъ“ въ его жизни.

И то, что и Юноша, и дѣвушка мало говорили, и то, что Юноша гладилъ своими тонкими пальцами руку дѣвушки, а она не сопротивлялась, не гнала прочь отъ себя эту ласку, сближало въ эти мгновенія ихъ двоихъ.

— Симпатичнѣйшая встрѣча, — не въ первый уже разъ повторилъ Платонычъ запавшее ему въ сердце выраженіе, густо ударяя на каждомъ словѣ, точно стряхивая съ него всякую пылинку сомнѣнія, — чудная, чудная и чудеснѣйшая. Ей-Богу!... Не встрѣться мы съ вами, юная странница, гостили бы мы сегодня съ Юношею не у старыхъ, не у бывшихъ святыхъ, а у будущихъ, и былъ бы Платонычъ сегодня зѣло непотребенъ и пьянъ... Я вамъ это все по совѣсти говорю, милѣйшая Лидія, и вы на меня не сердитесь. Скрывать никакъ не могу: передъ хорошимъ человѣкомъ всегда весь безъ утайки, со всей своей нелѣпѣйшей натурою готовъ обнаружиться... А васъ, уважаемая, я съ перваго взгляда отмѣтилъ и не ошибся, ей-Богу. Въ васъ, знаете, вотъ, какъ и въ Юношѣ, обреченность какая-то затаилась, хоть и бойкій вы человѣкъ, а смирила она васъ, по глазамъ вижу, смирила, только не хотите вы своею укрощенностью съ такимъ, какъ я, неукротимымъ, подѣлиться... А вотъ я давно мечусь, какъ звѣрь въ клѣткѣ, и если укротитель мой

еще немного задержится, то я, ей-Богу, всенепремѣннѣйше отъ ненасытной тоски своей разобью себѣ голову. Да.

— Полноте вамъ, Платонычъ, на себя жаловаться и въ своихъ преступленіяхъ и грѣхахъ каяться,—перебила Платоныча дѣвушка.—Вѣдь васъ, поди, и такъ по четыре раза въ годъ на исповѣдь, какъ барановъ на водоцой, гоняють.—И слѣдомъ за грубыми, рѣзкими словами, въ чуткой, сдержанной тишинѣ ночи, затаившейся у молчаливыхъ старыхъ лаврскихъ стѣнъ, гулко раздался ея молодой, нѣжно-звонящій смѣхъ.

Платонычъ какъ-то не сразу собрался отвѣтить, точно не рѣшался онъ выговорить просившейся наружу мысли.

— Сердиться я, уважаемая, начинаю,—медленно заговорилъ онъ, наконецъ, привычнымъ движеніемъ головы закидывая назадъ свои волосы,—не на васъ, а на нѣкоторыя ваши слова: чужія они, вамъ не подходящія и мнѣ вовсе не нужны, лишнія для меня. Зачѣмъ отталкиваете Платоныча? Онъ идетъ къ вамъ съ раскрытой душою и готовъ всюду пойти за вами, только хорошенько позовите, обожгите его сердце пламеннымъ зовущимъ словомъ. Съ Платонычемъ нигдѣ не страшно — Платонычъ нигдѣ не оставитъ! Онъ будетъ беречь васъ лучше, чѣмъ евреи берегли свой Ковчегъ Завета.

— Намъ не по дорогѣ съ вами, Платонычъ, — беззвучно смѣясь, отвѣтила дѣвушка и, отстранивъ руку Юноши, быстро поднялась со скамейки. — Слишкомъ ненадеженъ тотъ, кто при малѣйшей опасности за старину, какъ малый ребенокъ за подолъ матери, цѣпляется и въ самыя тяжелыя минуты своей жизни не впередъ, а назадъ, на колыбель человѣчества смотреть. Живому дѣлу страшны люди, отравленные печалью по прошлому. Ихъ творческаго порыва хватаетъ только на то, чтобъ изъ вѣчно-юнаго дѣла преображенія человѣ-

ческой жизни пышное кладбище со священными нерушимыми гробницами предковъ устроить, а сами они возможно скорѣе норовятъ изъ смѣлыхъ разрушителей въ жалкихъ сторожей и наемныхъ плакальщицъ на могиллахъ усопшаго прошлаго зачислиться. Нѣтъ, право, не по дорогѣ намъ съ вами, Платонычъ, хоть вѣрю, хорошимъ товарищемъ вы были бы,—съ грустной усмѣшкой добавила дѣвушка, и глаза ея скользнули въ придвинувшуюся къ балкону темную гущу монастырскаго сада.

Тамъ, въ ночной тьмѣ, высокія деревья, потерявшія счетъ своимъ годамъ, страстно прильнули другъ ко другу своими вѣтвями и безъ словъ,—всегда безомощныхъ, всегда бессильныхъ словъ, которыя вѣчно со смѣшными ужимками ковыляютъ за быстро исчезающимъ мгновениемъ въ тщетной надеждѣ схватить его смыслъ,—безъ словъ переживали доступную всему живущему на землѣ великую тайну передачи жизни грядущимъ поколѣніямъ. И отъ этого молчанія еще нетерпѣливѣе, еще безпокойнѣе начинала биться и метаться хлопотливая, вѣчно ищущая и недовольная человѣческая мысль.

— Я ухожу, Платонычъ,—сказала дѣвушка. — Не сердитесь и не поминайте меня лихомъ.—И она нѣжнымъ материнскимъ взглядомъ поглядѣла на больного челоуѣка, который и въ ней, какъ и во всѣхъ людяхъ, искалъ челоуѣка, способнаго утишить его душевную бурю, способнаго позвать за собою.

Еще мгновенье,—и ушла бы эта веселая, внезапно заторопившаяся дѣвушка, и стало бы одиноко, страшно и непріятно-сиротливо двумъ разлучающимся навсегда людямъ.

Но Платонычъ, уловивъ въ дѣвущкѣ долго-жданную ласку, весь затрепеталъ отъ радости и ринулся къ выходу, преграждая путь.

— Я васъ не пушу, милѣйшая Лидія, ни за что не пушу. Почему мнѣ съ вами не по дорогѣ, и куда вы

сами идете? Ругайте меня, какъ хотите, а я, нелѣпѣйшіи челоуѣкъ, ей-Богу, васъ не пушчу; не пушчу, пока вы мнѣ на эти самыя отчаяннѣйшія вопросы моей жизни па-стоящаго отвѣта не дадите.

И Платонычъ выпрямился во весь свой богатырскій ростъ передъ дѣвушкой, которая молча, въ недоумѣніи остановилась и посмотрѣла на него.

— Да и некуда вамъ, уважаемая, торопиться, ей-Богу, некуда. Отдохните здѣсь недѣлку,—снова, улыбаясь своей широкой и ясной улыбкою, сталъ уговаривать ее Платонычъ.—Тутъ васъ ни одинъ щуръ не сыщеть. Поглядите поближе на тѣхъ, что изъ своей живой вѣры, какъ вы хорошо сказали, вселенское кладбище устроили и по всей землѣ памятниковъ своимъ умершимъ святымъ нагромодили. Можетъ быть, и не одинъ этотъ изъянецъ у нихъ найдете. А я бы для васъ постарался, такія бы смотрины устроилъ, самыхъ невѣроятнѣйшихъ людей выискалъ. Для васъ это со-всѣмъ не лишнее будетъ, ей-Богу! Что ни говорите, а здѣсь хоть и мало, но остались еще потомки тѣхъ, что давнымъ-давно въ Римъ вселенскаго счастья, не щадя себя, отправились. Дѣлами всѣ они пооскудѣли, это точно; притомились и не дойти имъ, какъ видится, до своей цѣли, ну, а на словахъ они все еще храбрятся, на словахъ все еще—и братство, и равенство, и свобода—хоть и больно имъ за такія слова достается отъ бездны начальства; отъ всѣхъ этихъ одержимыхъ бѣсами властолюбія „архи-протовъ“, игуменовъ и деспотовъ... Такъ вѣдь такая непріятнѣйшая вещь, уважаемая, со всякимъ хорошимъ челоуѣкомъ можетъ случиться... Что, если и второй блинъ вселенскаго счастья комомъ свернется, а къ небу одна отвратительнѣйшая панихидная гарь и запахъ пойдетъ?.. Останьтесь, дорогая Лидія. Ну хоть на три дня. Право, не пожалѣете.

Въ это время у дверей балкона показалась высокая монашеская фигура отца Θεодосія.

Онъ на мгновеніе остановился своими зоркими и скорбными глазами на дѣвушкѣ, улынулся какъ-то про себя, постоялъ и исчезъ такъ же безшумно и безмолвно, какъ и появился.

— Полноте, Платонычъ,—замѣтно раздражаясь, заговорила дѣвушка.—Вы меня и въ самомъ дѣлѣ тоже за какого-то оборотня, должно быть, приняли. Мнѣ давно пора уходить отсюда, а то и самъ вашъ хваленый отецъ Θεодосій что-то засуетился и подозрительно на меня поглядываетъ.

— Отца Θεодосія,—въ свою очередь заволновался Платонычъ,—вы у меня не троньте, уважаемая. Отецъ Θεодосій—ласковѣйшая душа: онъ за нами теперь, какъ сердобольная мать за малыми дѣтьми, ухаживать будетъ. Вы увидите. А что онъ на васъ зоркимъ своимъ окомъ посмотрѣлъ, такъ на то онъ единственный на всю лавру прозорливецъ. Если бы захотѣлъ, большущую славу и себѣ и обители доставилъ бы, но только безславецъ онъ, душа у него щедрая и лаской торговать не захочетъ. Не потерпѣли его тамъ, вверху, наклепали, будто ему всѣ его прозорливыя слова діаволь черезъ водку напештываетъ, и внизъ сюда на гостинный дворъ сослали. А онъ не водкою, а человѣческимъ горемъ съ того дня, какъ въ человѣческую жизнь прозрѣлъ, запоемъ упивается...

— Всѣхъ,—говорить,—милый Платонычъ, утѣшаю, а самъ давно безутѣшнымъ сталъ, горемъ напился, слезами отравился...—Вотъ онъ какой человѣкъ, отецъ Θεодосій. Безутѣшный онъ прозорливецъ, уважаемая... Нечислимѣйшую бездну народа знаетъ и каждому прибаутку или ласковое слово сказать умѣетъ. Его поговорки по всей Россіи вмѣстѣ съ богомольцами гуляютъ. И правдою онъ никогда не брезгуетъ, даже когда о своей любимой обители рассказываетъ: „у нашей лавры,—говорить,—всѣ монахи славны, для дѣла не годные, но Богу угодные; въ мірскіе кабаки сами ходятъ, изъ

кабаковъ ихъ Божьи ангелы водятъ "... Прямѣйшая душа! Черезъ него я и въ васъ, уважаемая, окончательно увѣрился. Замѣтилъ я, что въ словахъ своихъ вы отъ насъ съ Юношей хоронитесь, а отъ себя отрекаетесь, и нарочито заранѣе попросилъ отца Θεодосіа испытующимъ, зоркимъ окомъ на васъ посмотрѣть.

— Откуда, спрашиваю, прозорливѣйшій отче Θεодосіе, сія дерзновеннѣйшая юница?—когда мы съ нимъ наливкою благословлялись.

— Сибирячка,—отвѣчаетъ,—какъ святъ Богъ, сибирячка. Я сибиряковъ съ перваго взгляда всегда узнаю: глаза у нихъ особливые, кочевничьи глаза, на лицѣ, словно крестъ на колокольнѣ въ яркій день, горятъ и за предѣлы земли смотрятъ, а въ обличьѣ у нихъ всегда безпокойная непосѣдливость таится. Славный народъ, говоритъ, эти сибиряки, землелюбивый, а къ землѣ не прилипшій. Люблю я ихъ за это.

— Такъ,—говорю,—прозорливѣйшій отче; а кто она и куда идетъ?

— Это, Платонычъ, не сразу прозрѣть можно: каждый человѣкъ въру свою имѣетъ, да другимъ людямъ до времени объявить не смѣетъ. Сдается мнѣ, изъ тѣхъ она, что съ самимъ Богомъ спорятъ, изъ-за порядку въ мірѣ тягаются, съ Господомъ не дружны, а больше всѣхъ ему милы и нужны. Лѣтъ двадцать ихъ,—говоритъ,—нигдѣ не видно было, а теперь снова появились, даже въ нашей обители я уже не перваго вижу. Большое волненіе, должно быть, во всемъ народѣ скоро пойдетъ...

Дѣвушка пыталась какъ будто сказать что-то, но Платонычъ уже несся впередъ, охваченный новыми мыслями, новыми воспоминаніями. Самъ Юноша съ нѣкоторымъ безпокойствомъ смотрѣлъ теперь на своего разволновавшагося друга.

— Да и некуда вамъ итти сейчасъ, уважаемая, на ночь глядя,—говорилъ между тѣмъ Платонычъ.— Не

спать же будете! Ни за что не повѣрю, что вы изъ тѣхъ людей, которые ночной сонъ въ законъ природы возводятъ. Куда ни шло, просидите съ нами одну эту ночь, непосѣдливая, если не хотите оставаться здѣсь долѣе. А завтра я васъ хотъ къ самому діаволу провозжу: мнѣ, ей-Богу, все равно, я человѣкъ шальной.

И Платонычъ широко разметнулъ свои руки, точно онъ собирался на крестъ.

— А ночныя бесѣды я смерть люблю,—вдругъ заговорилъ онъ необычнымъ для себя тихимъ голосомъ.— И повѣрите ли, уважаемая, пожалуй, всего лучше себя я только ночами чувствую. Вотъ такъ-то я тутъ, въ этомъ городѣ, со старикомъ однимъ не одну ночь прокороталъ. Умнѣющій былъ старикъ, хотъ почти всѣ его сумасшедшимъ считали. Никто лучше его смыслъ ночи мнѣ не раскрылъ. „Ночью самыя свѣтлыя мысли,—тихо говоритъ онъ, бывало,—у людей рождаются. Самыя яркія мысли, что людямъ цѣлые вѣка свѣтять и путь въ безбрежномъ мірѣ показываютъ, непремѣнно ночью загорались. Мысли—что звѣзды: отъ назойливаго солнечнаго свѣта тускнѣютъ и исчезаютъ, а ночью вновь просыпаются... У меня у самого,—говоритъ,—въ одну ночь душа наканунѣ казни двухъ сыновъ моихъ проснулась и съ тѣхъ поръ глазъ не смыкаетъ“...

— Полякъ онъ былъ и русскихъ терпѣть не могъ, братоубійцами называлъ, а меня полюбилъ. Чудно ужъ очень мы съ нимъ познакомились. Большущую я какъ-то баталію на улицѣ изъ-за одной дѣвицы устроилъ. Проститутка она была и тоже, какъ я узналъ въ послѣдствіи, поляка... Очень большое было сраженіе: и я много билъ, и меня не мало били. Въ глубокой полуночи все это происходило. А очнулся я въ свѣтлый заплотдень, и глазамъ своимъ не вѣрю: комната, гдѣ лежу, вся завалена книгами, старикъ сѣдой въ ней сидитъ, мнѣ улыбается. Прележалъ я у него такъ цѣлый день. Ничего мы другъ другу не говорили, а только улыбались: онъ

мнѣ, а я ему. Ночью, когда я совсѣмъ вылежался и домой собрался, онъ, провожая меня, сказалъ: „это хорошо, что вы духовный академикъ, а ни іудеевъ, ни эллиновъ не разбираете и каждое оскорбленіе чловѣку въ серъезъ принимаете. У меня,—говорить,—сыны такіе были, Христовой смертью оба померли. Вы,—улыбается ласково такъ,—мнѣ очень полюбились“. — И вы мнѣ, отвѣчаю, старче, тоже очень полюбились.—„Вотъ и хорошо,—говорить,—такъ если захочется, приходите ко мнѣ какъ-нибудь, только не днемъ, а ночью, въ поволуніе, и когда небо бываетъ звѣздное и открытое... Я,—говорить, а самъ какъ-то опять весь по-дѣтски улыбается,—въ такія ночи никогда не сплю. Вы тоже, какъ вижу, почамы не гнушаетесь и со мной посидите, почитаете мнѣ, а то я глазами сталъ слабъ“.

— Зашелъ я какъ-то къ нему разъ, потомъ другой, третій... И всегда онъ просилъ меня почитать что-нибудь изъ старины: прощальную бесѣду Христа въ Геосиманскомъ саду, рѣчь Сократа передъ судомъ или еще что-нибудь въ такомъ же родѣ, и непременно на томъ языкѣ, на какомъ сказано было. Слово, говорить, отъ мысли нераздѣльно, слово перевести нельзя, оно въ каждомъ языкѣ по-своему звучить...

— Сидитъ онъ, бывало, всегда у открытаго окна, въ темный садъ или на звѣзды смотритъ и порою, украдкой отъ меня, тихонько плачетъ... А я читаю, и мнѣ самому за яркими мыслями старинныхъ людей, которые смѣло въ глаза смерти глядѣли, миганье звѣздъ, родившее когда-то ихъ мысли, чудится... Странныя картины какія-то встаютъ передъ глазами... И больно мнѣ становится, что нѣту у меня въ сердцѣ такихъ мыслей и словъ, которыя людей на муки, въ костеръ или на висѣлицу приводили...

— А утромъ, чуть начинается брезжить свѣтъ и гасить звѣзды, старикъ прерываетъ чтеніе.—„Палачи уже ставятъ свои висѣлицы,—говорить, бывало.—Скорѣ войдетъ

солнце и потушить всѣ стыдливыя человѣческія мысли. Люди откроютъ свои церкви и лавочки и начнутъ торговать... Милыя дѣти! Они рады солнцу, а солнце зажмуриваетъ имъ глаза, и они перестаютъ видѣть вѣчность“...

— Умеръ онъ недавно. Не видѣлъ я его въ гробу. И теперь каждую звѣздную ночь—вотъ и сейчасъ даже—я его живымъ вижу. Такой славный, незабываемый старикъ былъ, уважаемая...

Платонычъ остановился. Его мысль, повидимому, ушла въ воспоминанія объ одной изъ странныхъ встрѣчъ, которыми была полна его пестрая, мозаичная жизнь. Тихе и малозвучнѣе стало кругомъ, и оттого, что Платонычъ говорилъ сейчасъ о звѣздахъ, ярче и трепетнѣе стали онѣ свѣтить и свѣтиться на весеннемъ небѣ.

— А въ самомъ дѣлѣ, Лидія, — я васъ буду звать такъ,—заговорилъ вдругъ Юноша,—останьтесь съ нами эту ночь. Повѣрьте мнѣ, въ эту ночь вы всего нужнѣе въ Старой Лаврѣ. Развѣ вы не видите, что я очень скоро навсегда покидаю Платоныча; развѣ вы не видите, что и мнѣ, и Платонычу давно пора уйти изъ Старой Лавры? Въ мое лицо уже заглянула смерть. Я это хорошо знаю, и, можетъ-быть, вотъ эта ночь, начинающая новыя жизни, погаситъ мой ослабѣвшій огонь. Вы схороните со мною вмѣстѣ отравившую меня печаль, вы проводите меня въ могилу вашимъ веселымъ, радостнымъ смѣхомъ. Но вы возьмете Платоныча съ собою. Пусть вамъ не по дорогѣ, но вы его съ забытаго, оставленнаго проселка выведете на большую дорогу, которой идетъ сейчасъ человѣчество.

Вздрогнули оба—и Платонычъ, и дѣвушка, — отъ тихихъ словъ Юноши, и снова, какъ раньше, передъ Никольскимъ монастыремъ, вступленіе Юноши рѣшило ихъ споръ въ пользу Платоныча.

— Я остаюсь, — сказала дѣвушка, словно сбросила

съ себя страшную тяжесть, и, обращаясь къ Платонычу, близкимъ, роднымъ голосомъ сказала: — Только вы ужъ, Платонычъ, тамъ устройте, чтобъ я рано утромъ была на вокзалѣ. Вы сдѣлаете?

— Я-то? Уважаемѣйшая!—воскликнулъ Платонычъ радостно, расплылся въ торжествующую улыбку и исчезъ.

Съ выходомъ Платоныча на балконъ наступило молчаніе.

Два человѣка, которыхъ все время раздѣляла и заслоняла другъ отъ друга безпокойная и страстная мысль третьяго, теперь очутились одинъ-на-одинъ, стали другъ противъ друга, каждый со своими особыми мыслями и думами, такъ различные своими путями въ прошломъ и въ будущемъ, и пересѣкшіеся, какъ двѣ прямыя линіи, въ одной точкѣ настоящаго.

На лаврской колокольнѣ часы прозвонили какую-то четверть. Мелодичный металлическій звукъ безвозвратно скатился сверху внизъ, въ ночное пространство, откуда попрежнему лились, обнимая Лавру, нѣжные, возбуждающіе звуки. Снизу, отъ гостинаго двора, на балконъ все еще долеталъ невнятный, смутный людской говоръ и шумъ. Тамъ, подъ открытымъ звѣзднымъ небомъ, на обширномъ плитчатомъ помостѣ, гдѣ расположились на ночлегъ богомольцы, выведенные усталостью и новыми впечатлѣніями изъ душевнаго равновѣсія, велись сейчасъ тихія, нескончаемыя бесѣды. И одинаково ясно отражались — горе и радость, вѣра и сомнѣніе, жажда жизни и страхъ смерти, и все, что принесла съ собою за истекшій день къ подножію недвижимыхъ лаврскихъ святыхъ безсмѣнная мятежная людская волна — въ медленномъ, прозрачномъ теченіи тихихъ, нескончаемыхъ бесѣдъ.

Дѣвушка подошла къ краю балкона и, ставъ впол-оборота, стала смотрѣть назадъ, гдѣ чуть видѣлась во мракѣ передняя, восточная часть соборнаго

храма. Странное звено этого дня, вылетавшее въ ея жизненную цѣпь, наполняло дѣвушку какимъ-то смутнымъ безпокойствомъ, требуя возможно быстрого подчиненія сознанию. Лицо ея стало печальнымъ и тревожнымъ.

— А вѣдь я тоже думаю, что вы революціонерка, — тихо и медленно проговорилъ Юноша, поднявъ свою голову и вглядываясь изъ-подъ очковъ въ смутно бѣлѣвшее во мракѣ лицо дѣвушки.

— И вѣрно думаете, — тихимъ эхомъ отозвалась дѣвушка. — Да, я революціонерка. — И вдругъ разсмѣялась какимъ-то своимъ неуловимымъ и веселымъ мыслямъ.

— И въ тюрьмѣ сидѣла? — придвигаясь ближе къ дѣвушкѣ своимъ неожиданнымъ переходомъ на ты, спрашивалъ Юноша.

— Сидѣла.

— И въ ссылкѣ была?

— Была не долго...

— Бѣжала?

— Бѣжала.

— За границу?

— За границу.

— Хорошо тамъ?

— Нѣтъ, не лучше, чѣмъ здѣсь. Глупости меньше, трусости больше.

Вопросы и отвѣты, какъ большіе, тяжелые камни, падали равномѣрною чередою, создавая зыбкій мостъ черезъ глубокую пропасть недоувѣрія, которая всегда отдѣляетъ одного человѣка отъ другого.

— Знаете, Лидія, — заговорилъ вдругъ, весь изгибаясь, Юноша. Было похоже на то, что всего его пронизалъ быстрый, мгновенный токъ мыслей и чувствъ, и онъ не въ силахъ заключить его въ себѣ, оставить не переданнымъ. Юноша порывисто взялъ руку дѣвушки. Онъ посадилъ дѣвушку съ собою и, лаская ея руку

своими тонкими пальцами, точно желая непосредственнымъ ощущеніемъ сдѣлать яснѣ свои мысли и чувства, сталъ, волнуясь, говорить:

— Знаете, Лидія, вотъ въ такую же ночь, когда вся земля жила, дышала и творила новыя жизни, я оскорбилъ своею любовью дѣвушку, а она была для меня дороже всего на свѣтѣ. Она была совсѣмъ-совсѣмъ, какъ вы, милая Лидія. Когда я ее въ первый разъ встрѣтилъ, она такъ же, какъ вы, съ веселымъ дѣтскимъ смѣхомъ шла впередъ. И въ ту странную ночь вмѣстѣ съ нею я пережилъ мигъ, который такъ и остался для меня неразгаданною загадкою. Яркая молнія сознанія освѣтила мою любовь къ ней. Я ослѣпъ, я сбился съ дороги, остановился... А она ушла отъ меня съ дѣтскимъ смѣхомъ и ясной душою. И вотъ нѣтъ ея уже давно со мною, но я поглядѣлъ на васъ и чувствую: идетъ моя славная, смѣлая, идетъ моя пезабываемая любовь, идетъ впередъ и все еще не разучилась смѣяться...

Какъ пѣсню, слушала дѣвушка слова Юноши. Все въ нихъ было немного не такъ, не похоже на простую, ясную человѣческую жизнь, какъ будто не мыслями, не логикой, а созвучіями своихъ чувствъ говорилъ Юноша. Все было немного не такъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ пѣсня, ближе и глубже заглядывали его слова въ душу жизни.

На балконѣ вновь появился Платонычъ, запыхавшійся, улыбающійся, довольный. Въ правой рукѣ онъ держалъ академическій плащъ, которымъ онъ съ материнскою заботливостью тотчасъ же прикрылъ Юношу, а въ лѣвой—громадный букетъ цвѣтовъ, искусно перевитый зеленью.

Усѣвшись на свое мѣсто, онъ, обѣими руками вручая букетъ дѣвушкѣ, началъ торжественнымъ, немного театральнымъ, голосомъ:

— Это вамъ, возложившая руки свои на рало и

Тихіе и пѣвучіе слова Юноши незамѣтно вплетались въ стройную музыку ночи.

И не удивились, нисколько не удивились ни Платонъ, ни дѣвушка, что Юноша самъ, первый, прервалъ ихъ молчаніе и сталъ рассказывать о себѣ, точно такъ и нужно было, точно ждали они его тихихъ и пѣвучихъ словъ. А Юноша, низко склонивъ къ колѣнямъ свою голову и тихонько покачиваясь вмѣстѣ съ размѣреннымъ теченіемъ своей рѣчи, весь какъ-то сжался, полузакрывъ глаза, и, видно было, самъ, прислушивался и удивлялся своимъ мыслямъ, которыя вырывались наружу помимо его воли.

— Знаю, какъ только убѣжить отъ насъ испуганная яркимъ солнцемъ черная тѣнь земли и скроются за солнечною голубою занавѣсью далекія небесныя свѣтила, знаю, стану жалѣть, что обнажилъ передъ вами душу свою. Но въ эту страшную живую ночь нѣтъ силъ, нѣтъ терпѣнія, нѣтъ болѣе мужества бороться одинъ-на-одинъ съ призраками прошлаго. Они обступили меня, они киваютъ мнѣ, они свѣтятъ мнѣ отблесками безвозвратно отжитой жизни, они тревожатъ и зовутъ меня къ себѣ, какъ эти трепетныя звѣздныя лучи, можетъ-быть, давно потухшихъ и догорѣвшихъ міровыхъ огней.

— Что-то непонятное, невыразимое, мучительное и радостное вмѣстѣ дѣлается со мною. Я знаю — я боленъ, я скоро умру. Мнѣ это недавно сказали мои ласковыя, мои заботливыя, мои бессонныя ночи. Онѣ снова пришли ко мнѣ. Зоркія, онѣ стерегутъ меня; чуткія, онѣ отгоняютъ отъ меня трудолюбивый, никогда не устающій сонъ. Сонъ покинулъ меня: онъ не разбиваетъ больше мою жизнь на безчисленные и мелкія, какъ песокъ, зерна отдѣльныхъ событій; онъ не разрѣзаетъ больше мою жизнь на неуклюжія и уродливыя плиты пережитыхъ дней, не бросаетъ ихъ со всего размаху въ ненасытную пропасть прошлаго, куда онѣ

летать, сталкиваясь, разбиваясь и перемѣшиваясь другъ съ другомъ. Останавливается моя жизнь, исчезаетъ время. Не утомительною вереницею, какъ раньше, а дружнымъ веселымъ хоромъ кружатся около меня дни и ночи. Дивные восторги одинокаго безстрастнаго созерцанія переживаю я, но тѣмъ сильнѣе во мнѣ загорается мгновеніями издавна знакомая мучительная, безумная жажда освободиться отъ сознанія, бѣжать отъ своихъ мыслей, утопить себя въ дѣйствіи — пусть безразсудномъ и дикомъ, лишь бы въ дѣйствіи... Я ненавижу тогда свои мысли. Я знаю, это онѣ укротили, обезсилили и лишили меня жизни. Я хочу мстить имъ за это, я хочу убить ихъ вмѣстѣ съ собою... Самоубійство — вотъ мой единственный выходъ, — думаю я: оно одно утолитъ мою жажду, оно одно дастъ мнѣ желанное блаженство — перелить всего себя въ дѣйствіе и небывалымъ мгновеннымъ напряженіемъ своей воли погасить навсегда весь отравленный міръ моихъ мыслей и чувствъ. Такъ думаю я... Но изъ темной дали прошлаго свѣтитъ мнѣ страшный, загадочный мигъ, когда захватившій всего меня дикій и дерзкій порывъ былъ остановленъ, былъ укрощенъ сознаніемъ. Снова кажется мнѣ, что сознаніе спасло меня отъ непоправимаго преступленія; что пять лѣтъ неустаннаго исканія привели меня на край истины; что вотъ-вотъ она откроется, и я узнаю міровую загадку — все станетъ яснымъ, не будетъ больше смерти, и я уже не умру. И снова мучительно хочется жить, еще одинъ день, одинъ часъ, одно мгновеніе, — такъ мечется моя уставшая мысль между страхомъ и жаждою жизни, и еще загадочнѣе становится міръ, въ которомъ вотъ я уже доживаю послѣдніе дни...

Юноша поднялъ голову, выпрямился и внимательно поглядѣлъ изъ-подъ очковъ своими спрашивающими, усталыми глазами сначала на своихъ слушателей, потомъ въ ночную тьму. Искать отзвука своимъ чувствамъ,

гуль, одного за другимъ терялъ своихъ прежнихъ друзей... Она сумѣла дать все, чего не хватало мнѣ съ самаго дѣтства: и материнскую заботливость, и нѣжность сестры, и ласки любимаго человѣка..

— И полюбилъ я ее всю, безъ остатка, безъ мысли о прошломъ и будущемъ: каждый звукъ ея голоса, каждый, едва уловимый трепеть ея жизни, каждую складку ея платья. Далеко назадъ уходила моя прежняя жизнь, но порою во мнѣ вспыхивала оставшаяся отъ прежней жизни, не совсѣмъ еще укрощенная страсть къ жепщинѣ. Временами, помимо моей воли, помимо моего сознанія, дикое и безумное желаніе пронизывало все мое существо: взять ее всю себѣ, спрятать отъ другихъ людей, слить навсегда ея жизнь съ моею,— пусть на одинъ короткій мигъ, но безраздѣльно и неразлучно. Это были мгновенія дикаго безумія; это были сумасшедшія мечты... Она была для меня больше, чѣмъ женщина: она была для меня лучшимъ человѣкомъ во всемъ свѣтѣ, и я не зналъ, какъ избавиться, куда дѣться отъ тяжелаго, распалываго меня искушенія. Въ такія минуты защиты отъ самого себя искалъ я въ ея ясныхъ и смѣлыхъ глазахъ. Она смотрѣла на меня, и я смирялся, какъ дикій звѣрь, и куда-то далеко внутрь пряталась неясная грозная возможность, въ пришествіе которой я не могъ, не хотѣлъ, не смѣлъ, боялся вѣрить.

Чувствовалось видимое утомленіе въ Юношѣ: онъ съ трудомъ подбиралъ звучную вереницу словъ, чтобы одѣть ими свое обнажавшееся прошлое. Настроеніе какого-то страстнаго, долго сдерживавшагося прилива откровенности передалось Платонычу и дѣвушкамъ, разбудивъ въ нихъ чуткую бережливую нѣжность, и они словно замерли, боясь помѣшать Юношѣ неосторожнымъ словомъ или движеніемъ.

Еще сильнѣе пахло цвѣтами, но уже утомились страстные голоса ночи, стали звучать тише и рѣже...

Передвинулись къ западу блестящіе узоры звѣзднаго неба. Съ затихшаго гостинаго двора рѣдко-рѣдко доносился одинокій шумъ и движеніе.

— Помню послѣднюю весну, яркую цвѣточную гирлянду дней, проведенныхъ вмѣстѣ; какъ сейчасъ, вижу послѣдній день. Облачный и шумливый -- весенній день.

— Взявшись за руки, въ чудномъ непрерывномъ снѣ бродили мы съ Юліей безъ тропокъ по проснувшимся и нарядившимся въ новую яркую зелень перелѣскамъ. Звенѣла молодая, веселая листва, шумѣли, журчали недолговѣчные весенніе ручьи. Въ лѣсу и въ полѣ цвѣли нѣжные—желтые, синіе, бѣлые—цвѣты, а сверху имъ улыбалась первая весенняя радуга. То и дѣло, шелъ веселый, смѣющійся на солнцѣ дождь—все звенѣло и смѣялось вокругъ...

— А мы становились подъ деревья, заглядывали другъ другу въ глаза и смѣялись, какъ и все, въ тотъ веселый, радужный день.

— Звенѣлъ дождь по звонкимъ молоденькимъ листьямъ, тихо плескалась и шелестѣла, уходя въ рыхлую землю, дождевая вода.

— А мы цѣловали другъ друга... И все ходили изъ одного перелѣска въ другой, по свѣже-постланнымъ зеленымъ скатертямъ луговъ... Спускались по густымъ мокрымъ зарослямъ на берегъ звучныхъ каменистыхъ ручьевъ... Выходили на дороги къ кричащимъ деревьямъ, и всюду,—отъ насъ и къ намъ—неслась веселая и громкая, радостная пѣснь...

— Только неуловимыми мгновеніями дрожала гдѣ-то внутри меня неясная, подстерегающая тревога.

— Незамѣтно пришелъ вечеръ, и мы очутились надъ Волгой.

— Кругомъ насъ стояли высокія, развѣсистыя и молчаливыя сосны, просвѣчивалъ измѣнчиво-яркій закатъ сквозь густое кружево иглистой зелени; тихая и тем-

воздухъ полудугу, съ трепетнымъ, жалобнымъ шелестомъ прижалось своею густою вершинкою къ ближнимъ деревьямъ.

— Странный, чуждый ночи сухой трескъ сломившагося дерева, густой шелестъ отъ переплетавшихся между собою вѣтвей—помчались во всѣ стороны, всюду пробуждая въ лѣсу отвѣтные звуки. Далеко вовсѣ стороны передавалась тревожная вѣсть о сломленномъ деревѣ...

— Когда я подошелъ къ ней, она стояла, вся трепещущая, безсильная, безвольная, объятая жуткимъ страхомъ, боясь шевелиться.

„Милый мой, я не знаю, что со мною. Я не знаю, мнѣ страшно,“—лепетала она, и слова ея были непривычно-чужія, а сама она страшно близка.

— Я обнялъ ее, и мы вмѣстѣ опустились на верхушку сломившагося деревца.

— Выше сталъ лѣсъ, гуще и тѣснѣе сомкнулась надъ нами зеленая крыша, дальше ушли и почти замерли всѣ ночные звуки...

Платонычъ и дѣвушка снова переглянулись, и оттого, что они жадно и напряженно слушали сейчасъ одного только Юношу, имъ обоимъ показалось, что и въ самомъ дѣлѣ кончаются, замираютъ, уходятъ куда-то всѣ ночные звуки.

— Она лежала у меня на рукахъ, закрывши глаза; я видѣлъ только ее, а все вокругъ меня было темно. Изрѣдка глаза ея открывались, въ темнотѣ свѣтилъ свѣтъ, я вздрагивалъ весь отъ какихъ-то неожиданныхъ толчковъ... И снова щемящее чувство тоски подымалось во мнѣ, тоски передъ неизвѣстнымъ и неотвратимымъ.

— Вдругъ ее всю охватилъ бурный и дикій порывъ. Она стала обнимать меня, и сквозь слезы и смѣхъ зазвенѣли желанныя слова:

„Милый, я тоже люблю, я давно люблю тебя!“

— Она плакала, она смѣялась, закрывая глаза мнѣ своими руками; она цѣловала меня.

— Знаете, въ каждой ночи ёсть удивительный мигъ, мигъ выспаго напряженія, когда она, какъ брошенный къверху камень, истощивъ всю свою силу, вдругъ замираетъ и останавливается, и съ нею останавливается все, что затаилось въ ея мракѣ...

— Тогда исчезаетъ время, рождается чудо; все, только мыслимое, становится возможнымъ; все, только возможное, воплощается въ жизнь.

— Тогда цвѣтутъ никогда не цвѣтушія травы; смыкаются таинственные круги надъ людьми, бросившими дерзкій вызовъ жизни; разверзаются невидимыя бездны; являются умершіе люди, и безсмертное страстно цѣлуется и вѣнчается съ смертнымъ.

Юноша весь оживился, его слова стали увѣренными и тоже вызывающими, онъ спорилъ съ кѣмъ-то, убѣждалъ кого-то.

Онъ остановился, прислушиваясь, и съ какимъ-то страннымъ торжествомъ поглядѣлъ вокругъ...

Совсѣмъ тихо и беззвучно стало кругомъ. Недвижно и безмолвно стояла Старая Лавра. Чутко замеръ объявшій ее ночной мракъ, и Платонычу вспомнилось недавнее ночное катанье на лодкѣ.

— Не помня себя, въ безумномъ небываломъ, восторгѣ, какого я не переживалъ ни раньше, ни позже, я отнялъ отъ своего лица ея руки, я сталъ обнимать ее, сталъ цѣловать, гладить, ласкать ее... я рвался отыскать, почувствовать, ощутить ее всю... всю.

...Я началъ судорожно рвать ея одежду, я обнажалъ ее и вдругъ сквозь безумный вихрь я услышалъ ея тихій, ея молящій голосъ:

„Пожалѣй меня!.. Мнѣ страшно, мнѣ больно, я не хочу“...

— Весь безумный порывъ, вся страсть моя, съ буйнымъ разбѣгомъ ударившись о слова жалости, превратилась въ яркое, огненное, молніеносное сознаніе, и я, какъ никогда, ясно, всѣмъ существомъ своимъ почувство-

валъ, что я хотѣлъ убить, раздробить ее на новыя существа, умертвить своею собственною рукою самое дорогое для меня въ жизни, обезличить, разбить самого дорогого для меня человѣка.

— Невыносимый стыдъ охватилъ меня, и я потерялъ сознаніе.

Юноша остановился, весь задыхаясь отъ затопившихъ его чувствъ. Онъ, видимо, какъ бываетъ во снѣ, съ бѣльшею силою, чѣмъ наяву, переживалъ все то, что когда-то навсегда нарушило его душевное равновѣсіе.

Дѣвушка, сильно волнуясь, поднялась со скамейки и хотѣла что-то говорить, но снова раздались тихія, глѣвучія слова Юноши.

— Чужимъ себѣ, какимъ-то опустошеннымъ, новымъ человѣкомъ очнулся я.

— На пышномъ заревѣ разсвѣтной зари вырисовывались легкія весеннія очертанія деревьевъ; весело и звонко раздавалось въ лѣсу утреннее пѣніе птицъ; по Волгѣ клубился легкій дымъ тумана. Онъ быстро расплывался и исчезалъ.

— Усталымъ, печальнымъ голосомъ говорилъ я Юлія свои прощальныя слова, послѣднія слова человѣку, котораго я любилъ больше всего на свѣтѣ.

— Прощай и прости меня, милая, славная, Юлія. Уходи скорѣй отъ меня, оставь меня навсегда. Я оскорбилъ тебя, но ты уйдешь отъ меня, свободная и независимая, какъ пришла. Въ эту ночь я чуть не раздробилъ твою личность, я чуть не отнялъ тебя и у тебя самой, и у твоего дѣла. Прости меня, Юлія: ты знаешь, я любилъ тебя такъ, какъ никто не полюбитъ“.

— Ничего не сказала она мнѣ въ отвѣтъ, только поцѣловала въ голову и ушла.

— За нею ушла слѣдомъ моя страшная ночь, а я все сидѣлъ, нѣмой и строгій, и въ моей головѣ поднимались новыя, чужія, незнакомыя мнѣ мысли и чувства.

— Мнѣ хотѣлось убить себя, уничтожить, выкинуть

изъ жизни, потому что вотъ—видѣлъ я—ушла моя единственная любовь, и стала жизнь безцвѣтна, беззвучна, безрадостна.

— И я убилъ бы себя, если-бъ рѣзко и мучительно не сталъ предо мною, требуя немедленнаго рѣшенія, вопросъ: гдѣ ложь и гдѣ правда,—въ моемъ страстномъ порывѣ, въ безумной жаднѣ творчества, или въ сознаніи, которое остановило мой буйный разбѣгъ и отрезвило меня глубокою жалостью; въ ея странныхъ словахъ о любви ко мнѣ, или въ тихой жалобѣ, въ плачущей просьбѣ о состраданіи—гдѣ ложь и гдѣ правда?

— Странное что-то, безумное, похожее на бредъ, на сплошное сумасшествіе, началось у меня съ тѣхъ поръ. Какъ будто отрекся я отъ міра клятвеннымъ, нерушимымъ отреченіемъ; точно вся жизнь моя достигла въ тотъ буйный мигъ своего напряженія, своего зенита и снова быстро стала падать въ неизвѣстный, родившій ее хаосъ...

— Жалость и состраданіе, остановившія меня, все сильнѣе, все глубже стали проникать все мое существо. Мало-по-малу я началъ жалѣть не только людей, но звѣрей, птицъ, деревья, всѣ растенія, всѣ жизни, все живое. Меня охватывало состраданіе даже къ вещамъ, и я не могъ жить, не могъ двигаться, не испытывая тяжелаго чувства: всюду мнѣ чудился тихій, плачущій голосъ, молившій о состраданіи. Я сталъ бояться самого себя; я пересталъ вмѣшиваться въ жизнь; я ушелъ отъ живой жизни...

— Я ушелъ въ обширный, необозримый міръ чело-вѣческихъ мыслей, думъ и грѣзъ, оставленный намъ въ наслѣдство отъ прошлаго. Неутомимымъ странникомъ скитался я по пустынямъ отвлеченной мысли въ поискахъ за разрѣшеніемъ своихъ вопросовъ. И вездѣ—въ пламенныхъ религіозныхъ вѣрованіяхъ и холодныхъ философскихъ системахъ, въ замысловатыхъ научныхъ изслѣдованіяхъ и въ простыхъ, безхитро-

ныхъ разсказахъ о жизни—вездѣ двуликимъ и двуна-
пѣвнымъ открывался для меня загадочный міръ. Всюду
за буйными, радостными кликами побѣдителей я слы-
шалъ тихіе, жалобные стоны побѣжденныхъ, вездѣ
рядомъ съ смѣлымъ, мятежнымъ призывомъ къ насла-
жденію, къ борьбѣ за себя, за свое счастье,—я слышалъ
участливыя слезы состраданія, кроткій отказъ отъ себя
самого; я видѣлъ добровольную невинную жертву за
всѣхъ и ради всѣхъ.

— Вотъ, передо мною уже стоитъ смерть, а я еще не
сыскалъ себѣ отвѣта. Вотъ умру я, какъ умерли до
меня цѣлыя міриады живыхъ существъ, а міровая рѣка
попрежнему будетъ течь между двумя своими несоеди-
нимыми берегами—жизни и смерти, радости и печали,
борьбы и состраданія. Будетъ течь до тѣхъ поръ, пока
не явится Человѣкъ, который перекинетъ, наконецъ,
перушимый мостъ, потушитъ міровую скорбь и зажжетъ
негасимое солнце веселья и неумирающей радости. Я
чувствую, что время это—скоро, скоро, что послѣдними
умираемъ мы, жившіе въ неразрѣшимыхъ и скорбныхъ со-
мнѣніяхъ и не нашедшіе пути къ радостному безсмертію...

Замолчалъ Юноша. Точно кто потушилъ его огонь,
не далъ ему высказать всего, что горѣло и искрилось
въ его сердцѣ.

Дрогнула ночь, заколебалась, отхлынула немного
отъ Старой Лавры... Ушла къ потемнѣвшимъ зарослямъ
и рѣчнымъ спускамъ. Еще темнѣе стало внизу, а сверху,
чудилось, уже дрожать чуть уловимые солнечные лучи,
и трепещутъ готовые спуститься на землю, неясныя
и прозрачныя предразсвѣтныя тѣни.

Неожиданно раздался звонкій, веселый, напряженно-
нервный смѣхъ дѣвушки:

— Юноша! Жизнь сыграла съ вами плохую шутку,—
заговорила она, и въ каждомъ словѣ ея задрожали
буйная радость и веселье.—Отказавшись отъ безумной
радости творчества, вы остановились затѣмъ, чтобы

осмыслить и осознать жизнь, а она безостановочно побѣжала, стремительно понеслась мимо васъ, и вотъ принесла васъ на край могилы, и не васъ одного. Въ стройной, порою изящно-блестящей паутинѣ словъ и мыслей, которую постоянно ткеть человѣческое сознаніе изъ опыта прошлаго, очень часто безпомощно запутывается дерзкая воля самаго смѣлаго человѣка. Прожорливый паукъ прошлаго высасываетъ кровь изъ живой и радостной страсти человѣка, влекущей его впередъ, къ неустанному дѣйствію, къ свѣтлomu, неисчерпаемому творчеству для новаго и будущаго міра. Если-бъ не было мгновеній сладкаго забытья, когда на огнѣ страсти испепеляются всѣ думы о прошломъ, перестала бы цвѣсти новыми поколѣніями человѣческая жизнь; заглохла, запылилась, запаутичилась бы она, если-бъ не вырастали безжалостные къ прошлому, одержимые ненасытнымъ стремленіемъ къ будущему, люди...

— Юноша! Я васъ не совсѣмъ поняла, но для меня осталось яснымъ одно: въ вашу роковую ночь, когда грозились слиться на мгновеніе ваши пути съ Юліей, вы оба одинаково ужаснулись своего будущаго. Но она, ваша смѣлая любовь, Юноша, она пошла впередъ, на великое дѣло обновленія, преображенія человѣческой жизни. Почему же вы, Юноша, почему вы не пошли за нею, куда она звала васъ? почему вы зацѣпились за старыя предразсудки, застряли въ старыхъ противорѣчійхъ? почему вы, какъ почти всѣ, о комъ говорилъ сегодня Платонычъ, къ прошлому обратили свои вопросы о жизни? Вы хотѣли осмыслить то, что случилось, — говорите вы, — хотѣли осознать жизнь. Но жизнь — вѣчное движеніе, и не дается смыслъ ея въ руки тому, кто хоть разъ остановился на мѣстѣ.

— Милый Юноша! Вы, какъ жена Лота, оглянулись назадъ и мгновенно изъ живого человѣка, который бѣжалъ отъ обреченнаго на гибель стараго города, обра-

тились въ соляной столбъ, — и вотъ онъ долгіе годы будетъ стоять при дорогѣ и пугать мимо идущихъ своимъ каменнымъ обличіемъ, въ которомъ навсегда запечатлѣлись былая жизнь и движеніе. Да и не вы одинъ, Юноша, — цѣлыя поколѣнія людей живутъ и умираютъ, отравленные мыслью о прошломъ...

— Я много видѣла городовъ, стоящихъ на большой дорогѣ, проложенной людьми въ неизвѣстное будущее, но и тамъ люди все еще видятъ сны прошлаго, все еще глядятъ съ любовью назадъ, и тамъ они все еще живутъ въ египетской кабалѣ и рабствѣ прошлому, боясь смѣлымъ, безумнымъ порывомъ навсегда оторваться отъ родныхъ береговъ.

— Юноша! И тамъ они безжалостно рвутъ чистые, молодые, долго не вянушіе цвѣты юношескихъ порывовъ; плетутъ изъ нихъ пышные вѣнки и кладутъ ихъ на могилы умершихъ истинъ, и тамъ они губятъ молодую жизнь на то, чтобы стеречь и строить несчетныя гробницы своимъ усопшимъ пророкамъ.

— Юноша! Спасеніе и счастье людей впереди, а не сзади, въ щедромъ и расточительномъ безуміи творчества Новаго, а не въ жадномъ и бережливомъ умѣ сохраненія Стараго.

— Идетъ время, Юноша, когда смѣлые люди сметутъ безъ сожалѣнія всю старую постройку; идетъ время, когда нужно выжечь изъ себя любовь къ прошлому. Всякій, у кого сохранилась хоть капля любви къ старинѣ, ко всему, что было создано человѣкомъ въ прошломъ, ненадеженъ для будущаго, не сможетъ до конца бороться за счастье и свободу человѣка въ будущемъ. Самъ жертва прошлаго, онъ рано иль поздно станетъ приносить кровавыя человѣческія жертвы идоламъ и кумирамъ, созданнымъ его собственными руками и измышленнымъ его собственнымъ мозгомъ. Преклоненіемъ передъ всякимъ созданіемъ человѣка сѣется зерно будущаго рабства, будущаго униженія—и

чѣмъ лучше зерно, тѣмъ сильнѣе дерево, тѣмъ позорнѣе униженіе.

— Юноша! Мы знаемъ, что всякій общественный строй грозитъ обратиться изъ спасительной въ запрещающую спасеніе человѣка Субботу. И мы поднимаемъ знамя бунта, знамя непрерывнаго бунта противъ всѣхъ исторически-сложившихся цѣнностей, кромѣ одной—самого всецѣнящаго Человѣка. Мы зовемъ на бунтъ противъ насилія всюду и всѣхъ, кому дорогъ человѣкъ, одинъ только человѣкъ, а не трезвыя или безумныя измышленія его мозга, не созданія его рабскихъ или свободныхъ рукъ. Мы идемъ на непрерывное разрушеніе во имя вѣчнаго созиданія. Безпощадная война всему, что угнетало и калѣчило человѣка въ прошломъ, всему, что хочетъ гнести и подавлять его въ будущемъ. Мы съ корнемъ вырвемъ самое послѣднее и самое ужасное идолопоклонство человѣка — идолопоклонство передъ фактомъ, передъ тѣмъ, что стало, что устроилось, что вылилось въ законченныя рамки. Мы не пролили-бъ ни одной слезы сожалѣнія о гибели всей культуры, всего неизмѣримаго труда человѣка, если-бъ этой цѣною смогли купить себѣ счастье и свободу, ибо мы, люди, дороже своихъ дѣлъ, ибо не культура создала человѣка, а человѣкъ культуру.

— Мы зовемъ на свое дѣло тѣхъ, кто вѣритъ и знаетъ, что свободные и смѣлые люди сумѣютъ создать все заново, сумѣютъ обновить землю. Насъ мало, но мы сильны своей безконечною ненавистью къ старому; насъ мало, но силы наши удесятятся, когда люди, наконецъ, устанутъ отъ сѣрыхъ будней своего голоднаго, тоскливаго и тихаго существованія, наши силы станутъ неисчислимыми, когда на землю налетитъ грозный ураганъ безумія. Онъ уже встаетъ, онъ уже подымается надъ землею, пока еще тихій, пока еще чуть уловимый, ненасытный духъ разрушенія, духъ страстной жажды грядущаго обновленія, и уже изъ конца въ

копецъ земли проносится его грозное дыханіе. Оно освѣжаетъ, оно будитъ, оно зоветъ къ возстаніямъ.

— Мы раньше другихъ почувствовали этотъ зовъ и вышли со знаменемъ всеобщаго возстанія, всеобщей неустанной, безпощадной борьбы съ ненавистнымъ намъ прошлымъ челоѡка во имя славнаго будущаго, которое уже кажется намъ свое грозное, призывное, неуловимое лицо.

— Мы знаемъ, пройдетъ еще немного времени, и бѣшеный, небывалый вихрь подыметъ по всей землѣ, смететъ трусливое людское стадо и оставитъ на землѣ только гордаго, смѣлаго и свободнаго Челоѡка...

Дѣвушка замолчала, но кругомъ все еще трепетали, носились ея буйныя, ея дерзкія, вызывающія слова.

Платонычъ все время, пока она говорила, не отрывая глазъ, смотрѣлъ на нее, и ему казалось, что она росла съ каждымъ словомъ своимъ и все яснѣе отдѣлялась и вырисовывалась на свѣтлѣвшемъ ночномъ пологѣ. Дѣвушка заразила его своими мятежными мыслями, и онъ теперь готовъ былъ ринуться за нею, куда угодно.

— Симпатичнѣйшая встрѣча! — кричалъ онъ, прорѣзая тишину своимъ встрепенувшимся голосомъ. — Въ эту ночь я услышалъ необычайнѣйшія вещи. Родная моя! Своими словами вы меня съ самимъ собою и съ вами окончательно примирили, ей-Богу. Ваше творчество Будущаго на первобытный хаосъ, по которому я скучалъ, очень похоже. Вы на меня не сердитесь, родная, если слова мои вамъ въ шутку покажутся. Очень ужъ радъ Платонычъ. Ей-Богу, я давно такихъ словъ, какъ ваши, ждалъ. Вотъ Юноша говорилъ мнѣ: „нужно уйти отъ жизни, нужно беречь, щадить и жалѣть всякую жизнь“. А я такихъ словъ никакъ не могъ понять, просто въ натурѣ своей вмѣстить не могъ. И все кругомъ старалось усовѣстить меня, говорило о терпѣніи, о порядкѣ, о сознательности и благоразуміи..

Я пытался бросить якорь, но еще сильнѣе бросала меня самого моя неудержная, стихійная натура по житейскому морю. И теперь вы меня разрѣшили, уважаемая. Недаромъ чуяло сердце Платоныча, что вы изъ обрѣкшихъ себя безъ оглядки, что хоть до времени вы свою ненасытнѣйшую страсть обнаружить не хотите, но не изъ тѣхъ, кто всеобщій безпорядокъ въ стройномъ порядкѣ произвести мечтаетъ.

— И полюбилъ я васъ, полюбилъ за одну эту ночь. Жить безъ васъ не могу. Не брезгуйте Платонычемъ. Возьмите его въ вашу бурную, хаотическую предразсвѣтную работу. Возьмите его! А не возьмете, — онъ, все равно, самъ бросить здѣсь все и уйдетъ, всенепременно уйдетъ, уйдетъ одинъ.

Свѣтлѣло. Короткая весенняя ночь быстро убѣгала, и, какъ вѣстники утра, горѣли на востокъ, за Днѣпромъ, разноцвѣтныя полосы утренней зари. Кончалось ночное весеннее очарованіе, и одна за другою вырисовывались лаврскія постройки, нависшіе надъ Днѣпромъ береговые обрывы выступали въ бѣломъ прозрачномъ свѣтѣ, который насквозь пронизывалъ всѣ предметы и не давалъ совсѣмъ тѣней. Утреннею прохладою тянуло снизу, отъ Днѣпра, и казалось, чуть-чуть шелестятъ своими листьями выплывавшія изъ темноты деревья.

— Возьмите Платоныча, Лидія, — говорилъ своимъ тихимъ, пѣвучимъ голосомъ Юноша. — Будьте его, воспріемницею въ революціи, но только берегитесь его, не забывайте, что онъ — перебѣжчикъ, что ушелъ онъ къ вамъ изъ Старой, но еще не разрушенной Лавры. Я знаю Платоныча: въ немъ сидитъ такой же метафизикъ, какъ и во мнѣ, только я одержимъ сознаніемъ, а онъ — дѣйствіемъ. Бойтесь его: вамъ необходимы его богатырскія, не износившіяся въ жизненныхъ приключеніяхъ силы, — умѣйте взять ихъ, но берегитесь его смертнаго богатырскаго духа. Онъ своимъ востор-

женнымъ фанатизмомъ и мятежнымъ стремленіемъ къ необъятности задачъ вамъ все дѣло ваше можетъ испортить и все счастье ваше отравить.

— Высейчасъ торжественно отрекались отъ прошлаго, но сами вы съ вашими буйными мыслями и буйнымъ творчествомъ будущаго человѣческаго счастья—только послѣдній громкій отзвукъ того недавняго времени, когда люди отъ радости, что небснаго вседержителя окончательно свергли, однихъ себя вѣнцомъ творенія объявили и на всесвѣтное господство вѣнчали. Для васъ, Лидія, революціонеровъ во имя человѣка, это, пожалуй, и хорошо: въ томъ ваша непреоборимая сила заключается, что вы отмежевали себѣ землю и рѣшили, во что бы то ни стало, устроиться здѣсь счастливо, ибо ни выше, ни ниже Человѣка вы никого признать не хотите, а Землю хотите владѣть безраздѣльно.

— Это не малая цѣль, и для нея не мало придется буйствовать на землѣ. Васъ ждутъ минуты тяжелаго одинокаго унынія и всеобщаго бурнаго ликованія... Не удивляйтесь, если въ минуту общаго горя Платонъ чъ „хвалите имя Господне“ воспоетъ или,—что еще выйдетъ хуже,—въ тотъ счастливый мигъ, когда вы свой вселенскій праздникъ въ честь своего единственнаго, недѣлимаго и неотъемлемаго отечества, Земли, праздновать будете, невзначай вмѣсто „многая лѣта“ обновленной землѣ „вѣчную память“ провозгласить и отъ счастливой и покойной жизни свободнаго человѣка снова навстрѣчу безпокойному Хаосу устремится.

Юноша снова весь оживился. Рѣчь его попрежнему была тиха, но теперь Юноша какъ-то переливался и воплощался въ каждомъ своемъ словѣ. Исчезали отдѣльные слова, исчезали отдѣльные мысли, но зато ближе и полнотой раскрывался самъ человѣкъ, произносившій ихъ.

— Что же, Юноша? Значить, неправъ былъ Геологъ? Значить, вы остаетесь въ этихъ душевныхъ, этихъ старыхъ стѣнахъ?—спрашивала дѣвушка.

— Нѣтъ, не останусь, — отвѣчалъ онъ съ тихой улыбкою, — меня раньше, чѣмъ вы Платоныча, уведеть отсюда моя недалекая, моя близкая смерть. Но если бы я и остался жить, я не пошелъ бы за вами, Лидія, потому что вы можете осчастливить живущихъ, но не можете спасти умирающихъ, не можете и не хотите воскресить мертвыхъ. За вами не пойдутъ люди, въ трепетные глаза которыхъ хоть разъ заглянула близкая Смерть, вапа вѣрная союзница.

— Вы сейчасъ говорили, — да и раньше не отъ васъ одной слышалъ я не разъ такія мысли, — борьба неустанная, борьба безпощадная, безъ мысли о прошломъ, безъ жалости къ настоящему... Но гдѣ борьба — тамъ жажда побѣды, гдѣ побѣда — тамъ побѣжденные, тамъ стонъ, жалобы, кровь, тамъ — страшное лицо Смерти.

— Вы поднимаете знамя возстанія, повсемѣстнаго непрерывнаго возстанія противъ насилія человѣка надъ человѣкомъ, но увѣрены ли вы, что болѣе мятежныхъ, болѣе справедливыхъ среди васъ не возьметъ ужасъ предъ свободнымъ и счастливымъ властелиномъ Земли — Человѣкомъ? Увѣрены ли Вы, что они не поднимутъ знамя безпощаднаго бунта противъ самого Человѣка за его насиліе, за его власть и истребленіе всего остального живущаго?

— А если и не найдется такихъ, если создастся крѣпкій, сплоченный кровью побѣжденныхъ союзъ свободныхъ и равныхъ между собою властелиновъ земли; если будутъ уничтожены или обращены въ позорное рабство всѣ животныя и всѣ растенія земли, и не съ кѣмъ уже будетъ человѣку спорить изъ-за обладанія землею, то, неужели вы думаете, прекратится борьба и ея вѣчная спутница, ненасытная Смерть?

— Людямъ и сейчасъ уже тѣсно на землѣ. А тогда они, гордые и смѣлые завоеваніемъ земли, сильныя прекращеніемъ раздоровъ и сплоченностью, сумѣютъ, наконецъ, разомкнуть земной кругъ. Счастливые соб-

Близился часъ заутрени. По гостиному двору въ густой толпѣ богомольцевъ двигались трое ночныхъ собесѣдниковъ.

Кругомъ колыхалась пестрая праздничная толпа, слышались жалобныя, нараспѣвъ, причитанія безчисленныхъ лаврскихъ калѣкъ и нищихъ. Гулко падали въ пустыя деревянныя чашки мѣдныя монеты, первые дары привычнаго милосердія. Около бившейся въ истерическомъ припадкѣ кликуши стояла, сердобольно вздыхая, густая толпа монаховъ и богомольцевъ.

Платонычъ и дѣвушка дружно бесѣдовали между собою и все время чему-то весело смѣялись, а рядомъ съ ними молча шелъ Юноша, и въ глазахъ его свѣтилась тихая любовная тоска, которую онъ несъ навстрѣчу ликующему міру въ этотъ ясный весенній день.

Любопытными и недовѣрчивыми глазами смотрѣла на нихъ, пропуская мимо себя, молитвенно-настроенная толпа. Только одинъ отецъ Θεодосій черезъ настежь открытыя окна лаврской гостинницы скорбнымъ взглядомъ своихъ провидящихъ глазъ, изрѣдка крестясь и приговаривая слова своихъ собственныхъ молитвъ, провожалъ странныхъ, всю ночь просидѣвшихъ на балконѣ гостей.

А они, выйдя изъ воротъ гостинницы, свернули направо и стали медленно подниматься между двухъ высокихъ стѣнъ къ проѣзжей дорогѣ, которая пролежала мимо Лавры.

Тамъ вверху, около старой лаврской башни, противъ приземистаго и неуклюжаго зданія военнаго арсенала, которое точно подглядывало за Старою Лаврою пропыленными, подслѣповатыми стеклами своихъ угрюмыхъ и зловѣщихъ оконъ, они стали прощаться.

— Прощайте, Юноша,—говорила дѣвушка, а на ея веселомъ и смѣломъ лицѣ ложились какія-то смутныя тѣни,—прощайте. Мы съ вами больше уже не увидимся. Мнѣ жаль васъ. Человѣкъ вы прошлаго времени, но

въ васъ живетъ неясная, не воплотившаяся еще мечта будущаго... Да, вы нашъ злѣйшій врагъ, но вы были бы намъ нужнѣе многихъ нашихъ близкихъ, но близорукихъ друзей... Юноша! Вы дальше ихъ смотрите въ будущее.

— Прощайте,—отвѣтилъ съ ласковою улыбкою Юноша,—и я вамъ скажу свое хорошее, что я видѣлъ и вижу въ васъ. Знаете, Лидія, вся вы такая чистая, славная, юная дѣвушка, смѣло идущая въ безпощадную борьбу съ прошлымъ,—вся вы какой-то новый, чудно-прекрасный символъ еще не родившейся религіи... Желаю вамъ донести свой огонь невреденно и попалить имъ нечестивые Содомъ и Гоморру прошлаго. Прощайте!

Въ чуткомъ утреннемъ воздухѣ отчетливо раздался рѣзкій дребезжащій стукъ колесъ по мостовой, и вслѣдъ за нимъ прозвучали громкія, торопливыя, улыбающіяся слова Платоныча:

— До скорого свиданія, родная моя!

Друзья нѣкоторое время въ нерѣшительномъ раздумьи стояли на дорогѣ, пока за ближайшимъ поворотомъ не скрылась извозчичья пролетка, затѣмъ они взялись подъ руку и медленно отправились вслѣдъ за исчезнувшей, какъ сновидѣніе, вмѣстѣ съ ночью дѣвушкой.

Когда они шли между зеленѣющихъ стѣнъ садовъ, тѣсно обнимавшихъ дорогу, сзади ихъ догнали могучіе, торжественные звуки большого лаврскаго колокола. Торжественный благовѣстъ плавно разносился въ короткой тишинѣ весенняго ранняго утра. Онъ вызывалъ изъ далекаго прошлаго теплыя, незабываемыя впечатлѣнія дѣтства и звалъ уходившихъ назадъ. Но Платонычъ бодро и увѣренно шелъ все впередъ, все быстрѣе увлекая съ собою Юношу. И богомольцы, шедшіе имъ навстрѣчу, стекаясь на призывный звонъ въ урочный часъ утренней молитвы въ Старую Лавру, съ изумленіемъ смотрѣли на двухъ юношей, которые бѣжали отъ Ста-

рой Лавры въ ясный и тихій часъ ранняго утра, надъ кроткою землею поднималось ласковое созвонили къ заутренѣ.

* * *

Черезъ двѣ недѣли хоронили Юношу. Съ Гор находилось кладбище, было видно, какъ блестящихъ лучахъ солнца золоченые главы и кресты бросанныхъ по всему Подолу церквей; было какъ далеко-далеко, въ синѣвшую даль уходила брясь на солнцѣ, извилистая лента Днѣпра. В гомѣ цвѣло, улыбалось и пѣло... Съ своею обыкновенной улыбкой переступалъ Юноша загадочную между жизнью и смертію...

Ненужной и уродливой на пышномъ коврѣ казалась одинокая черная яма съ волнистою бажелтой, свѣже-выкопанной, вывернутой навземли, да непонятно было, чего плачетъ тяжескорбными слезами большой и сильный человѣкъ.

Вечеромъ Платонычъ въ дикомъ изступленіи бытъ тупилъ всѣ огни, какіе привлекали его, и попадались ему подъ руку; когда его оставали, онъ говорилъ странныя, мало-понятныя.

— Пусть гаснутъ всѣ холодныя очи, которые дѣли смерть и не плачутъ. Люди не хотятъ знать, думаютъ, отчего погасъ Юноша,—пусть они думаютъ, отчего умерли огни, которые имъ мспотыкаться и падать.

А на утро, когда еще золотились въ лучахъ мавшагося солнца верхушки высокихъ, густолѣныхъ осокорей Братскаго монастыря, Платонычъ улыбаясь своей добродушной улыбкой, подавалъ прошеніе объ увольненіи изъ студентовъ ак.

Ректоръ, маленькій, весь сѣдой и сморщенный ричокъ, чуть не заплакалъ, когда узналъ о страшеніи Платоныча: онъ всею душою любилъ

академіи, всё-таки сурово и строго и не
 никакъ не могъ сказать, что это другъ, которому
 могутъ заставить сказать что-нибудь и въ
 здѣсь какое-то слово-слово выговорить и при
 стремился отговорить Платонъ отъ выговора
 шага, но Платонъ былъ непреклоненъ.
 — Нѣтъ, я не могу долѣе оставаться здѣсь, выговоривъ
 копресвященнической! — и Платонъ эти слова
 выговаривалъ шепотомъ, точно для себя одного
 слово. — Не могу. Чудеснѣйшее видѣніе было
 Юношей въ ночь на Николинъ день въ Старой Лаврѣ.
 Явилась дивная, вѣщая Дѣвушка и велѣла уйдти
 Старой Лавры мнѣ и Юношѣ, каждому своею
 Только-что ушелъ Юноша, куда пошелъ его
 Пора и Платонъ, куда пошелъ его Жень.
 И Платонъ ушелъ.

Италія.
 Островъ Капри.
 1907 г.

